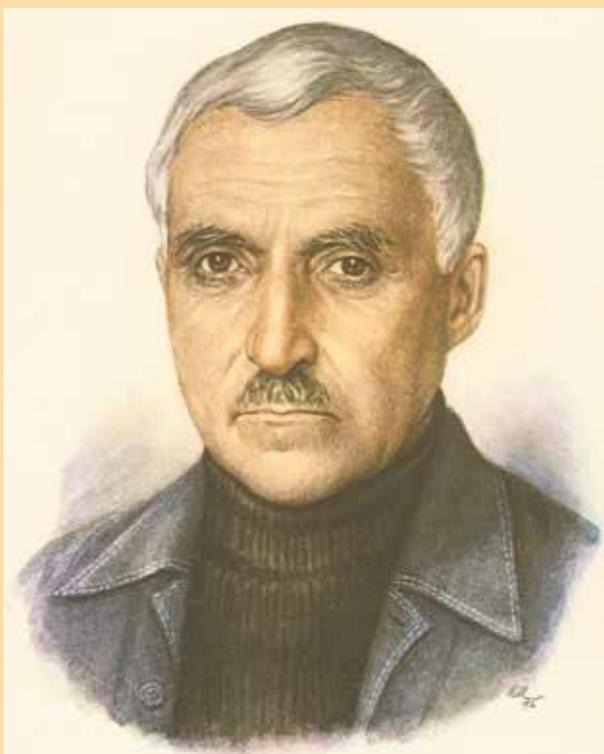




ISSN 1993-9477

XXI ВЕК **ВОЛГА** 5-6 2017

Литературно-художественный журнал



Константин Симонов



Произведения Константина Симонова



XXI ВЕК

ВОЛГА

5-6 2017

Литературно-художественный журнал

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- А.Ю. Аврутин** – член Союза писателей Беларуси (Минск)
А.Б. Амусин – член Союза писателей России, председатель Ассоциации Саратовских Писателей
А.А. Бусс – член Союза писателей России (Саратов)
В.И. Вардугин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Е.А. Грачёв – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Д.Е. Кан – член Союза писателей России (Оренбург)
О.И. Корниенко – член Союза писателей России (Сызрань)
В.В. Ковалёв – член Союза художников (Рига)
В.А. Кремер – член Союза писателей России (Саратов)
М.А. Лубоцкий – член Союза писателей Москвы, ответственный секретарь Ассоциации Саратовских Писателей
В.Д. Лютый – член Союза писателей России (Воронеж)
М.С. Муллин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Г.П. Муренина – директор музея Н.Г. Чернышевского, член Ассоциации Саратовских Писателей
Н.В. Шаталина – член Союза журналистов России (Саратов)

5-6
2017

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭТОГРАД

Светлана СУПРУНОВА. **Домик у тихой реки** 3

МОЛОДАЯ ПРОЗА РОССИИ

Наталья МЕЛЁХИНА. **Оркестр играл** 11

Евгения ДЁКИНА. **Семь лет любви** 21

Юрий ЛУНИН. **Два рассказа** 31

СТАТЬИ

Андрей ТИМОФЕЕВ. **Три пути «нового реализма»** 44

ПОЭТОГРАД

Николай АЛЕШКОВ. **Потому что Родину люблю** 61

ОТРАЖЕНИЯ

Нелли КРЕМЕНСКАЯ. **Имена** 68

ПОЭТОГРАД

Александр НЕСТРУГИН. **Журавлиная нитка** 82

ОТРАЖЕНИЯ

Михаил ГОЛЬДРЕЕР. **Сафарист** 88

ПОЭТОГРАД

Марк БЕРКОЛАЙКО. **И верить, что в начале было Слово...** 99

СТАТЬИ

Нина ШАТАЛИНА. **«Книги Судеб изрядный кусок»** 106

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Александра ЖАДАН. **Листопад** 109

ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА

Александр ЛЕПЕЩЕНКО. **Смешные люди (Продолжение)** 113

СТАТЬИ

Александр ДЕМЧЕНКО. **Литературное прошлое Саратова (Окончание)** 151

Владимир КАНТОР. **Месторазвитие, или Евразийский центр России** 171

РЕЦЕНЗИИ

Елизавета МАРТЫНОВА. **«Независимость духа и мысли»** 184

К ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Борис ОЗЁРНЫЙ. **Колдун** 186

«Три стихотворения о войне» 190



**Светлана
СУПРУНОВА**

ДОМИК У ТИХОЙ РЕКИ

Бесславная, обычная, проснусь,
Зажмурюсь я от утреннего света.
Я почестей и титулов боюсь –
За ними не видать уже поэта.

Когда как все земные – значит, жив.
Я сыплю одиночество по ложке,
Автографы однажды невзлюбив.
Всё легче расписаться на платёжке.

Всё для души: грибами полон лес,
Тропа к нему, иду себе непритко,
И каждый день – как будто до небес
Достать рукой ещё одна попытка.

ПОЭЗИЯ

Забуть слова на месяцы, на годы,
Отшевелив губами, замолчать,
Остаться дома из-за непогоды
И не суметь ненастье обругать.

-
- Светлана Вячеславовна Супрунова родилась в 1960 году в г. Львове. После окончания Ленинградского медицинского училища работала медсестрой в хирургическом отделении Нестеровской районной больницы Львовской области. В 1985 году по направлению военкомата уехала в Афганистан, в медсанбат провинции Баграм. Вернувшись через три года, поступила в Калининградский государственный университет на филологический факультет, параллельно училась в Литературном институте им. Горького на заочном отделении. С 1995 по 2000 год проходила воинскую службу в Таджикистане, затем девять лет работала старшим литературным редактором в издательстве «Янтарный сказ» (Калининград). В настоящее время возглавляет редакцию научного журнала Калининградского государственного технического университета. Печаталась во многих отечественных и зарубежных изданиях, лауреат ряда международных и российских конкурсов. Автор четырёх поэтических сборников. Член Союза писателей России.

Смотреть в окошко на кресты и флаги,
Копить печали, словно вызревать,
Водить пером впустую по бумаге
И вспоминать слова, и вспоминать.

Отгоревать, отплакать, отсмеяться.
Но вырвутся из снежной целины
На белый свет – как заново родятся –
Лишь те слова, которые нужны, –

Невычурные, самые простые,
И вспыхнет свет божественный в ночи,
И сбудется: заговорят немые.
Утихни, каждый, слушай и молчи!

О как, спрошу, свой век дожить,
В толпе не затыкая уши,
Чтоб этот мир не осудить,
Не растоптать чужие души?

Как отдавать не напоказ,
Не избегать молящих взоров
И не жалеть, что всякий раз
Была печальницей просторов?

Как обойти земной успех
И все дары с большой дороги
По-божьи разделить на всех,
Совсем не думая о Боге?

Зачем смотрю – сама не знаю –
В глаза соседей и друзей,
Чужие жизни наблюдаю,
Забыв на время о своей?

Зачем, в глаза пустые глядя,
Я слушаю эфирный бред,
И снова нам мордастый дядя
Наобещает светлых лет.

А света нет, ложатся тени
На жизнь чужую и мою,
Болят душа, болят колени,
Когда под образом стою.

Взметнулись птицы, откричали.
Всё чаще плач, всё реже смех.
Какие разные печали,
И только крест – один на всех.

СОСЕДКА

На чаёк засушит травки,
То в окошко поглядит,
То тихонечко на лавке
У подъезда посидит.

В однокомнатной клетушке
Так уныло и мертво,
Похоронены подружки,
Не осталось никого.

Ей бы с кем разговориться
Про дожди и огород...
Очень рано спать ложится
И ранёхонько встаёт.

Громко радио играет,
Но старушка, как на грех,
Ничего не понимает
В новомодных песнях тех.

На ольхе раскрылись почки,
И она который год
Снова в беленьком платочке.
Всё по кругу. Жизнь идёт.

НА КАЛИНИНГРАДСКОМ «БЛОШИНОМ РЫНКЕ»

Пылища осела за ворот.
Опять пулемёт застрочил.
Он взял эту крепость и город
И после медаль получил.

Вернувшийся из медсанбата,
Себе улыбался – живой!
...Вчера схоронили солдата
И выпили за упокой.

Бежавший в кровавую схватку,
Подстёгнутый криком: «Вперёд!»,
Упал он на эту брусчатку,
Где правнук медаль продаёт.

БРОНЗОВЫЙ СОЛДАТ

Донбасс в крови. Опять летит снаряд,
И доползти до дома нету силы.
Стоит за шахтой бронзовый солдат,
И зеленеют братские могилы.

Он видит всё: огонь и чёрный дым,
 Как чьи-то тени к погребу метнулись.
 Уже под флагом жёлто-голубым
 Они идут, они опять вернулись!

Чеканят шаг, они сегодня злей,
 Они заматерели за полвека,
 Прицелятся – не слышат матерей,
 Курок нажмут – не видят человека.

Как на посту, прервав когда-то бег,
 Стоит солдат под холодом столетий,
 И за его спиной – ушедший век,
 За плащ-палаткой – снова сорок третий.

И он сжимает верный автомат...
 Такое время жуткое настало,
 Что кажется: не выдержит солдат,
 Из бронзы выйдя, спрыгнет с пьедестала.

Вот так уходим, не простившись,
 Оставив чистые листы,
 Отхлопотав, отсуевившись,
 Устав от этой суеты.

Летим, летим к другому дому –
 Совсем одни, в крошечной мгле.
 Откланявшись всему земному,
 Земное отдаём земле.

Простится ль нам колючесть взглядов,
 Беспечность слов, надменность поз,
 Что мы, в карман платок упрятав,
 Не осушили чьих-то слёз?

За мыслью мысль иного толка,
 Желаний нет – чего хотеть? –
 И столько времени, чтоб долго
 О жизни этой сожалеть.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Сел в трамвай – тепло и сухо,
 Катится народ,
 И кондукторша-старуха
 Денежку берёт.
 В тёплом свитере, хромает,
 Щурится слегка,
 Мелочь сыплет – как считает
 Сдачу с молока.

Песенку из доброй сказки
Я тебе спою,
Закрывай, малютка, глазки,
Баюшки-баю.

Хлебушек сегодня горек –
Невесёлый век,
И метёт наш тихий дворик
По утрам узбек.
Неуютно, одиноко,
И поёт узбек.
Тянет сквозняком с востока,
Выпал первый снег.

Всё присыпано порошей,
Зябко воробью.
Спи, мой сладкий, мой хороший,
Баюшки-баю.

Снова сверху: «Здрасьте, здрастьте!» –
Едет в кабинет
Крепко так примазан к власти
Пухленький сосед.
Шандарахнет из стакана –
Вспомнит про народ,
Улыбнётся нам с экрана,
Что-нибудь соврёт.

На иконке взгляд лучистый,
Русь в святой горсти.
Спи, мой светлый, самый чистый,
Не спеши расти.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Тёплых слов бы, тёплых взглядов,
Но простужен этот мир.
Утепление фасадов,
Утепление квартир.

От дождя и снегопада,
Чтобы стужу побороть,
Установят всё что надо,
Обогреют нашу плоть.

Вышли мы – и не чихнули,
В суете да всё шутя
Там хромого подтолкнули,
Тут обидели дитя.

Всё расчётно и платёжно,
Взял бумажку – и пиши.
Это сложно, очень сложно –
Утепление души.

БАБА ОЛЯ

Докучают в лесу комары.
Выйдешь в поле – надышишься вволю,
А за полем ютятся дворы.
Кто не знает у нас бабу Олю!

Снег и ливни, менялись вожди.
Неохотно расскажет, бывало,
Как, дитя прижимая к груди,
От пылающих изб убегала.

А потом тишина, трудодни.
Жизнь покатится по нормативу.
Отдышавшись маленько в тени,
Заспешит на созревшую ниву.

Вроде, скорби её далеко,
Только чёрный платок не снимает.
– Как живётся?
Ответит легко:
– Да на хлеб и одежду хватает!

В огороде редиска, лучок,
И ни сорной травинки на грядке.
Приезжает на лето внучок.
Всё по кругу идёт, всё в порядке.

Нынче вьюга следы замела,
До могилы не стёжка – аллея.
Никого не ругая, жила
И ушла, ни о чём не жалея.

Кто плеснул бы на мир белизны!
И, когда загибаюсь от боли,
Всё глядит на меня со стены
Матерь Божья с лицом бабы Оли.

ХУДОЖНИК

Ни приюта, ни мягкой постели.
Возле станции, где-то в тиши
Он рисует с утра акварели,
И вокруг благодать – ни души.

Я увидела дверь при тусклом свете
И, ковырнув разболтанный замок,
Узнала всё: комод и стулья эти,
Упрятанные кольцами дорог,

И ватное родное одеяло,
Как яблочко сушёное – лицо.
«Чего так долго ты не приезжала?
Хотя бы за полгода письмецо...»

Всё слушала меня, всё удивлялась
И тут смекнула радостно: «Погодь,
Что ж, насовсем? Ужель навоевалась? –
И тихо так: – Храни нас всех Господь...»

Война – оно занятие пустое,
А сердце всё же просит тишины...»
И обронила самое простое:
«Нельзя ли как-то миром, без войны?»

И сумерки надвинулись тревожно,
И я тогда подумала о том,
Что без войны, наверное, и можно,
Когда сердца наполнены добром.

Какая-то неведомая сила
Нам раздаёт смирение и покой,
Не то добра кому-то не хватило,
Не то другим насыпано с лихвой.

ПОСЛЕДНИЙ ДРУГ

Как будто выходящие из моды,
Уходят потихоньку от меня...
Друзей всё меньше – их уводят годы,
И вслед машу я, годы не вина.

Всё меньше встреч и посиделок дивных,
Не знать уже, что будет впереди.
Как мало нерасчётливых, наивных,
Влюблённых в снегопады и дожди!

Бросаешь всем приветливое слово,
Бежим по жизни, кто-то и отстал.
Я не желала никому плохого,
И мне никто плохого не желал.

Вокруг всё тише, и не ведать сроков,
И мир всё тот же – яркий и живой.
Уйдут друзья без боли и упрёков,
Останется единственный. Родной.



**Наталья
МЕЛЁХИНА**

ОРКЕСТР ИГРАЛ

Доярки, ждавшие колхозный автобус на деревенской остановке в Знаменье, издалека напоминали разноцветных курочек. Сегодня женщины надели самые красивые свои платья, а поверх накинули лёгкие ветровки и плащи – розовые, красные, бордовые... Мужики, тоже принарядившиеся, в выходных костюмах, курили чуть в отдалении, чтобы не травить никотином женщин. Знаменские собрались в райцентр на восьмидесятилетний юбилей колхоза «Новый путь». Конечно, назывался он теперь не колхоз, а ЗАО, но у крестьян эти юридические тонкости вызывали лишь саркастическую усмешку. Как метко выразался председатель Викентий Палыч: «Тремя-то буквами в народе, сами знаете, что называют. А мы – колхоз!»

Колхозников-передовиков ждали концерт и вручение премий. Весенница в «Новом пути» ещё не началась: поля пока не просохли, и решено было торжество в честь юбилея провести до посевной, чтобы подбодрить народ перед тяжёлой работой.

Апрельский вечер выдался по-летнему погожим, ласковым. Доярки грелись на предзакатном солнышке и болтали, коротая ожидание. Вологодское оканье, звучавшее в их речи, только добавляло сходства с умиротворённым квохтаньем кур. Но скажи об этом женщинам, они бы не обиделись.

– Зря нас, баб, так обзывают. Курица – самая полезная птица и есть в хозяйстве! – безапелляционно заявила Анютка, молодая доярка, недавно победившая в районном конкурсе операторов машинного доения. – Вот дадут сегодня премию, куплю десяток молодух на лето. С красным пером, огненных, чтоб глаз радовали!

– А по чём нынче молодушки, не слыхивала, Анютка? – поинтересовалась Евгения Ивановна, колхозный ветеран, трактористка с огромным стажем. Это была гренадерско-

-
- Наталья Мелёхина – журналист и прозаик. Родилась в Вологодской области. Окончила факультет филологии, теории и истории изобразительного искусства Вологодского педагогического университета. Лауреат конкурса «Северная звезда–2012», Всероссийского конкурса святочных рассказов «Земля как решето» (2013), литературного конкурса Горного фонда России (2013). Печаталась в журналах «Знамя», «Север».

го роста женщина с некрасивым, рябым лицом. – У нас лиса-то подчистую весь курятник нарушила!

– Да ты что! – на все голоса заохали бабы, и создалось полное звуковое ощущение переполоха в курятнике.

– Пробралась ночью и десять штук унесла вместе с петухом, – всегда крайне немногословная Евгения Ивановна всё же добавила в свой рассказ несколько скупых деталей.

Бабы знали, что большего от неё всё равно не добиться, поэтому и расспрашивать молчунью не стали. А любопытство распирало! И каждая решила, что позже вызнает всё что надо у невестки Евгении Ивановны.

– Евгения Ивановна, я слыхивала, что в райцентре будут продавать кур на майские праздники, – поделилась новостями Анюта. – В прошлом-то году по сто семьдесят рублей молодухи были, а в этом, говорят, по двести уж привезут.

– Хватит ли ветеранской-то премии? – озабоченно покачала головой Евгения Ивановна.

– Должно хватить! По сто рублей аккурат за каждый год работы заплатят, а у вас стажу не меньше сорока лет. Так что рано переживать! На двадцать кур хватит! – подбодрила, посчитав в уме, Анютка.

Бабы вместе с Евгенией Ивановной рассмеялись.

– Мне и десяти достаточно! – махнула рукой старая трактористка.

Бойкой Анютке переживать тоже было не о чем: как победительнице районного конкурса, ей полагалась очень солидная премия.

– Анька, да что ты всё о курах? Пока мы молодые, гулять надо! Я вот на юг поеду. Что мы все? Кроме навоза да скотины, ничего не видим. Премию – и ту на кур тратим. Нет уж, я на море поеду! И дочку свезу. В Туапсе. Куда в прошлом году Никитины ездили, к той же тётке, что там им на берегу моря квартиру сдавала. Никитины у неё визитку взяли, – поделилась своей мечтой ещё одна молодая доярка, Танька Смирнова.

Её стадо по надоям заняло второе место по району, и она тоже рассчитывала на приличное вознаграждение от начальства.

– А войны-то там нигде поблизости нету? – встревожились бабы.

– Нету. Россия это, Краснодарский край! Не Чечня, не Украина... – успокоила Танька.

Тут подошёл автобус, бабы и мужики, обмениваясь шутками и смеясь, стали занимать места. Все, особенно молодёжь, находились в приподнятом настроении, в предвкушении праздника.

Рядом с колхозным кузнецом дядькой Толей робко примостилась на краешке сиденья скотница Ритка Коробова, худая как щепка.

– Анатолий Иванович, мне сегодня премию дадут небольшую, так не сделаете ли оградку на могилке для отца нашего? Памятник бы небольшой – просто как тумбочку бы хоть такую, с крестиком. В город мы ездили, в ритуальный магазин, да больно уж дорого там спрашивают.

– «Тумбочка с крестиком»... – повторил дядька Толя, усмехнувшись. – Да какие же, Рита, на кладбище могут быть тумбочки? Это ведь не спальня тебе!

– Да не знаю я, как называется-то это... – пригорюнилась Рита.

Она выросла в многодетной семье, а теперь одна, без мужа, растила сына. В ранней юности влюбилась Ритка без оглядки в своего одноклассника Тоху Семёнова из большого посёлка Первач, где находились средняя школа и администрация колхоза. Тоха был единственным сыном в обеспеченной семье. Мать его работала главным экономистом. После школы Тоха собрался в институт поступать и жениться на Ритке отказался. Тохина мать после выпускного всё совала Ритке деньги на аборт, но девчонка греха на душу не приняла. В институт Тоха поступил в Москве, да там и остался после учёбы. А его семья здесь, в Вологодской области, Ритку и сына её признать за своих отказалась. Ритка и не напрашивалась. Стоило ей вспомнить, как Тохина мать в школьном цветущем саду совала суетно ей в руки тысячные бумажки на аборт, так с души воротило. После декретного отпуска Ритка пошла на ферму скотницей работать. Образование у неё так и осталось – одиннадцать классов, но в скотники и с таким принимали.

Ритке было чуть больше двадцати, но выглядела она на все тридцать пять. Жиденькие светло-русые волосёнки перед праздником она постаралась уложить в причёску, не иначе завивалась на бигуди, но сделала это неумело, и кудри почти развились и рассыпались кое-как. Другие бабы слегка накрашились, а Ритка обошлась и вовсе без косметики. На ногах у неё были короткие резиновые сапожки, а не туфли, вместо вечернего платья – старомодный розовый костюм с юбкой, доставшийся в наследство от матери, умершей от рака пять лет назад.

Этой зимой осталась Ритка без последнего защитника – без отца. Тракторист Саня Коробов, по прозвищу Адмирал, отметив Новый год, ушёл в запой. Поздно вечером приспичило ему выпить, а сельмаг уж не работал. Саня на попутках поехал за водкой в круглосуточное придорожное кафе «Перекрёсток», расположенное рядом с федеральной трассой и предназначенное для дальнобойщиков. Обратного Саню никто не подвёз, он шёл домой пешком, но не осилил путь: уснул прямо на обочине, да там и замёрз.

– Рита, так памятник-то, тумбочка-то твоя, как у Лёши-печника, что ли? – опробовал дядька Толя тактику наводящих вопросов.

Лёша-печник тоже погиб по пьяни: в прошлом октябре утонул, свалившись в пруд.

– Да-да! Как у дяди Лёши – точно такой, как ему сделали! – обрадовалась подсказке Рита.

– А чего сёстры-братья твои? Не одна ведь ты дочь-то у него!

– Так пьют все, Анатолий Иванович.

– Да знаю я, – махнул рукой дядя Толя. – Но у тебя – сын. Одна ведь пацана растишь, без мужика.

– Ну а как быть?.. Мне вечно ждать придётся, пока родичи пропьются. Не по-людски как-то: лежит отец уж который месяц на кладбище, а всё без памятника, без оградки, – поёжилась Ритка. – А тут хоть поставлю, пусть и не шикарную, хоть самую простую... До Троицы бы успеть, до родительской субботы... – принялась за увещания Ритка.

И дядька Толя поспешил прервать её.

– Подумаю я, что тут можно сделать, – вздохнул кузнец.

Путь до райцентра был неблизкий, и беседы в автобусе кипели, как вода в самоваре. Обсуждали грядущий концерт, а заодно и всех артистов, особенно поп-звёзд.

– Вот раньше артисты были уважаемые люди. А сейчас что – тьфу! – только и сказать! – ругался пятидесятилетний ветврач Александр Семёнович, худенький, сухонький, с аккуратно подстриженными усиками. – Хвастаются богатством своим на всю страну с утра и до вечера, какой канал ни включи! А свой же народ впроголодь живёт. Кто у нас в России сейчас благоденствует? Олигархи, депутаты да артисты со спортсменами.

– Да уж! Они золотыми унитазами базанятся, а у нас в «Новом пути» в марте за декабрь только зарплату выдали, – поддакивали старые доярки.

– Да все они сейчас такие! – вставил свои пять копеек молодой тракторист Жека Самсонов, только осенью вернувшийся из армии. – У меня на наших футболистов зла не хватает! Все миллионеры, а играют как балерины! Недавно смотрел матч «Спартак» против «ЦСКА», так чуть не запил!

– Да и сами песни-то какие – заладят одно и то же: умца-умца, умца-умца! Поют одну строчку по часу... – продолжал ворчать Александр Семёнович.

– Так это припев, – предположил кто-то из молодёжи.

– Вся песня – один припев? – не унимался ветврач. – Бубнёж – вот как этот припев по-русски называется!

– А концерт на День работника сельского хозяйства? – вдруг припомнила обиду Анютка. – Как для нефтяников или на День милиции, так все мадонны и примадонны тут как тут! А как для сельчан – так чуть не из нашего районного ДК ансамбли.

– Где нефтяники, а где мы, крестьяне?! – фыркнул Александр Семёнович. – Нам таких гонораров, какие им надо за выступление, за всю свою жизнь не заработать!

– Обойдутся, и так горбатимся на Москву с утра до ночи, – хмыкнула Аня.

Ритка слышала болтовню односельчан, но не принимала её в свои думы. Мысли текли мимо бесед об артистах, словно река мимо берегов. «Премии дадут пять тысяч рублей. Всяко, не боле дядька Толя за памятник возьмёт», – строила планы Ритка.

Так, незаметно за разговорами и до районного Дворца культуры добрались. В первой части торжественного вечера молодые колхозники заскучали. Главный экономист Светлана Сергеевна долго и нудно зачитывала всю восьмидесятилетнюю историю «Нового пути» по бумажке, старательно перечисляя всех довоенных и послевоенных председателей, героев труда, знатных доярок... Лишь пенсионеры ловили каждое слово: они бдительно следили: всех ли уважаемых в народе людей перечислят? А Ритка смотрела из переполненного зала на Тохину мать. «Пополнела, похорошела. Платье-то на ней какое красивое, как у королевы! А туфли-то на каких каблучищах

надела!» – подумала Ритка и невольно перевела взгляд вниз, на свои резиновые сапожки. «А пусть её! – вдруг разозлилась Ритка. – Зато у меня сын растёт, а у неё будут ли внуки, неизвестно ещё!»

После Тохиной матери с коротким поздравлением выступил глава района. Председатель «Нового пути» Викентий Палыч и вовсе без речей обошёлся, сразу начал передовиков награждать – вручать букеты цветов и конверты с деньгами. Вообще-то, зарплаты колхозникам давно переводили на пластиковые банковские карты. Для банка и для огромного колхоза это было гораздо выгоднее, чем отправлять в каждую отдалённую деревню инкассаторскую машину с бухгалтером. Да вот беда: ближайший от Знаменья банкомат находился в райцентре. Чтобы получить собственную зарплату, крестьянам приходилось брать выходной. С утра они отправлялись на автобусе в город, а вечером – обратно. Или в складчину нанимали машину и засылали в райцентр гонца сразу от всей деревни. Ему вручали пригоршню карточек, а также на бумажке длинный список пин-кодов и сумм, которые нужно было снять для каждой семьи Знаменья. Не удивительно, что банковские карты колхозники ругали почём зря. Именно поэтому в честь праздника, да ещё и перед посевной решено было народ лишний раз не злить – выдать премии сразу наличными.

– Солидные надои получили в этом году наши операторы машинного доения, – по-книжному, а не так, как с бабами на ферме, говорил со сцены Викентий Палыч. – Но они не смогли бы добиться этих результатов без помощи наших скотников. И в числе лучших хотелось бы отметить мне Маргариту Коробову. Приглашаю на сцену для награждения!

Ритка никак не ожидала, что её первой из скотниц наградят. Зарделась, стала пробираться через ряды зрителей, споткнулась в своих сапожках о чьи-то ноги, ещё больше смутилась и, алая, вспотевшая, поднялась на сцену к Викентию Палычу за конвертом и цветами. Тот пожал ей руку и успел тихо сказать: «Молодец!»

Вернувшись на своё место, Ритка не мешкая заглянула в конверт: там лежало десять тысяч рублей. Десять! У Ритки даже руки затряслись. «Не может быть! Вроде бы пять обещали!» – пронеслось у неё в уме.

Церемония награждения продолжилась, и Ритка мало-помалу успокоилась. Она ещё раз заглянула в конверт, увидела две красные одинаковые ассигнации и развеселилась: теперь точно хватает, чтоб заплатить дяде Коле.

– Ну а теперь концерт, – закончив награждать, просто объявил Викентий Палыч. – Играют для нас сегодня ребятишки из школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Оркестр «Надежда» называется. Дирижёр – Иванов Василий Иванович.

Председатель спустился со сцены в зал и занял своё место. Из-за кулис стали выходить дети с духовыми инструментами. Это были ребята разного возраста, по виду – от десяти до семнадцати лет: мальчишки, в костюмах, при галстуках, и девчонки, в тёмно-синих платьях с отложными белыми воротничками. Для детей на сцене уже заранее были приготовлены стулья и пюпитры с нотами. Дирижёр, невысокий пожилой мужчина, тихо что-то скомандовал юным музыкантам. «Дедушка старенький совсем...» – подумала Ритка.

Колхозники всматривались в лица артистов, поражённые тем, что вот эти красивые, нарядные дети не видят их, зрителей, но свободно передвигаются по большой сцене. Риткино жальчивое сердце защемило от сочувствия.

– Надо же, слепые, а не спотыкаются! – прошептала Ритка сидевшей рядом с ней Анютке. – Каждый к своему месту идёт, как будто и знает, куда.

– Наверное, в интернате учат их так специально, – ответила Аня.

– А ноты-то они как видят?

– Может, они на языке слепых написаны, – предположила Аня.

– Жалко! – покачала головой Ритка.

– Мы поздравляем колхоз «Новый путь» с восьмидесятилетием! Без вас, тружеников села, нет ни молока, ни хлеба, и земля – сирота. Спасибо, что сохранили колхоз – это были трудные восемьдесят лет. Спасибо, что кормили нас в голодные годы войны, поднимали хозяйство в мирное время, выстояли в лихие девяностые. Мы сыграем для вас классические, джазовые и эстрадные композиции, а начнём со старинного русского марша «Привет музыкантам!», – объявил дирижёр.

И тут Ритка поняла, что и он тоже слеп.

Дирижёр говорил и смотрел в зал, но получалось, что смотрит он не на людей, а как бы поверх голов. Он не видел, кому адресовал свою речь. Но вот Василий Иванович взмахнул палочкой, и всё замерло вокруг, и в это мгновение Ритке показалось, будто дедушка-дирижёр стал намного выше ростом, спина его выпрямилась, осанка сделалась величественной, он словно помолодел на глазах, а музыканты его, наоборот, словно стали чуть старше.

Первый взмах палочки – и оркестр ударил так бодро и весело, что люди невольно заулыбались от неожиданности, а когда композиция подошла к концу, никто уже больше не вспоминал, что на сцене – слепые дети, и вообще, что на сцене – всего лишь дети, играющие под руководством старика-инвалида. Это были просто музыканты, очень талантливые и удивительно сыгранные, без всяких скидок на болезни и возраст. На грохот аплодисментов Василий Иванович сдержанно раскланялся и объявил «Прощание славянки».

– Когда на флоте служил, так мы под этот марш в море уходили, – шепнул кузнец дядя Толя соседу по ряду.

Тот кивнул, но дядя Толя был уже не здесь, в зале, он был в далёкой своей юности в городе Североморске, стоял в чёрно-белой морской форме в шеренге таких же, как он, молодых и бравых ребят, и солёный холодный ветер сплёл ленты на его бескозырке не то в жгут, не то в косу. Ему хотелось расправить их за спиной, но надо было стоять вытянувшись как струна. Тогда ему было смешно, что хочется девчоночьим жестом развязать ленточки, и он всеми силами старался не улыбнуться... Но это там, в юности, улыбаться в строю запрещал устав, а здесь, в старости, в районном ДК дядя Толя расплылся в широкой улыбке. Он неумело отбивал такт марша по колену загрубевшими, закопчёнными пальцами кузнеца.

Отыграв ещё несколько маршей, оркестр стал исполнять мелодии из кинофильмов. Под «Смуглянку» Ритка тихо напевала:

*Раскудрявый клён зелёный, лист резной,
Я влюблённый и смущённый пред тобой.
Клен зелёный, да клён кудрявый,
Да раскудрявый резной.*

Это была любимая песня её отца. Ей вспоминалось, как сидела она, трёхлетняя девчушка, на плечах у папки. Он нёс её из детского сада по цветущей, утопающей в сирени улице Знаменья и пританцовывал, потому что был навеселе, и напевал эту всем знакомую мелодию про смуглянку из партизанского отряда. И даже запах сирени вспомнился Ритке, и позабытый голос отца зазвучал в ушах, донёсся эхом из невозвратного детства.

– Недавно закончился матч: «Спартак» против ЦСКА. Всем разочарованным этой игрой посвящаем мы следующую композицию, – пошутил Василий Иванович.

И, ко всеобщему удивлению, духовой оркестр вдруг стал исполнять регги – песню группы «Чайф» со всем известным припевом: «Аргентина–Ямайка – пять-ноль».

«Правильно, – думал Женька Самсонов, самый главный деревенский болельщик, – с нашими футболистами только такие песни и петь». Он подумал, что вот уже очень скоро за деревней просохнет футбольное поле, и снова можно будет гонять мяч с деревенскими пацанами, тем более что закадычный друг Виталька Петров этой весной тоже вернётся из армии и займёт своё законное место вратаря. Девчонки придут поболеть и будут переживать, и подкалывать, и давать советы... Жаль, конечно, для футбола летом времени мало: то посевная, то силосование... «А вот для девчонок время всегда найдём», – про себя усмехнулся Женька. Оркестр сыграл ещё пару композиций, посвящённых спорту, и под «Трус не играет в хоккей!» Женька Самсонов наконец-то забыл горечь поражений.

Затем началась часть концерта, составленная из старых рок-рольных и джазовых хитов. Под битловскую песню «Michelle» ветврач Александр Семёнович неожиданно почувствовал во рту приятный вкус сигарет, хотя курить бросил уже очень много лет назад. Вспомнились студенческие годы. Сельскохозяйственная академия. Как собирались тогда в общаге послушать запрещённую музыку, обсудить прочитанные книжки, передаваемые тайно от товарища к товарищу. Вспомнилось, как за ночь «проглотил» «Архипелаг ГУЛАГ», как читал переписанные от руки стихи Гумилёва. И разговоры до утра, и споры, и дешёвое вино... «Как поколению моему повезло! Жили ведь в такое хорошее время! Всё тогда настоящее было: артисты, книги, вино – всё без подделок», – с грустью подумалось ему. Он смотрел на юных музыкантов на сцене и думал: в какое время им предстоит жить? Спустя годы, став взрослыми, что они вспомнят о своём детстве и юности?

– Мы завершаем все свои концерты одной и той же композицией – «Гимном России». Попрошу всех встать, – объявил Василий Иванович.

Зал поднялся, однако доярки и трактористы уже через несколько секунд вновь сели на свои места. Почти у каждого крестьянина от тяжёлой работы, от варикозного расширения вен под старость ноги становились распухшими, будто тумбы, и простоять на них весь гимн было непосильной задачей.

Но вот стихли последние аккорды. Зал обрушил на музыкантов грохот аплодисментов. Оркестр долго не отпускали со сцены, и ребятам пришлось сыграть на бис ещё пару маршей. Когда наконец детей и дирижёра проводили овациями, на сцену вновь поднялся Викентий Палыч:

– Дорогие друзья! – обратился он к колхозникам. – Ещё до концерта я побеседовал с дирижёром Василием Ивановичем. Оказывается, оркестр «Надежда» находится в тяжёлом материальном положении. Ребята играют на очень старых инструментах, а новые приобрести им не обещают. По этому поводу у меня есть предложение. Каждый из здесь сидящих получил сегодня премию. Давайте из этих денег скинемся ребяташкам. Ящик для пожертвований у выхода из зала. А теперь, пожалуйста, идём все в ресторан «Тройка» на юбилейный банкет!

Колхозники потянулись на выход. У дверей уже поставили картонный ящик для пожертвований. Что-то такое произошло после концерта: под звучание маршей, блюзов, гимнов деньги перестали быть просто деньгами, сменилась сама суть их и предназначение. Банкноты, заработанные самым тяжёлым трудом – трудом на земле, теперь были чем-то чистым и неосквернённым, наподобие бескровной жертвы.

Летели в ящик деньги кузнеца дяди Толи, словно подхваченные морским ветром ленты бескозырки. Упали ассигнации от Женьки Самсонова, будто он гол за Россию на чемпионате мира забил. Мягко, как рукопись со стихами, легли банкноты Александра Семёновича. Крестьяне вместе с деньгами отдавали свою благодарность, расставались со своими мечтами – об огненных красавицах-курах, об отдыхе на море, о такой жизни, где не будут болеть дети, где сельчан станут уважать, словно они звёзды спорта или эстрады...

Ритка, как и все, открыла свой конверт: там по-прежнему лежали две новенькие пятитысячные – никакого обмана зрения! На мгновение она заколебалась и замешкалась, но потом устыдилась и просунула в прорезь одну из купюр. «Ничего, – утешила она себя, – Бог дал, Бог взял».

На банкете колхозники смешались в одну весёлую подвыпившую компанию. Жители разных деревень, пользуясь возможностью, спешили поговорить с друзьями, родными, знакомыми – с теми, с кем в будни встретиться непросто из-за постоянной занятости и дальних расстояний между частями одного огромного колхоза.

Ритка, слегка захмелевшая после двух рюмок рябиновой на коньяке, осталась одна за столиком. Её подружек – Анютку и Таньку – мужики пригласили потанцевать, а она сидела над тарелкой с салатиком и смотрела, как под медленную мелодию на танцполе перетаптываются пары.

Неожиданно на соседний стул плюхнулась несостоявшаяся свекровь Светлана Сергеевна. От неё пахло «банкетной» смесью ароматов: водка, приторно-сладкие духи и разгорячённое танцами женское тело.

– Как, Рита, поживаешь?

– Спасибо, хорошо, – смутилась Ритка. – А вы?

– Рита, ты прости меня, – вместо ответа на вопрос выпалила Светлана Сергеевна. – Толя-то не приезжает домой совсем и не звонит почти. Как там живёт, мы и не знаем.

– Наверное, всё в порядке, раз не звонит, – предположила Рита. – Не женился?

– Какое там! – махнула рукой Светлана Сергеевна. – Изгулялся совсем! Рита, как сынок-то? Как Илюша?

– Растём помаленьку, – сдержанно ответила Рита. – Через два года нам в школу.

– Рита, я ведь видела всё! Ты почто пять тысяч-то кинула в ящик? Это ведь я тебе в конверт доложила, к премии добавила. Побоялась, что от меня ты не возьмёшь от обиды. Зачем так много подала?

– Дети потому что незрячие, а играют, как... как... как... – Ритка никак не могла найти подходящего слова.

– Как ангелы. Я репетицию перед концертом слушала: играют они – как ангелы небесные поют, – подсказала Светлана Сергеевна, но Ритка перебила её, стараясь сдержать слёзы.

– Да, вы умная и слова хорошие говорить умеете. А я-то – дура! Слов не знаю. У меня сын без отца растёт, а эти дети в интернате и вовсе без родителей живут...

– Рита, милая, и я о том же передумала, как детей этих услышала! Я тебя очень прошу, ты снова возьми, не обижай уж меня, старую дуру! – И Светлана Сергеевна неловко сунула пять тысяч рублей под тарелку с салатиком. – И в гости с Илюшей заходите, как в Первач приедете. Обязательно! Жду!

И она, чтоб не разрыдаться при народе, неловко обняла Риту, пока та не опомнилась, и резко встала, так что даже стул загремел по паркету. Светлана Сергеевна процокала на каблучицах за председательский стол, где сидела вместе с другими руководителями. Ритка помолчала, подумала... и убрала новую пятитысячную в конверт к оставшейся купюре. Не для себя – для Илюшки, который до сих пор рос без отца, без бабушки, а с прошлой зимы остался без деда. Ей очень хотелось убежать в туалет и там заплакать, но она не успела.

– Рита, а потанцуй со мной! – Женька Самсонов, раскрасневшийся и вкусно пахнущий сигаретным дымом, настойчиво потянул её за руку.

– Пошли! – пряча слёзы за натянутой улыбкой, отозвалась она. И уже увереннее, веселее добавила: – Пошли!

В Знаменье колхозный автобус отправился ближе к полуночи. Все расселись на свои же места, и Ритка вновь оказалась рядом с кузнецом дядей Толей. Кто-то разговаривал, кто-то задремал, утомлённый праздником. После концерта сельчане будто снова слушали оркестр – каждый у себе в памяти. Мелькали за окном поля, отведённые под пашни. В весеннем воздухе над парящей, ждущей зерна землёй висела туманом не слышная непосвящённым, не побывавшим на концерте «Надежды», одинокая саксофонная мелодия. Она звучала за кадром, как это бывает в саундтреках старых чёрно-белых фильмов. Это была мелодия о чём-то таком, что и вернуть невозможно, но и забыть нель-

зя. Правда, у каждого пассажира в колхозном автобусе она складывалась из собственных созвучий. Для кузнеца дяди Толи это была и не музыка даже, даже не саксофон, а ритм – ритм «Славянки». Он всё ещё выстукивал пальцами по колену что-то морскому военному маршу подобное.

– Дядь Толь, мне десять тысяч дали премию. Хватит на памятник-то? – напомнила Ритка.

– Не надо мне твоих денег, Рита, – ответил дядя Толя, улыбаясь не ей, а молодому моряку из своей памяти. – Я и так сварю... «тумбочку». – И он хохотнул, как мальчишка совсем.

– Почему не надо? Как не надо? – всполошилась Рита. – Я ведь не совсем нищая!

– Да при чём тут нищая! – вдруг рассердился дядя Толя. – Рита, за что твоего отца-то Адмиралом звали, знаешь?

– Нет, не знаю.

– Раньше-то в Знаменье к нам дорог не было. Только в броднях и можно было пройти. Пока тракторы «ДТ», «гусеничники», колхоз не купил. И вот вернулся я из армии (на флоте служил). На корабле-то хорошо кормили – от пуза, я таких яств и не едал, каких на службе попробовал: мармелад, шоколад, вино сухое, тунец, скумбрия, палтус – рыбы всякой-превсякой! А дома, в деревне снова – ячневая каша да капустные щи! Да ещё с бражкой, да с самогомом – за дембель выпивали всю неделю с дружками. И сделалась у меня язва желудка, а распутье – ни скорой к нам проехать, ни меня к скорой доставить. Вот совсем уж я от боли кончался! А тракторы только привезли в мастерские. Стоят там в заводской смазке, ещё и не расконсервированные. Отец твой – самый искусный тракторист. Председатель ему говорит: «Саня, сможешь довезти до скорой, спасёшь человека – так твой трактор будет! Любой из новых выберешь!» Так, батя твой трактор этот новый за час расконсервировал и освоил – веришь ли, нет?! Был твой отец выпивши, как всегда. Мужикам говорит: «Мне бы только в колею попасть, а там довезу матроса! Не растрясу!» И наметили в колею трактор гусеницами, телегу прицепили, меня в неё на солому уложили. И ведь довёз! Дошёл по грязи до самой скорой, как ледокол! Спас меня отец твой. С тех пор Адмиралом его и прозвали. Адмирал бездорожья потому что. С матросом в телеге! – Он снова рассмеялся. – Так что сварю я памятник Сане, а деньги на сына лучше потратить. Глядишь, знатным трактористом вырастет, как дед! А даст Бог, так и моряком станет. Хорошо, Рита, в море, ой, хорошо!

– Спасибо, дядь Толь.

На «спасибо» кузнец ничего не ответил. Он уже не слышал Риткин голос не то за шумом волн, не то за рёвом ледокола-«гусеничника». Ритка отвернулась в тёмное окно, за которым теперь мелькали ёлки да осины, и слабым голосом зашептала:

*Раскудрявый клён зелёный, лист резной,
Я влюблённый и смущённый пред тобой.
Клен зелёный, да клён кудрявый,
Да раскудрявый резной.*



**Евгения
ДЕКИНА**

СЕМЬ ЛЕТ ЛЮБВИ

Я лечу к деду. Я соскучилась. Я живу в Москве, а он – дома. В Сибири.

Аэропорт чем-то напоминает больницу. Тот же белый кафель, стерильные полы, напряжённое ожидание и едва уловимый страх. Даже здесь, за столиком уютного рестораника в зале ожидания, тот же наэлектризованный воздух. Выхолощенный официант ставит передо мной тарелку с дымящимся куском мяса. Через волокна, пульсируя, проступает сукровица. Оттого кажется, что мясо всё ещё живое.

– Ваш клаб-стейк с кровью на подушке из свежего огурца.

Меня будто внутренне подбрасывает, переворачивает и усаживает на место. Я поднимаю на официанта глаза, и он тут же, по моему лицу догадавшись, что ошибся столиком, бормочет извинения и торопливо отходит. «Господи, ну зачем? Не сейчас, пожалуйста».

Мама не знала, как сказать мне. Но по её напряжённому лицу всё в общем-то было ясно. Зато бабушка, еле успев расцеловать меня с дороги, пожаловалась:

– Он меня не узнал! Говорит мне: «Ты кто такая, бабушка? Зачем ты тут сидишь? Жену мою позови». Всю жизнь вместе прожили, а теперь я ему, видите ли, бабушка!

Мама принялась объяснять, что второй инсульт, и в его возрасте, и часть мозга, и Рината он вчера назвал каким-то

-
- Евгения Декина родилась в г. Прокопьевске Кемеровской области. Окончила филологический факультет Томского государственного университета. Работала журналистом, уборщицей, продавцом, барменом, учителем. В Москве с красным дипломом окончила Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова по специальности «Кинодраматургия», открыла детскую театральную студию «МАГ», успешно существующую и по сей день. Работает сценаристом. Участвовала в форумах молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Публиковалась в сборнике «Новые писатели-2015». Член СП Москвы. Участник семинара прозы Сочетания молодых писателей СП Москвы 2015 года.

никому не ведомым Егором, и если он будет двигаться, то постепенно... Но я уже не слушала. Я вошла.

Он улыбнулся, тяжело приподнявшись на кровати, обнял меня:

– Чудовище приходило.

И я тут же, как по волшебству, оказываюсь маленькой девочкой на крыше дедовского гаража. И если рассказать маме, она непременно объяснит, что это стресс меняет течение времени. Воспоминания смешиваются с реальностью, трансформируются, а некоторые от горя даже с ума сходят. Она сама видела. Лучше бы забывать. Я должна терпеть и не сойти с ума. Такой вот совет от мамы. Но это потом, когда я вырасту. А сейчас стою на крыше и кричу в печную трубу очень страшным голосом:

– Дед, я чудовище! Я тебя съем!

Мне четыре. Я ненавижу детский сад и потому торчу у деда. Бабушка сидеть со мной отказывается. Она пытается научить меня вязать пуховые рукавицы на продажу, но я, кряхтя, спускаю петли, болтаю ногами и постоянно цепляю её прялку. Нитка рвётся, и при вязании узелок придётся прятать с изнаночной стороны.

Во дворе мне делать нечего, хотя бабушка и вывалила на крыльцо целый мешок моих игрушек. Я хочу к деду, но в гараже у него воняет бензином. От бензина меня тошнит, и войти я не могу.

Поэтому я взобралась на гараж и разговариваю с дедом через печную трубу. Дед, конечно же, не догадывается, что это я, он абсолютно уверен, что говорит с самым настоящим чудовищем.

– Дед, я страшное чудовище! Сильно прям страшное! Ты меня боишься?

– Ой, боюсь-боюсь!

– Молодец!.. Ты смеёшься там, что ли? Дед!

– Нет, я плачу. От страха. Не ешь меня, пожалуйста!

И тут же тяжёлая волна жалости накрывает меня. Я представляю себе, как он, мой любимый дед, сидит там, в ужасе забившись в угол на дне ремонтной ямы. Вокруг темно, воняет бензином, а сверху, от самой двери надвигается на него чудовище, которое вот-вот сожрёт его... И я бегу по крыше, спускаюсь, обдирая колени о кирпичи и старый забор, врываюсь в гараж и бросаюсь на шею деду. И, уже совершенно забыв о том, что чудовище – это я и есть, реву от страха и неумолимости надвигающегося конца, целую бесконечно.

– Если оно тебя съест, как же я? Как же я буду тут одна?

И дед, растроганный и умилённый, смеётся своим невероятно заразительным смехом.

Всю дорогу домой мы с мамой молчим. Уже у калитки она поднимает голову:

– Он тебя узнал?

Я не хочу рассказывать, что мне сейчас четыре. Мама борется. Возвратившись домой, снова и снова штудирует многочисленные справочники по медицине, чтобы завтра снова попытаться. Должно быть средство. Если даже рак лечат, если младенцев спасают от воспаления

лёгких, и, говорят, даже от СПИДа лекарство нашлось. Должен быть способ. Я тоже хочу, чтобы он был. Поэтому просто киваю.

На следующее утро бабушка рассказывает, что он порывался встать. Говорил, что опаздывает на работу и его непременно уволят, если он сейчас же не пойдёт. От попыток подняться подскочило давление. Пришлось сказать ему, что он на больничном, его в очередной раз завалило на шахте. Только тогда успокоился.

Если мне четыре, то бабушки я побаиваюсь. Она олицетворяет собой злой рок, ворчит и заставляет меня делать вещи совершенно бессмысленные. Например, спать днём. Никто не спит днём: ни сама бабушка, ни дед, даже страшный цепной пёс Тобик не спит. Воң, лает. А Женя должна. Причём не на своём месте, а на бабушкином диване, застеленном старым плюшевым покрывалом болотного цвета. Покрывало колетса даже через простыню, бабушка полет грядки и постоянно заглядывает в окно, чтобы проверить, сплю ли я. Конечно, я не сплю. Я сражаюсь с покрывалом, стараясь сбить простыню так, чтобы кололось поменьше. Но это можно пережить.

Самое страшное, что бабушка застилает простыней и подушку тоже. А мне, для того чтобы заснуть, непременно нужно засунуть под подушку руку. До сих пор. Под подушкой руке прохладно и уютно, и если упадёт чудовище, то хотя бы рука спряталась. Естественно, когда время подходит ко сну, я сбегая на сеновал. Больше прятаться негде. Бабушка раз за разом находит меня, ругает и укладывает. Я реву. Бабушку, вырастившую трёх дочерей, этим точно не пронять, но я пока этого не понял.

Выход нашёл дед. Он просто укладывает меня в своей комнате. И это счастье. Во-первых, я теперь почти что дед. Я сплю в его постели и воображаю себя им. Кряхчу и долго ворочаюсь.

Во-вторых, окно его комнаты выходит не в огород, а на улицу. Не побежит же бабушка со своими сорняками вокруг дома, чтобы проверить, сплю ли я. Она пойдёт через дверь. А дверей на её пути будет три. Первая тихо брякнет стеклом, вторая, обитая утеплителем, низко ухнет, а третья мелодично звякнет крючком о щеколду. За это время я успею прикинуться спящей.

В-третьих, у деда кровать с сеткой. А значит, можно прыгать до самого потолка. А если надоест, можно залезть под кровать. Там тоже интересно.

В-четвёртых, дед специально для меня спрятал в комнате журналы. Под носками в комод. Большею частью это старые и скучные «Пионер» и «Родина», но в условиях гражданско-полевой войны выбирать особенно не приходится.

В-пятых, если совсем заскучаю, можно прокрасться в соседнюю комнату и посмотреть на фигурки оленей. Моя конькобежка-мама привезла их со сборов из Чехословакии. Стекланные олени, кажущиеся янтарными в отблесках солнечного света. Один – большой, сильный и горделивый, а второй – поменьше, преданно заглядывающий первому в глаза. Уже тогда было ясно, что это мальчик и девочка и у них любовь. Но я до сих пор думаю, что это я и дед. Я тро-

гаю всё, до чего могу дотянуться, я обрушиваю целые полки и бью посуду сервизами. К оленям я не прикасаюсь. Хочется невероятно. Хотя бы одним пальчиком провести по прохладной сияющей спинке. Но я терплю. Если один из них упадёт, я себе не прощу. А я хочу, чтобы и мои внуки потом, когда я уже буду стареньким дедушкой (не могу же я превратиться в строгую бабушку, в самом-то деле!), так же благоговели и боялись к ним прикоснуться.

Теперь они стоят на самом видном месте в моей новенькой подмосковной квартире. И лучше бы их там не было.

И самое главное, с чего и стоило начать, у деда в комнате стоит пятидесятилитровый бидон мёда. Можно быстренько прошмыгнуть на кухню, взять ложку и выковырять насмерть застывший комочек. Тем более я уже знаю, как. Чтобы получить этот бесценный опыт, мне пришлось сломать четыре алюминиевые ложки и маленький нож. Зато большой дедовский тесак для убоя скота справляется с блеском.

Как-то бабушка решает испечь пирог, раскрывает бидон – а там... Злополучные обломки ложек и дедушкин тесак. Она оборачивается ко мне, онемев от поднимающейся ярости, а я, пятясь, только в тот момент понимаю, что вообще-то сделала нехорошее. Но тут дед, заглянув в бидон, раздражается своим обычным всепрощающим смехом. И всё. Гроза миновала. Не будешь ведь ворчать на ребёнка под переливы дедовского хохота!

Что бы ты ни сделала, как бы ты ни ошиблась, дед смеётся. И ты, сконфуженная, но при этом всё равно горячо любимая, мгновенно осознав былые ошибки, прощена. Из этого понимающего смеха сразу ясно, что ты не специально – просто сгупила. С кем не бывает?

Казалось, за этим смехом к деду приходят все. Толстая Валя, живущая напротив, приходит плакать и жаловаться на мужа-«алика», вычудившего очередное. Я думаю, что «алик» – это имя. И когда он приходит занять у деда денег, так с ним и здороваюсь:

– Здравсьте, дядя Алик!

Он неприятно удивлён, но дед так громко хохочет, что и «алик» начинает улыбаться. Он объясняет мне, что жена зря его на всю улицу позорит. Денег у деда, впрочем, больше не просит.

Дед отпаивает Валю чаем из своей большой кружки с гравировкой «Лучшему шахтёру» и смеётся до слёз. И Валя уходит просветлённой. Улыбается. И не она одна.

Лучший друг деда, Мечтанин, тоже. Порывистый, как подросток, седой, испуганный и ссутуленный, почти как знак вопроса. Мама говорит, что у него искривление позвоночника (Мечтанин – инженер и много чертит). Но я-то знаю правду. Он постоянно шепчет секреты на ухо моему кругленькому невысокому деду. От этого и искривился. Они и сейчас идут рядом, двое, подходящие друг другу, как частички пазла. Мечтанин, широко раскрыв глаза и прикрывая дедовское ухо ладонью, чтобы никто не слышал, рассказывает, как скотник Собачкин продал на рынке сепарированное молоко. Покупатель, придя домой, молоко попробовал, вернулся на рынок и вылил всю трёхлитровую банку Собачкину на голову. Смеётся дед; смеётся, воровато оглядываясь, Мечтанин; смеётся Собачкин, случайно оказавшийся у него

за спиной. Смеюсь я. Нет, я пока ещё не знаю, что такое сепарированное молоко, и ошибочно полагаю, что именно в этом и есть соль шуток. Просто светит солнце, смеётся дед, а Мечтанин дал мне круглую конфету. Он всегда даёт мне круглые конфеты. Я уверена, что он вообще обожает всё круглое: своего пса Шарика, корову Орбиту, моего деда и немножко меня. Я тоже довольно круглая. А дед, наоборот, любит длинное. Пшеничную соломку, колбасу, самодельные трости, дрова, лопату, бабушку, Мечтанина и меня. Меня, конечно, больше всех.

И если он хочет, чтобы мне сейчас было четыре, пусть, мне нетрудно. Ведь если мне четыре, то дед ещё здоров и весел. Он даже ещё не вышел на пенсию ветераном труда и вскапывает огород, улыбаясь весеннему солнцу. Мне скучно, и я снова привязываюсь к нему с извечным вопросом, во что мне поиграть. Дед предлагает сыграть в прятки. Я рада. Я люблю играть с дедом. Правда, я подозреваю, что искать меня он не станет, потому что копать ему ещё много, а помогать ему я отказываюсь – говорю, что от лопаты у меня, как и у него, болит «прясница», и не понимаю, почему он смеётся.

Я прячусь в курятнике, сижу и боюсь, что войдёт петух и наквохчет на меня. Но здесь дед точно меня искать не станет. Как раз из-за петуха. Устав бояться, я выхожу из укрытия. Дед продолжает копать. Я злюсь и, уперев руки в боки, смотрю на него с укоризной. Дед смеётся. Этого, в общем-то, достаточно, чтобы уладить конфликт, но он всё же оправдывается:

– Ты где была? Я везде искал! Никак найти не мог! Как сквозь землю провалилась! Я и копать-то начал, думаю, вдруг тебя из-под земли выкопаю!

Я довольна. Я чувствую себя мастером конспирации и собираюсь рассказать деду, что всегда пряталась в курятнике, но... мне внезапно уже тринадцать.

Больше всего на свете я боюсь коров. Бабушка считает, что это блажь, и посылает меня в коровник по любому поводу. Мне уже тринадцать, а я ещё ни разу не вошла. Мама уверена, что это какой-то вытесненный детский стресс, неспроста ведь появилось в моих играх страшное чудовище.

Дед рассказывает мне весёлые истории про коровий ум и доброту, я смеюсь, но каждый раз, останавливаясь у сарая и замечая силуэт в окне, все равно пугаюсь. Мне кажется, что это огромное чёрное существо взбесится там, в сарае, и, легко взмахнув рогами, раскатает дом по брёвнышку, растерзает маму, бабушку и даже деда.

Как-то утром я просыпаюсь от возмущённого коровьего мычания, иду посмотреть и никого дома не обнаруживаю. Испуганная, бегаю по огороду, кричу, зову. Никого. Корова надрывается в стойле.

Я уже знаю, что, если корову вовремя не подоить, у неё будет мастит. Потом только резать. Я представляю, как из опухшего вымени комками вываливается на пыльную дорогу простокваша и корова, которая не может сама ничем себе помочь, пытается дотянуться до вымени копытом, но ей не удаётся. И по страшной морде её текут слёзы.

Меня пронзает такой острый приступ жалости к страдающему животному, что я хватаю ведро и решительно иду к сараю.

Но, как только я приоткрываю дверь, корова мычит мне прямо в лицо.

– Кнопка, вот ты меня пугаешь, – говорю я ей возмущённо, – а я тебя даже и не боюсь. И вот даже вообще не боюсь! – неумело вру я.

Косясь на рога, я насыпаю ей целое ведро очистков, торопливо, чтобы корова, пока ест, не заметила, что её доят.

Внизу темно и страшно. Сверху нависает огромный коровий живот, а за спиной, между мной и стеной тесного сарая, почти не остаётся места – если корова неаккуратно повернётся, она непременно расплющит меня о стену. Стараясь не дышать, чтобы ничем не выдать своего присутствия, будто она и впрямь может про меня забыть, я осторожно сжимаю толстый сосок, и тоненькая струйка звонко бьёт о дно ведра. Надоив где-то с литр, я, гордая собой, вдруг осознаю, что она давно уже не жует. Стоит и смотрит.

– Ешь давай! – кричу я на неё, и голос мой каким-то чудом не срывается.

Корова отворачивается.

Доить приходится невыносимо долго. Кнопка вздыхает, переступает с ноги на ногу, но терпит. И я терплю. Твержу себе, что всё правильно, что она всё понимает и ей это нужно куда больше, чем мне. Но каждый раз, когда она переминается с ноги на ногу и на меня надвигается огромная тень, я испуганно замираю и немножко готовлюсь к смерти. Слабые руки сводит судорогой, вены на них вздулись и пульсируют. Я всхлипываю от боли, но не останавливаюсь.

Когда я выхожу из сарая с полным ведром молока, передо мной стоит изумлённый дед. Он разводит руками и восхищённо выдыхает:

– Ну ты герой!

Я бросаюсь в эти руки и, прижавшись к нему всем телом, рыдаю. Судорожно, захлёбываясь, не в силах вдохнуть. Он гладит меня по голове, и я чувствую, что весь мой ужас, годами раздувавшийся и набухавший, оказался таким мыльным пузырьком, что и говорить об этом незачем. И я улыбаюсь.

Он думает, что мне тринадцать. Приподнимается на постели, обнимает меня и внезапно признаётся, что всё это время был дома. Сначала прятался в гараже, а потом наблюдал за мной в окно сарая. Я улыбаюсь. Я уже догадалась. Не сразу, конечно, через год или два.

Мне четырнадцать. Я дою Кнопку и рассказываю им с дедом, что страстно влюблена в Юру Боярского, а один наш одноклассник (он, кстати, через пару лет умрёт от передозы, но пока только курит травку на погребке за баней) взял и рассказал об этом Юре. И я не знаю, как мне идти завтра в школу. Я же покраснею! Это заметят, и от этого я ещё сильнее покраснею, и ещё, и ещё, и умру со стыда. Дед, смеясь, выходит из сарая, и я понимаю, что ужасающая тень, накрывавшая меня с головой в тот страшный день, была совсем не от коровы, а от фигуры человека за окном. Я не обижаюсь и ничего не говорю. Мне смешно.

Мне четырнадцать. Я бегаю по утрам и учусь кататься на коньках. Я заканчиваю университет и слишком много пью. Я пишу диплом по современной литературе. Я молюсь на свою научную руководительницу и учу детей, которые молятся на меня. Я знакоюсь с будущим мужем.

Но весь этот год мне четырнадцать. Мы режем корову. Мою любимую Кнопку. Она поранилась на пастбище, началось заражение, и выхода нет.

Всю ночь накануне я реву. Кнопка тоже не спит. С вечера её не кормили, и она мычит от голода. Утром я иду прощаться. Я апатична, как мать арестанта накануне казни, обнимаю её и целую, и она, переживая за меня, а может, и догадавшись, стихает. А потом долго лижет мне лицо колючим языком.

Её уводят. Дед просит меня уйти. Мама, не выдержав, уходит тоже. Мы молча сидим перед работающим телевизором и старательно делаем вид, что смотрим. Мы обе знаем, что там сейчас происходит.

Чтобы отвлечься, я представляю, что это танец. Пятеро крепких мужчин и их ужасающий танец смерти. Наверное, они уже спутали ей ноги. Две петли. Одну – на передние, вторую – на задние. Потом они ловко поменяются местами – те, что держат петлю с передних ног, отойдут назад, а двое других выступят вперёд. Петли сойдутся, и корова, с ногами, связанными в единый пучок, не сможет устоять. Она какое-то время попытается, но они, все четверо одновременно, прыгнут на неё и завалят на бок. И тогда к её шее с огромным тесаком наперевес подойдёт пятый. Дед. Он знает, как я её люблю, а потому должен сделать это сам – он стар, он делал это много раз. Нужно, чтобы быстро и небольно. Очень нужно.

По телевизору новости. Я до сих пор помню пиджак и усы диктора. Иногда я встречаю его на работе и каждый раз пугаюсь. Он как-то даже спросил, в чём дело, и я промямлила, что он очень похож... там... на одного... Неважно.

Какая-то политическая ерунда, культура, спорт, прогноз погоды. И сквозь это всё мы с мамой пытаемся уловить посторонние звуки с улицы. Но их нет. Всё должно давно закончиться, но нас не зовут. Я выглядываю в окно и вижу, что Кнопка всё ещё стоит, она молча отбивается рогами, гарцует на спутанных ногах, не давая им зайти сбоку. Они наконец заваливают её, она падает, глухо треснувшись о землю, но видит в окне меня и вскакивает. Вопреки всем законам физики и биологии, она стряхивает их с себя и вскакивает. Она бросается к окну и кричит мне настолько страшно, что я, не выдержав, трусливо задёргиваю занавеску.

В следующую минуту в комнату врывается разъярённый дед. До этого я никогда не видела его в ярости, а оттого мне кажется, что это всё неправда. Фантазия или ночной кошмар.

Он кричит мне:

– Отпусти её! Отпусти! Ей всё равно не жить!

Нет, я не отпускаю. Просто на одно раздавливающее меня чувство вины, вины за предательство моей Кнопки, за то, что я позволяю её убить, накладывается ещё одно. Чувство вины за мой эгоизм:

я даже отпустить её не могу, а она из-за этого борется, надеется на меня, верит, что я спасу и не позволю. И ещё чувство вины перед дедом и этими мужчинами – им тоже больно убивать, а из-за меня они пытаются снова и снова, мучают Кнопку, и мама тоже... И пока вся эта башня окончательно погребает меня под собой, они успевают. Всё кончено.

Я не смотрю ей в глаза, проходя мимо её отрубленной головы. Я не могу. Мне стыдно. Она корова, и ей не объяснить, что выбора нет – быстрая смерть сейчас или мучительная смерть от заражения. Но мне всё равно кажется, что, посвятив я всю жизнь спасению утопающих, накорми всех детей Африки, застрой храмами всё свободное пространство от Калининграда до Владивостока, мне уже не отмыться. Может, и не кажется.

Но жизнь продолжается, и вот я, с дедовским тесаком наперевес, помогаю свежевать мою Кнопку. Довольно ловко снимаю с неё шкуру. Так ловко, что в какой-то момент вместо её кожи снимаю кожу уже со своего запястья. До сих пор шрам. С годами он зарастал, и тогда я тушила в него окурки. Становится легче. Мама злится. Она уверена, что я специально. Эдакий подростковый бунт. Нет, я не то чтобы сделала это нечаянно. Я хорошо помню. Это было какое-то третье, параллельное состояние. Полная отрешённость. Чужой, колючий воздух, неестественно алая кровь на белоснежном снегу, инопланетное солнце, нож, мясо, кожа. Если подрезать здесь, то кожа отойдёт. А если вот тут, на руке? Тоже.

Меня отпугивают на кухню по традиции готовить свеженину – первый кусок парного мяса для убийц.

И вот на столе передо мной кусок моей Кнопки. Из грудины. Он тёплый. И жилы всё ещё сокращаются, а оттого мясо подрагивает, будто дышит.

Я смогу есть мясо только года через два, уже в общежитии. Я хочу рассказать деду в следующий приезд, но не стану, мне же ещё четырнадцать, я не могу пока об этом знать.

Но в следующий приезд мне вдруг оказывается два. И деду тоже. Он пролежал всю зиму, «скорая» приезжать отказалась. И мама выхаживала его сама по советскому руководству для лечения грудничков. Мы играем в пирамидки и резиновые уточки, потому что мама вычитала, что мелкая моторика развивает мозг. Дед много смеётся. Мы учимся ходить. Шаг за шагом. Левая. Да. Поднимай. Молодец. Теперь правая. Да. Поднимай. Хорошо. Видишь, как здорово получается! Ещё немного – и сможем выйти на улицу. А там такое солнышко! И вдруг резко замирает. Тихо и стыдливо:

– Я забыл. Забыл, как ходить.

И не смеётся.

И я объясняю, показываю, держу, но он уже не старается. И мы играем в пирамидки.

Человек, окончательно заблудившийся в коридорах времени. И в какой-то момент я срываюсь.

Я рассказываю ему про него. О том, что у него было десять сестёр и братьев, как его мать отправили на завод в тыл, без детей, а отец

ушёл на фронт. И он остался с ними один в военный голод. Двенадцатилетний мальчишка. Старший. Как он попытался украсть мешок огурцов с колхозного поля. Как он бежал с этим мешком от конного сторожа и понимал, что если бросить – непременно уйдёт, кустами, заборами, огородами, но как бросить, когда дома десять ревуших от голода детей? Как его посадили, и он считает, что поделом, и как он с тех пор никогда не брал чужого и не ел огурцов. О том, что выжила только самая младшая его сестра, трёхлетняя Амина, которую единственную из-за возраста взяли в переполненный детский дом. Как потом после войны, мелкий и жилистый, он стал Батыром Татарии, победив в национальной борьбе самых сильных бойцов республики. Их подводил рост, а главное условие победы – перекинуть противника через себя. Чтобы ухватить деда, они наклонялись к нему, и он тут же подсекал их. Как именно там он заметил девушку удивительной красоты, на которой вскоре и женился. Как он два месяца с беременной женой на товарняках добирался до Байкала. Его старшая дочь родилась в поезде. Может, поэтому у неё такой мерзкий характер. В Татарии была засуха, голод, а на Байкале, по слухам, всегда можно было прокормиться рыбой. На деле оказалось, что рыбу нужно уметь ловить для начала. Не говоря уже о необходимом снаряжении и снастях. И дед подался в Прокопьевск. Там открылось несколько шахт разом и народу не хватало. С шестью классами образования он стал сначала бригадиром, потом начальником участка. Он, единственный из администрации, сам перед каждой сменой спускался в забой проверять технику безопасности. Именно поэтому его трижды заваливало. Как-то его не могли откопать двое суток, и он потом целый год лежал пластом и ждал, пока все его кости срастутся. Как он любил работать, как наслаждался солнцем, как пел и шутил. Я говорю и говорю, много часов подряд, с подробностями, с такими деталями, о которых никто, кроме нас двоих, знать не может. И когда останавливаюсь, чтобы перевести дух, он заинтересованно спрашивает:

– Это ты про кого? Из книжки? Хороший человек был, да?

Зато в следующий мой приезд мы неожиданно совпали. Он вдруг оказался здесь и сейчас. И удивился, как долго меня не было. Я рассказала, что живу в Москве, учусь во ВГИКе и работаю на телевидении, пишу кино. Он обрадовался и сказал, что всегда знал, как далеко я пойду. А потом он сам встал и медленно подошёл ко мне. Наклонился и прошептал тихо:

– Отпусти меня, я больше не могу.

Я с таким ужасом на него посмотрела, что он отступил и смиренно кивнул – нет так нет, но попытаться стоило. И, не устояв, вдруг упал назад, плашмя, сильно ударившись об пол.

И снова все эти гроздья вины и боли навалились на меня, и жгучий стыд: я не могу без деда, я не хочу, я не готова. Да, врачи сказали, что шансов нет, ещё семь лет назад, но я не могу. Не сейчас, пожалуйста. Если чудовище тебя заберёт, как я буду тут одна?

Он умер позже. Мама позвонила мне и сказала: «Дед умер». И положила трубку. Я не поверила и тут же вспомнила его смех. Его

дивный, всепобеждающий смех. Это насмерть закольцевалось в моей голове, как поцарапанная пластинка: «Дед умер» – маминим голосом – и его смех, наполнявший меня радостью. Смерть–смех. И снова, снова, снова. Я не могла говорить. Рот открывала, но мысли так и не выкристаллизовывались в слова. Голоса не было. Я пила водку из горла, заливала, запрокинув голову, как «алик», меня тошнило, и я тут же пила снова. Гортань разрывалась от боли, и мне это нравилось – отвлекало.

После похорон я бегала. Бегала до заходившегося сердца, до ободранной холодным воздухом глотки, до тошноты, бегала так, чтобы упасть навзничь на траву и думать только о том, жива я или нет. Но потом начиналось снова. «Дед умер» – и его смех.

Полегчало только в Москве. Через сорок дней, ночью, я вспомнила вдруг то, что никогда не вспоминала. Когда дед выпивал, он приходил поздно, и я всегда ждала его за холодильником, чтобы напугать. Ждала долго, иногда до самого утра, сидеть было неудобно, болели ноги и затекала «прясница», но дед всегда приходил. И я пошла и села за холодильник. Прямо в Москве, в общежитии, ночью. Мне казалось, что он непременно придёт. Надо только подождать. Я прождала до самого утра. Но на этот раз он так и не пришёл.

Прошло много лет. Я стала сильнее. Может быть, немножко дедом. Я научилась быть одна. Развелась, осталась в Москве, купила уютную квартирку в пустынном местечке у леса, за городом, и огромный джип. Но каждый раз в аэропорту я думаю о том, что уже завтра я буду стричь траву на могиле моего любимого деда, и будто тяжёлый вакуум стаскивает с меня все связи, чувства, достижения и оставляет голой, без кожи, с содрогающимися жилами перед лицом пустоты.

Мама говорит, что он навсегда останется в наших сердцах, в моей памяти, что его воспитание... А мне нужна реальность. Какое-то чудо, которое докажет мне, что он сидит там, на облачке, смотрит на меня и по-прежнему смеётся. Но ничего не осталось. Одежду бабушка раздавала, кровать с сеткой выбросили, красные «Жигули» продали, оленей забрала я. Кружку «Лучшему шахтёру» он случайно разбил в день смерти. И всё.

Оставив чемодан у мамы, я сразу иду к нему. Как раньше. Только теперь не домой, а на кладбище. И пока я иду, он все ещё здесь. К нему можно идти. Правда, прийти уже нельзя.

Почти у самого кладбища я неожиданно встречаю Мечтанина. Он сильно сдал, поседел окончательно, но стал как-то ровнее и полнее. Нет больше этого испуга, порывистых движений, волнения – просто старичок с бесконечной тоской в глазах. Я не знаю, что говорить. И он не знает. Да и незачем, наверное. Мы просто молчим и смотрим друг на друга. Минуту, две, десять, вечность... Глаза в глаза. Тоска и пустота. Пустота и тоска.

И он протягивает мне конфету.



Юрий
ЛУНИН

ДВА РАССКАЗА

УСПЕНИЕ

1.

Бабушка сказала:

– Завтра пойдём в церковь на крестный ход. Успение завтра.

Я принял новость без протеста. «Успение, – подумал я, – это, наверное, такое событие, на которое надо успеть, и тогда всё будет хорошо».

В тот день я дал отпор мальчику, который давно мешал мне жить.

Мальчик был на год старше меня, но при этом трусоват. Он долго и тщательно исследовал возможности моего терпения, прежде чем наконец пришёл к выводу, что они безграничны.

Начиналось так: ставит он мне жёсткую подножку во время футбола – я растягиваюсь на земле и решаю, что отомщу ему тем же в ходе игры. Но он теперь нарочно держится подальше от меня. Я же ношусь за мячом как угорелый, и обида вымывается из меня вместе с потом. Он чувствует это и постепенно приближается. Он не делает сразу новую пакость, нет. Наоборот, он смеётся громче остальных над моими шутками, даже по-дружески кладёт руку мне на плечо. Мне это льстит, я начинаю считать его другом. Но дружба длится недолго. Убедившись в моём дове-

-
- Юрий Лунин родился в г. Партизанске (Приморский край). Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Лауреат литературного конкурса «Facultet» (2009, 2010). Лауреат российско-итальянской литературной премии для молодых авторов «Радуга» (2012). Стипендиат Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ (Фонд С.А. Филатова) по итогам XIV Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Рассказы публиковались в сборнике «Facultet» (2007), альманахах «Пятью пять» (2009) и «Радуга» (в первом из названных – на итальянском, 2012). Лауреат российско-итальянской литературной премии для молодых авторов «Радуга» (2012). Живёт в г. Электросталь Московской области.

рии, мальчик выжидает секунду, когда я завязываю шнурок, подбегает со спины и бьёт меня что есть силы ногой под зад. Я кувыркаюсь через голову и в гневе вскакиваю – а он уже снова далеко, показывает пальцем и смеётся. Потом опять по новой: осторожное приближение, короткое заискивание, видимость дружбы – и очередная пакость...

Многokrратно повторяя эту схему, мальчик постепенно ужесточал издевательства, а заискивание день ото дня сводил на нет. И ему удалось приучить меня к своему террору: я сносил пинки, тычки, подзатыльники, подножки, начиная думать, что, наверное, этот мальчик гораздо сильнее меня, раз он себе такое позволяет. А он уже и отбегать перестал. Сделает пакость – и хохочет мне в лицо.

Конечно, меня это угнетало. После очередного и, пожалуй, самого изощрённого издевательства – когда он помочился на меня с дерева – я от души расплакался. Открытая, через край идущая подлость часто обезоруживает, рождая в человеке растерянность и тоску, которые заглушают голос мести. Я не бросился на обидчика. Я убежал к бабушке и дедушке и, заикаясь от слёз, рассказал им обо всём.

Бабушка засобиралась к родителям обидчика выяснять отношения. Дед остановил её.

– Не надо, бабуля. Ругаться – не Божеское дело.

Бабушка удовлетворённо затихла. Видимо, подумала: «Ага, наконец-то, может, скоро и сам, старый, соберётся в храм». А дед увёл меня к себе в комнату и там спросил:

– Тебе нравится такое отношение этого мальчика?

– Нет.

– Тогда скажи ему в другой раз: «Знаешь, парень, а я ведь больше не буду терпеть. Если ты снова меня обидишь, я сделаю тебе больно».

– А если он всё равно обидит?

– Тогда нужно сделать больно. Нужно бить!

– Как? Я это не умею.

– А я тебе сейчас объясню.

Дед объяснил мне, что бить лучше всего в челюсть – не раздумывая и без подготовки, но точно. Показал, как верно сжимать кулак, нарисовал ручкой кружок у себя на ладони, и я довольно долго бил в этот кружок основной ударной рукой. Потом даже попробовал освоить «двойки», которые давались сложнее. Впрочем, дед сказал, что, скорее всего, понадобится только один точный удар. Напоследок я спросил деда, вспомнив его недавний прилив религиозности:

– Но разве это Божеское дело?

Дед помедлил с ответом, но всё же не растерялся:

– А как же! Сколько уже этот мальчик на тебе грехов совершил.

А стукнешь его по челюсти разок – и перестанет. Будет хорошим мальчиком и станет с тобой дружить. Вот увидишь! Даже на день рожденья тебя позовёт.

Деду я доверял безоговорочно. На следующий день я вышел во двор с готовностью осуществить его план.

Мальчик тут же пронёсся мимо меня и так сильно толкнул плечом, что я не удержал равновесие и упал. Я выполнил первую часть плана – словесное предупреждение. Мальчик отреагировал на него

кривой усмешкой, но тут же отдалился от меня на десяток шагов, как делал прежде, а затем даже использовал давно забытые приёмы – медленное приближение и заискивание. Я ощутил дыхание загадочной красоты, заключённой в простоте дедушкиной комбинации. Она уже действовала. С интересом и даже вдохновением я продолжал проводить время на улице, наблюдая за своим угнетателем. Как ни странно, в этот вечер мы с ним снова расстались почти друзьями.

– Н-да, хитрый, видать, попался товарищ, – рассуждал дедушка, расспросив меня о подробностях сегодняшнего дня, – хитрый и подколотный. Хочет опять нас усыпить. Ты смотри, не дай ему это сделать!

– Да нет, дедушка, мне кажется, он больше уже не будет.

– Хорошо, если не будет. Но... – Дед задумался, а потом поглядел на меня серьёзно. – Но смотри: если ещё раз обидит, уже не предупреждай, а бей.

– Почему?

– Потому что предупредить ты уже предупредил. Если сказал, а не сделал – грош цена твоим словам. Такой закон. Мальчик снова будет тебя мурыжить, и другие будут, и ты уже никогда от этого не отделаешься. Давай-ка повторим одиночный, а потом «двоечку».

И мы ещё немного позанимались.

На следующий день всё случилось молниеносно. В первую же пятиминутку прогулки мальчик плюнул на мою майку с расстояния нескольких шагов. Заворожённый тем, как спокойно я подхожу к нему, он лишь успел сказать, что хотел плюнуть не на меня, а просто плюнуть, но тут я осуществил вторую часть комбинации. Причём, желая порадовать дедушку, выполнил «двойку». Первый удар прилетел аккуратно в челюсть, а второй угодил в нос. Мальчик упал. Потом медленно поднялся на ноги. Он смотрел то на собственную ладонь, на которую накрапывала кровь, то на меня. В глазах его слились удивление и ужас, будто в ладони он держал ни больше ни меньше собственное сердце. Потом он разревелся как младенец и убежал домой. Смутно предчувствуя что-то нехорошее, я тоже поспешил к бабушке и дедушке.

Не успел я отчитаться деду в окончательном выполнении его плана, как в квартиру без стука ворвалась мать пострадавшего мальчика. Она потрясала кулаком одной руки, а другой держала за шею самого потерпевшего, который теперь почему-то глядел на мир без скорби, а с ехидным любопытством. Казалось, ему была интересна планировка квартиры, в которой мне сегодня достанется за его разбитый нос.

– Вы что ж это, старичьё, своего гнидёншца на привязи не держите?! – начала мама. – Кинули вам, значит, молодые его на шею, так вы думаете, я вас отвечать не заставлю?! На коленях у меня, хрычьё, ползать будете!

– Ты чего кричишь, Наташа? – тихо вышла из кухни бабушка, оставив кулаки в бока.

Она говорила без гнева, но ясно было, что готова в любую минуту сделать какое-нибудь не совсем Божеское дело. Мы с дедом переглянулись, стоя в конце коридора, и дед кивком пригласил меня к себе в комнату.

– Сама разберётся, – сказал он.

Из дедовой комнаты мы слышали голос тёти Наташи, уже далеко не столь грозный. В бабушкиных же репликах возрастали наступательные интонации. Казалось, она выростала над тётёй Наташей, подобно девятому валу. Рассказ про описанного внука стал победной точкой.

– Было дело? – спросила бабушка у мальчика. – Что молчишь? Я ведь всё-о видела из окна!

– Было... – промямлил мальчик.

– Вот! Бы-ило! Так что забирай-ка ты сама своего «гнидёнша»! – пригвоздила она. – И научи его дома уму-разуму. А то я, чего доброго, сама тебя отвечать заставлю, кошёлка!

Тут уж мы с дедушкой не выдержали и высунулись из комнаты: не провела бы и бабушка тётё Наташе одиночный или «двойку».

Но бабушкина атака была завершена. Раскрасневшаяся мама глядела на своего сына испепеляющим взором. Затем она вышла, так дёрнув его за собой, что он запнулся о порог и, судя по звукам, больно упал в подъезде.

«Гости» ушли. Мы отправились на кухню пить чай. Дед принялся подшучивать над бабушкой, мол, такая церковница, свечки-платочки, а может при желании разогнать парад на Красной площади. Бабушка не смеялась и не отвечала деду. Она сидела безучастно, не притрагиваясь к чаю и пряникам. Глаза её блестели. В её сердце уже звучал заунывный голос совести.

– Ничего, бабушка, – успокаивал дед, – отмолишь. Знаю я, что ты не любишь эту словосицу, а всё-таки верно ведь сказано: не погресишь – не покаешься. М-м? Как ты думаешь?

– Ой, ну что ты понимаешь! – взмолилась бабушка. – Бабку с внуком бес крутит под большой праздник, от причастия уводит, а он: «не погресишь – не покаешься». Ты думаешь, что говоришь-то?

Бабушка довольно сильно постучала себе по голове кулаком, показывая деду всю нелепость его излюбленной поговорки. Но дед был спокоен. Он добился, чего хотел: тяжкое чувство окончательного духовного падения поутихло в бабушке. Поутихло, уступив место практической энергии.

Именно тогда я и узнал, что завтра непременно иду с бабушкой на праздничную службу в честь Успения, да ещё и должен буду исповедаться, чего прежде никогда не делал. Далее, мне было поручено сию минуту разыскать моего прежнего угнетателя и попросить у него прощения, ибо сказано: «прежде причастия – примиришь».

– И маме пускай передаст, что я перед ней извиняюсь за свои слова, – сказала бабушка и почему-то отвесила передо мной низкий поясной поклон.

Я вышел на поиски мальчика, встретил его во дворе, тихого и какого-то женственного, и тут узнал кое-что ещё. Я узнал, что мой дедушка – настоящий гений, ведь когда я обронил перед мальчиком своё ничего не значащее «извини» и протянул ему руку, он страдающе улыбнулся и пригласил меня к себе... на день рожденья. Действительно, это был настоящий дедушкин триумф, вдвойне удивительный

тем, что празднество предстояло только в конце осени и с приглашением явно можно было подождать. Я не понимал, почему в человеке, которому пробили «двойку», непременно возникает жажда увидеть на своём дне рождения того, кто его отлупил. Честно говоря, сбывшееся дедово предсказание для меня до сих пор остаётся загадкой.

А в тот день мне осталось только выслушать несколько непонятных молитв, стоя перед иконным уголком в бабушкиной комнате, и лечь спать с мыслью, что завтра надо подняться быстро и послушно, а то ведь можно и не успеть, и тогда Успение не состоится.

2.

Я и прежде бывал с бабушкой в храме, в который она ходила. Храм был старинный, загородный, вдалеке от высоких домов и шумных улиц. Там я с удовольствием, хоть и совершенно бездумно, причащался; пожалуй, с ещё большим удовольствием поглощал после этого запивку и кусочки просфоры; мне нравилась необычная обстановка храма, нравилось, что здесь нужно следить за своим поведением: не бегать, не болтать, не смеяться – чтобы потом с удвоенной радостью и каким-то особенно полным правом делать это на улице.

Теперь настал у меня возраст исповеди – причащаться, не исповедавшись, было теперь нельзя.

Бабушка велела мне исповедоваться в том, что я стукнул мальчика, и отправила меня к батюшке, придав ускорение незлобным шлепком.

– Ну? – улыбнулся пожилой священник и пригнулся ко мне, когда я подошёл к аналою.

От его бороды пахло ладаном и ещё чем-то таким, что, вроде как, не имеет запаха: постом, молитвами, колоколами – по крайней мере, так мне показалось тогда.

– Что расскажешь, брат?

– Мальчика стукнул, – тихонько сказал я.

– Сильно стукнул?

– Да. Даже у него пошла кровь.

– За что же ты его так? – сказал священник с не очень большим сожалением, будто я не побил человека, а дёрнул, например, kota за хвост.

– Он меня постоянно обижал. Пописал на меня с дерева, потом плюнул на меня даже.

– И ты разозлился и стукнул.

– Нет, я не злился. Мне просто дедушка сказал, что надо стукнуть.

– Но ведь бить человека – это плохо, – заметил батюшка и испытующе заглянул мне в глаза, казалось, ему просто интересно беседовать со мной. – Господь-то, брат, учил не бить. Он говорил: «Ударили по правой щеке – подставь левую».

– Дедушка сказал, что если я не ударю этого мальчика, он меня будет всегда обижать и сделает на мне очень много грехов.

Священник коротко посмеялся. Казалось, он сейчас так же спокойно и беззлобно докажет неверность дедушкиного понимания христианства. Но вместо этого он вдруг на секунду погрустнул, а потом вздохнул.

– Н-да... Ладно, – сказал он, – ты только знаешь что, ты помолись сегодня на службе за этого мальчика. Посмотри на икону Богородицы и скажи: «Господи, Царица Небесная, пусть у этого мальчика всё будет хорошо. Пусть он не болеет, пусть родители у него не болеют, пусть он вырастет хорошим». Только от души помолись, по-настоящему. Помолишься?

Я кивнул.

– Ну вот и договорились.

Он положил мне на голову епитрахиль, прошептал надо мной молитву, а потом велел поцеловать крест и Евангелие.

Началась служба. Я, как обычно, вёл себя тихо и благочестиво: крестился, когда все крестились, кланялся, когда все кланялись, но не ощущал в душе обычного покоя и уюта. Причиной тому был злосчастный мальчик. Мне предстояло помолиться за него. Если бы батюшка разрешил это сделать кое-как, одними словами, так же, как я бросил ему своё «извини», то я был бы спокоен. Но сделать это надо было «от души, по-настоящему», и я не знал, как этого добиться. Всё же что-то подсказало мне, что надо вообразить мальчика в ту его минуту, когда он был наиболее жалок. Я стал припоминать такую минуту. Я вспомнил, с каким удивлением и ужасом он глядел на окровавленную ладонь, но это не помогло, потому что тут же перед моим мысленным взором возник его злорадный взгляд, с которым он чинил мне пакости. Я вспомнил, как злобно увлекла его за собой мама, как он споткнулся о порог и загремел на лестничной клетке под её проклятия. Но тут же выплыло его самодовольное, хоть и опухшее лицо, когда он только входил вслед за мамой в бабушкину квартиру и с невозмутимым любопытством оглядывался в ней. Мне даже на мгновение захотелось ещё разок стукнуть по этому лицу – какая уж тут молитва! Но тут я вспомнил другое: как он, оскалившись в неестественной улыбке, позвал меня к себе на день рождения. Не знаю, что так тронуло меня в этом нелепом жесте. Наверное, сама его нелепость. Но я вдруг подумал, что ведь у этого мальчика тоже бывает день рождения, что он также ждёт подарков, что родители целуют и обнимают его в этот день.

Тогда я представил картину, свидетелем которой не был. Он стоит с охапкой подарков, так что они чуть не вываливаются у него из рук, почему-то стоит в шортах и белых носках, натянутых почти до колен, глаза его блестят счастьем, и никого он не хочет описать с дерева в эту минуту, ни на кого не хочет плюнуть. Это был совершенно другой мальчик. Я порадовался за него, взглянул на икону Богородицы с Младенцем и поспешно перекрестился – впервые сам, а не следом за остальными, – чтобы словно припечатать возникшее во мне хорошее чувство крестом. После этого мне снова стало легко: мне показалось, что я выполнил задание батюшки.

Служба прошла быстро и даже как-то весело. Я причастился и, не опуская крестообразно сложенных рук, устремился к запивке. Запивку разливала из чайника кругленькая, как колобок, бабушка с остреньким носиком.

– Руки-то уж опусти – не у Чаши, – сказала она просто, без строгости и плеснула в серебряный ковшик из чайника.

Я выпил малинового компотцу с волокнами разваренных ягод, скушал дольку просфоры и попросил добавки.

– Это тебе не конфетки с чаем! – сказала мне маленькая девочка в толстой волосатой кофте и с бантами на голове.

Кажется, она была внучкой кругленькой бабушки и сейчас в точности воспроизвела слова, которые часто слышала от неё.

– А ты не осуждай, – сказала бабуся-колобок. – Вот возьму и налью ему ещё.

Я мог бы посмотреть на девочку с торжеством, но не стал: такая она была тоненькая, хрупкая, утопающая в своей кофте крохотной головой с синими жилками на висках, и юбочка у неё была надета поверх толстенных шерстяных штанов. Я попросил бабушку, чтобы она угостила и девочку. Бабушка похвалила меня за доброту, плеснула девочке «компотцу» и дала просфорки. Мы отошли на шаг и, поглядывая друг на друга, насладились церковным лакомством. Потом девочка взяла меня под руку и повела к подсвечнику, чтобы показать, как она управляется со свечами: огарки вытаскивает, задувает и складывает в специальную коробочку на полу; новенькие, положенные на подсвечник, зажигает от уже горящих, подплавляет снизу и всаживает в углубление, не боясь огня. Иногда благочестиво крестится и кланяется. Я уже и сам готов был попробовать, да она бы, наверное, и разрешила в награду за мой благородный поступок, – но тут со стороны алтаря донёсся торжественный шум. Понесли на улицу хоругви и иконы. Начинался крестный ход.

Батюшка заметил меня и велел дать мне закреплённый на лёгоньком древке фонарь с горящей внутри свечой. Девочке такого не досталось, и я предложил ей нести фонарь по очереди. Мы пошли рядом.

Пока в храме шла служба, на улице шёл сильный дождь. Теперь весь посёлок был залит солнцем позднего лета – самым нежным и приятным солнцем во всём году. Бабушки умилённо крестились:

– Матушка Богородица улыбнулась солнышком..

Крестный ход предстоял далёкий, почти через весь посёлок, потому что праздник был престольный. Верующие отправились в путь.

На сырой асфальт после дождя повылезали черви – десятки, сотни нежно-розовых червей. Я их обходил и перешагивал, а люди наступали прямо на них, устремив взгляды на хоругви, на небо, на солнце. И батюшка, возглашая: «Пресвятая Богородице, спаси нас», – тоже шёл по червям.

– Смотри, все идут по червякам, – зачем-то сказал я девочке, которой только что передал фонарь.

Но девочка не ответила. Даже не поглядев себе под ноги, она побежала вперёд, к голове крестного хода, чтобы сохранить в руках доставшуюся ей драгоценность. Для неё этот фонарь был нелёгкой ношей, но она, кажется, не чувствовала никакой тяжести. Тогда я ясно ощутил, что она – другая. Не уличная, не дворовая, а церковная девочка. И, кажется, впервые в жизни, я ощутил одиночество, ощутил себя лишним. Мне стало стыдно, что я пробовал полюбить вредного мальчика по совету священника. Я вспомнил о дедушке и захотел поскорее к нему.

ПРУДКА

1.

На главном пляже Прудки с утра до вечера игра. Прыгают и падают, взрывая песок, загорелые тела. Не смолкают хлопки по мячу, смех, победные крики, горячие споры об ауте. В тени большого дерева спасается от жары всегдашний посетитель главного пляжа – парень с избыточным весом. Он неотрывно смотрит на игру стройных людей и щедро угощает их холодным пивом в перерывах между партиями, благодаря чему может ощущать себя частью их компании.

А совсем рядом с главным пляжем – отделённое от него полосой травы безлюдное пятнышко песка. На покосившейся ржавой трубе, торчащей из земли, табличка: «Детский пляж». Правда, здесь давно не купаются дети, а только моются хозяйские собаки да смачивают кепки местные марафонцы – худые коричневые дедушки с седыми кудрями на груди.

К детскому пляжу примыкает крошечная пристань. По её серым, давно нехоженным доскам ползают пауки и ящерики. Около пристани позвякивают цепочками две облупленные лодки; давно не видели, чтобы на них кто-то плывал.

Прудка – мелкий и не очень чистый водоём. Однако отсюда не видно городских высоток и почти не слышно машин. Иногда сюда прилетают чайки; они шатаются над водой и кричат, слабо напоминая, что где-то на земле существует море.

Здесь, на детском пляже, в стороне от всех проводят свои летние дни Света и Денис. Для них Прудка – что-то совсем неотделимое от лета. Если Денис спрашивает Свету по телефону: «Когда пойдём?» – то не надо уточнять, куда. Разумеется, на Прудку.

К концу августа Прудка привычно отпадёт от их жизни. Начнётся холодное время, которое придётся всё чаще коротать в подъездах. А пока Света лежит и, еле сдерживая смех, смотрит в небо, где гуляет солнце, а Денис, закусив сигарету, засыпает её тело песком. Ноги и живот девушки уже скрылись под двускатным песчаным холмом. Денис подбирается к Светиной груди и щедро сыплет горячие горсти на красный лифчик купальника.

– Ты не ржи, весь песок щас ссыплется.

– Я не могу, Денис, меня на смех пробирает. Дай руки хоть вытащу, я покурить хочу.

– Куда! На, кури.

Денис вставляет ей в губы свою сигарету и сосредоточенно продолжает своё дело, нехитрое и приятное.

Подвижные дни на Прудке – в купаниях, в озорной беготне за Светой, без завтраков и обедов, на одних сигаретах и изредка бутылке пива – не оставили на теле Дениса ничего избыточного, ничего про запас. Всё только для сегодняшней жизни. Он сидит на корточках и под натянувшейся кожей бугрится на солнце ровный, как нитка жемчуга, ряд позвонков. Вмялся в одну короткую складку плоский живот. И грудь у него совсем плоская, с почти не видными, впалыми сосками.

Света задумчиво рассматривает своего парня, но потом вдруг замечает, что парень закопал её уже по шейку; это смешит её, и от смеха песок снова ссыпается струйками, обнажая её грудь.

– Э, э, хорош! – серьёзно останавливает её Денис, и она лежит затаённо.

Закончив дело, Денис для чего-то приминает вершину песочного хребта, создавая ровную прямоугольную площадку, затем рисует на этой площадке крест и тут уже сам не может удержаться от хохота.

– Светка, прикинь, ты в гробу!

Света взрывает песок фонтаном и вот, обиженная, уже стоит на ногах.

– Блин, Денис, ты дурак? На фиг вообще такие шутки?..

Страхивая с плавок песок, она заходит в воду. Денис подбегает сзади и обнимает её. Света даётся не сразу. Потом задумывается:

– А что на этих лодках никогда никто не катается? На фиг они тогда болтаются здесь?

– Я знаю?..

– Наверное, они только чтоб людей спасать?

– Ага, или трупиков вытаскивать, вот так, крючками... – И Денис подцепляет скрюченным пальцем Светин пупок.

Света опять вспыхивает и вырывается из его объятий.

– Ты дурак, Денис. Реально дурак! Мне бабушка говорила, что нельзя про это шутить, а то всё это будет. Мне даже теперь купаться страшно.

Светин страх Денис исправляет тем, что обхватывает девушку вокруг живота и силком тащит в воду. Она, пожалуй, значительно тяжелее его, но ему не впервой поднимать её и затаскивать в воду. Она визжит, стучит пятками по воде, но Денис лишь улыбается и спокойно влечёт её на глубину. Вот Света вся уже мокрая, и нет смысла визжать. Она стоит в воде, стягивая потуже хвост волос и показывая парню свои красивые подмышки. У Дениса во рту дымится окурочок. Денис говорит:

– Спорнём, я шчас весь нырну под воду, а потом вынырну, а сигарета не потухнет.

– Ага, как?

– Так.

Денис отворачивается к берегу, расставляет для нырка жилистые руки, и, пересчитав позвонки от шеи до копчика, Прудка поглощает его тело целиком. Он выныривает, подтягивает схлынувшие с бёдер шорты и через секунду поворачивается к Свете – с дымящейся сигаретой в зубах.

– Э-э-э!.. – сдавленно удивляется Света, по-мальчишески искривив рот. – Это ты как?

– Всё тебе скажи! – улыбается Денис и выплёвывает окурочек в воду.

После купания Света снова ложится на песок, а Денис берётся за новую придумку. У самой воды, где песок податливый и влажный, как глина, он вырывает ногой норку, точь-в-точь по форме ступни. Трудится довольно долго, прихлопывая сверху ладонью.

– Свет, иди ногу вставь в сапужок. Знаешь как прикольно!

Оказывается, всё это он делал для Светы.

– Опять напугаешь?

– Нет, я тебе зуб даю. Просто приятно, и всё.

Света встаёт, с осторожной улыбкой подходит к норке и бережно вставляет в неё ногу, но не той стороной, и норка тут же рушится. Денис сильно отталкивает девушку и в бешенстве затаптывает ногой свою работу.

– Блин, ты дура тупая, за фиг ты сразу свои лапы суёшь? Не разобралась, а уже лезет!

Света стоит несколько секунд застывшая, а потом энергично принимается собирать свои вещи.

– Э, Свет... Ты куда?..

– Никуда! Козёл, достал меня уже!

Денис нацепляет глупую улыбку, подходит к Свете и снова прибегаёт к сильным небрежным объятиям. Света дважды их отвергает, а на третий раз нехотя принимает, и её вещи снова падают на песок. Она говорит только:

– Ты какой-то неуравновешенный, Денис. Иногда нормальный, а иногда псих.

После этих слов Денис отходит к воде. Света видит его силуэт на искрящемся белом полотне Прудки. Он сидит на корточках и медленно, задумчиво водит ладонью по мелководью. Кажется, что вода и песок Прудки – это то, что он любит больше всего на свете; просто не все любят их так же, как Денис, вот он и бывает иногда таким несдержанным. Света сразу прощает его.

Неожиданно со стороны главного пляжа прилетает волейбольный мяч и несильно попадает Свете в плечо. Денис подбирает мяч, за которым уже бежит крепкий коротконогий парень лет двадцати. Парень выхватывает мяч из рук Дениса и убегает, не извинившись и не поблагодарив. Денис спокойно возвращается к воде. Света не расстроена, что Денис не высказал парню. Она знает, что Денис не трус и, если это действительно понадобится, покажет себя.

Тёплым вечером, идя по асфальтовой тропинке в сторону города, они говорят о том о сём.

– На фиг ты в этот одиннадцатый класс пошла?

– А на фиг я тогда десятый закончила, если в одиннадцатый щас не пойду?

– А я знаю? Я тебе говорил, пойдём вместе со мной в шарагу, ходили бы везде вместе.

– Мы и так ходим.

– Это летом. А осенью?

– Мне мама сказала, иди в десятый-одиннадцатый. Её ж фиг переспоришь. А ты-то куда собираешься после шараги – думал, нет?

– Куда, куда – в армию, куда...

– Косить не будешь?

– На фиг надо. В армии каждый мужик должен отслужить. Мне это батя с детства вдолбил. Там не побьют – потом всю жизнь будешь огребать.

Денис провожает Свету до подъезда, они быстро целуются и прощаются до завтра. На небе собирается дождь.

2.

Около часу ночи Света позвонила Денису на мобильный телефон. За окнами у обоих вспыхивали молнии, что-то давно уже не унимался ливень. Света плакала.

– Денис, они меня довели. И мама, и отчим. Я больше не могу здесь оставаться! Бесят меня уже. Хорошо там матюкаться, вы, пьянь!.. – с надрывом крикнула она в сторону и снова обратилась к Денису: – Что делать, Денис?

– Блин. Я не знаю, Свет. Заснуть никак не судьба?

– Да как тут заснёшь? Ты не представляешь, какой здесь ад!

– Выходи тогда на улицу.

Света сразу перестала плакать и спокойно шмыгнула носом.

– Как, прям в дождь?

– Да это ж ливень, он скоро пройдёт.

Они встретились на перекрёстке, напротив лесопарка, где обычно встречались днём, чтобы идти на Прудку. Впервые им предстояло гулять ночью вдвоём.

На Денисе был камуфляжный дождевой плащ. Он был мятый и оттопыривался, как бумажный, в разные стороны. Точно такой же Денис выдал Свете.

– Батины плащики, рыбацкие.

– Куда пойдём? – спросила Света, тоже надев плащ.

– Не знаю. На Прудку пойдём.

Взявшись за руки, они зашуршали плащами и вошли в тёмный лесопарк.

Уже на полдороге к Прудке они заметили, что лить перестало, только капало с веток. Звёзды замигали в трещинах асфальта. Быстро пропела и замолкла маленькая птица, обозначив конец ненастья. Ребята крепче сжали друг другу руки от красоты.

Они впервые увидели свой детский пляж ночью. Дежурный фонарь освещал зелёным светом место, где они лежали днём, а также кусок пристани и боковину одной из лодок на застывшей воде.

– Купаться будем? – спросил Денис, стягивая с себя плащ.

– Не-е-е, – задрожала Света, – в такую темень – ни за что!

– А что если... – Денис прошёл по скрипучей пристани и, закулив, присел на корточки. – ... что если отколотать вот эту вот... – Он деловито загремел цепочкой. – Вот эту вот лодочку...

– Ура, ура, ура... – тихонько запрыгала Света, шурша плащом и неслышно хлопая в ладоши.

– Тихо ты! – сквозь сигарету, уже с усилием проверяя цепочку на прочность, сказал Денис. – Ещё... хоп!.. ещё пока ничего не «ура»...

Света совсем не видела Дениса в темноте, только видела, как мельтешит в ночи уголёк его сигареты, и ей показалось, что последние слова произнёс из темноты совершенно взрослый человек – может быть, её муж. Почему-то ей сейчас совсем не хотелось курить.

Цепочка звякнула по-особенному.

– Всё! – Денис отряхнул руки и спокойно прибавил: – Сигай.

– Ура, ура, ура... – шептала Света, осторожно ступая на пристань и подавая руку Денису.

Они зашли в лодку. Лунные блики тут же задрожали на воде вокруг них, как спины золотых рыбок. Они сняли плащи и расстелили их по мокрому днищу. Давно им не было так необычно и хорошо.

Денис оттолкнулся ногой от пристани – и так и застыл с вытянутой в воздухе ногой, наслаждаясь первым ощущением настоящего плавания. Детский пляж под зелёным фонарём, покачиваясь, удалялся, а противоположный берег был съеден темнотой, и казалось, что лодка отправляется в бесконечную неизвестную даль.

– Денис, а ты когда-нибудь был на море? – раздался в темноте Светин голос – ребята почти не видели друг друга.

– Не-а, – помолчав, ответил Денис.

– А меня в детстве возили, но я уже не помню. Даже фотографий нет. А ты хочешь на море?

– Да так. Вообще, можно побывать...

Он увлечённо грёб ладонями, сидя на носу лодки. Он слишком дорожил тем, чего добился сегодня на Прудке, чтобы увлечься далёкими, хоть и прекрасными мечтами о море. Свету это совсем не огорчило, и, чтобы поддержать Дениса, она и сама заговорила о настоящем.

– Посмотри, как красиво! Тишина такая! И вода приятно как плещется. Звёзды, смотри, какие! А вон самолёт на посадку идёт, мигает. А в самолёте люди.

– Конечно, а кто ж ещё? Не сам же он летит.

– А ты летал на самолёте?

– Не-а.

– Я тоже. А ты хотел бы?

– Да так. Ну, можно.

– А тебе не страшно? Они же разбиваются. Мне – нет.

– Да чего бояться? Я ничего не боюсь.

– Вообще ничего? А смерти – что, тоже не боишься? – осторожно спросила Света.

– Да когда она ещё будет, смерть?

Ответ понравился Свете. Так понравился, что она сказала:

– Ну всё, хватит теперь грести. Мы, наверно, уже на середине. Давай ляжем и будем смотреть на звёзды?

Они так и сделали.

Света и Денис лежали неподвижно – её голова на его руке, и лодка колыхалась слабо-слабо. Денис тихо произнёс:

– Вроде, надо покрутить, а двигаться совсем неохота...

– Ну и не надо.

Они в одну секунду повернулись друг к другу и поцеловались.

А дальше всё происходило как будто помимо их воли. У каждого из них это было впервые.

Потом они обнялись и, не вымолвив ни слова, уснули. Через полчаса, не привыкнув спать в обнимку, они отвернулись друг от друга.

Пока они спали, ветер возил лодку от берега к берегу, как бумажный кораблик на нитке.

3.

Дениса толкнули в бок. Он открыл глаза, в глаза ударило солнце.

– Что, наплавались? Вываливайте отсюда! Нашли, вашу мать, место, где... – тут прозвучало грязное слово.

Света хоть и не до конца проснулась, тут же пугливо ощупала себя, запахнулась плащом и стала убирать за уши пряди волос. Лодка покачивалась у пристани, на которой стоял, возвышаясь, мужик в свитере на голое тело. Лицо было знакомое – он часто играл в волейбол и, видимо, присматривал за лодками.

Денис встал, перешагнув на пристань и быстро спрыгнул на берег, забыв помочь Свете. Вылезая из лодки, она потеряла равновесие, и ей, ругнувшись, подал руку мужик.

– Эй, орёл! Ты куда пошёл-то? Цепочку кто будет чинить – я?

Денис вернулся и стал чинить цепочку, подбивая её камешком.

Мужик оказался не таким уж плохим: он больше ничего не сказал, а ведь мог. Он проверил Денисову работу и ушёл. Уже подтянулись первые волейболисты. И грузный парень с пивом, как всегда, занял место под деревом. Совершили первый виток вокруг водоёма неутомимые пожилые марафонцы. Казалось, наступал обычный день на Прудке. Как вчера, как позавчера.

Света и Денис сидели одетые на песке. Денис возил по песку ладонями, бездумно создавая какой-то узор. Света забралась с коленями под кофту. Денис молча предложил ей сигарету – она медленно помотала головой и положила на колени подбородок, а потом уткнулась в колени всем лицом. Пряди волос попадали с затылка и некрасиво рассыпались по кофте. Денис обнял девушку одной рукой.

– Свет.

Она не отозвалась.

– Све-эт! Ты не слышишь меня, что ли? Ты чего боишься? Не бойся. Я ж с тобой, Свет. Это ж я сделал, не кто другой.

Девушка не шевелилась. Денис полохматил ей волосы.

– Свет, ну ты что, умерла там?

Света не отвечала ни словом, ни движением.

– Ладно. Ты как хочешь – я купаться.

Денис разделся и стал заходить в воду. Света подняла голову и увидела его привычный худой силуэт на фоне воды. Она вспомнила, как вчера этот человек нехорошо обошёлся с ней, когда она нечаянно сломала песчаную норку. Но сейчас он обернулся и просто, по-родному позвал её рукой.

Пока Света раздевалась, он всё глядел на неё. Ей было неловко, будто её тело изменилось за ночь не в лучшую сторону и Денис может это заметить. Скванно, даже виновато, ударяясь коленкой о коленку, она дошла до воды, кромку которой облепили сигаретные фильтры, и с неизвестной мольбой взглянула на своего парня.

– Иди ко мне, чего ты? – Денис повторил уверенный призыв рукой.

Света, сплетя руки на груди, недоверчиво подошла к нему. Она чувствовала себя такой некрасивой и ненужной, что в глазах её даже заблестела гордость: ну и ладно, ну и суди теперь сам, нужна я тебе такая или нет. Я, если что, долго плакать не собираюсь.

– Ну чего ты вся скукожилась, Светка? – улыбнулся Денис.

Он окатил её водой, и тогда она словно проснулась: отомстила ему ответным фонтаном и ловко, как мальчишка, нырнула в Прудку, показав небу спину и коричневые пятки. Денис нырнул вслед за ней.



Андрей
ТИМОФЕЕВ

ТРИ ПУТИ «НОВОГО РЕАЛИЗМА»

Введение

Пресловутый «новый реализм», заявивший о себе в начале 2000 годов, ругали много и, чаще всего, по делу. Ругали за нелепость названия, за амбиции, не подкреплённые реальными художественными произведениями, за поверхностность и незрелость. Однако молодой задор того «липкинского» молодняка, его дерзость, пафос борьбы с постмодернизмом и попытки утвердить что-то новое, своё в любом случае останутся в истории новейшего отечественного литпроцесса одной из ярких его страниц. По сути, это явление сформировало образ первого постсоветского поколения в литературе, с его характерными чертами, достоинствами и недостатками.

Так получилось, что девизом этого поколения стала запальчивая фраза Сергея Шаргунова: «Я повторяю заклинание: новый реализм!»¹. Пафос Шаргунова сразу же подхватили другие молодые писатели и критики. Жаждали и новой России, и новой литературы – и было в этом много наивности, свежего воодушевления, удивления и эйфории от собственного участия в огромном процессе. Они и не ставили вопроса, достойны ли этого участия или нет, не задумывались о глубине своих прозрений. *«Мы присутствуем при первом выступлении нового поко-*

-
- Андрей Николаевич Тимофеев родился в 1985 году. Окончил Литературный институт имени Горького. Участник II Всероссийского Некрасовского совещания молодых писателей. Ведёт авторскую рубрику «Дневник читателя» на сайте «Росписатель». Публиковался в журналах «Новый мир», «Наш современник», «Октябрь», «Подъём», «Роман-газета» и др. Победитель III Литературного форума «Золотой Витязь» в номинации «Дебют». Лауреат премии имени Гончарова (2013), премии «Во имя правды и справедливости» (2015). Живёт в Подмосковье.

¹ Шаргунов Сергей. Отрицание траура. «Новый мир», № 12, 2001.

ления писателей, идеологов, философов, властителей умов!» – торжественно утверждала Василина Орлова; «...именно молодые писатели и молодые критики, считаю, вселили в нашу литературу новые силы», – рассуждал Роман Сенчин; «...страничка в истории литературы обеспечена», – иронизировал Захар Прилепин. И действительно верили в своё новое слово.

Оправдались ли эти надежды? Во многом – нет. С одной стороны, просто не нашлось среди «новых реалистов» писателей первого ряда, способных оправдать своё поколение и выразить его чаяния и надежды в полноценной художественной форме. Но были и принципиальные причины своеобразного поражения проекта поколения 2000-х. И первая – это **настойчивая связь с постмодернизмом**. Провозгласившие разрыв с художественной вакханалией 90-х и даже формально «победившие» её, молодые писатели 2000-х взяли на вооружение многие художественные приёмы, а главное – мировоззрение победённых. Эту тенденцию, последовательно отмечаемую многими критиками², особенно отчётливо можно увидеть на примере творчества самого «кондового реалиста» этого поколения – Романа Сенчина.

Мировоззренческий релятивизм Сенчина, его нигилистическое сведение существования человека до мира предельно бытового и натуралистического есть не правда подлинного реалиста, а как раз маниакальное отрицание постмодерниста. Тенденциозность подобного нарочитого сгущения ничем не правдивее саркастического снижения у Владимира Сорокина или рассудочной метафоры Виктора Пелевина. Вторая причина поражения, отчасти связанная с первой, состоит в том, что, полноправно войдя в литературную тусовку, «новые реалисты» впитали царящую в ней **контекстность** – удручающее, обесценивающее качество, выражающееся в восприятии художественного текста исключительно как переплетения тех или иных тем, без ощущения прозы или поэзии как живого потока. Этот порочный взгляд «сквозь культурный контекст» был воспринят ими с потрясающей для изначальных установок лёгкостью.

Впрочем, прежде чем рассуждать о «новом реализме» более детально, необходимо заметить, что это явление никогда не было монолитным – образно говоря, «новый реализм» представлял собой не широкую дорогу, а скорее, развилку, из которой выходило несколько дорог. С некоторой долей условности можно было бы назвать эти дороги, например, либеральной, патриотической и почвеннической, однако это привело бы лишь к терминологическому усложнению, а ещё дало бы повод для ожесточённого оспаривания затёртых определений. И потому мы будем говорить не о трёх направлениях, а о трёх личностях, в каждой из которых в определённой степени воплотилась та или иная часть «нового реализма», – о Валерии Пустовой, Захаре Прилепине и Андрее Рудалёве.

Эти личности будут интересовать нас не только потому, что это наиболее талантливые представители своего поколения и даже

² К примеру, Алина Ганиева. И скучно, и грустно. «Новый мир», № 3, 2007.

не из-за их особенной знаковости (к знаковым фигурам можно отнести и Сергея Шаргунова, и Романа Сенчина). Главное – в них сконцентрировались и персонифицировались те важные явления, без которых поколение сегодняшних тридцати-сорокалетних не может быть понято и принято. Каждый из них – одновременно и грань общего, и путь, по которому пошла часть их сверстников.

1

Наиболее масштабный мировоззренческий проект того поколения был сформулирован молодым критиком Валерией Пустовой в её дебютной статье под названием «Манифест новой жизни»³ – и это был не просто манифест художественного направления, а попытка создания мифа о грядущем русском возрождении.

Искренне следуя за обронёнными словами Освальда Шпенглера о том, что в 2000-х годах произойдёт *«рождение молодой русской души»*, Валерия Пустовая сравнивала американско-европейский мир – цивилизацию на пороге старости: *«морщины, ломкая кость, мёртвая душа, запах тлена от интеллекта-скальпеля, города-морга, науки-скелета, денег-убийцы... бессилие, безбудущность, религиозная беззубость»* – и будущую юную Россию, рождение которой предсказывал Шпенглер: *«большие, хватывающие в себя мир глаза, тонкая, боящаяся и алчущая ветра кожа, сила молодецкая, палица-игрушка, горячая кровь...»* Символом рождения «русской души» для Пустовой стал молодой прозаик Сергей Шаргунов с его повестью «Ура!» и с призывом *«вернуть всему на свете соль, кровь, силу»*⁴. Именно с этой сверхзадачей связывала Пустовая перспективы возникающего направления в литературе. *«Молодая культура начинается с религии и «крови» – т.е. с пробуждения её духовных и физических сил, ещё не тронутых разлагающим анализом и болезненной утончённостью цивилизации...»* – писала она. – *Шаргунов, новая русская кровь, уже чувствует в себе новую русскую душу...»*

Конечно, всё это было преувеличением, и не стал Сергей Шаргунов в итоге *«молодой русской душой»* в понимании Шпенглера. Вершина его творчества на сегодняшний день – роман «1993» – хоть и удача молодого автора, но никак не выдающееся произведение своего времени. То, что все приняли за свежую струю, оказалось даже не позой, как считал старый Волк-редактор, с которым спорила в своей статье Пустовая⁵, – скорее криком, захлебнувшимся от недостатка живого таланта. Но само ожидание русского возрождения на многие годы стало визитной карточкой поколения 2000-х, а автор «Манифеста новой жизни» сделалась с тех пор одним из его признанных лидеров и теоретиков.

А теоретик был направлению жизненно необходим, потому что после первой же запальчивой демонстрации себя «новому реализму»

³ Пустовая Валерия. Манифест новой жизни. «Пролог», 2004 г.

⁴ Шаргунов Сергей. Свежая кровь. «Ex libris-НГ» 03.04.2003.

⁵ Пустовая Валерия. Манифест новой жизни. «Пролог», 2004 г.

пришлось отвечать на острые вопросы критиков, а главный из них: чем же их реализм отличается от реализма «старого» – например, от реализма Флобера и Мопассана, от реализма Достоевского и Толстого? Неужели действительно родилось что-то принципиально новое?

Понимая серьёзность данного вопроса и пытаюсь найти на него достойный ответ, Пустовая пишет в 2005 году статью «Пораженцы и преображенцы»⁶, где со страстной решительностью старается показать разницу между эстетиками реализма «бытового» и реализма «нового»: *«метод одной – зрение, метод другой – прозрение. Одной руководит видимость, другой – сущность»* – и призывает своих сверстников-писателей двигаться от первого ко второму. Попытка эта не оказалась, по большому счёту, удачной. Во-первых, то, что Пустовая называла «бытовым» реализмом, так и осталось связанным именно с её сверстниками, многие из которых как раз утверждали торжество факта, голой реальности, вопреки постмодернистским играм (именно своей фактологичностью, установкой на «правду» и привлекали, например, чеченские повести и рассказы Карасёва и Гуцко); а во-вторых, характеристики «нового» по Пустовой – «прозрение» и умение видеть «сущность» происходящего – были как раз свойственны для подлинных вершин традиционного реализма прошлых веков, и в этом смысле максимум, что могли сделать современники Пустовой, – вернуться к традиции «старого» реализма, пытаясь развивать её по мере сил. Но Пустовая не могла провозгласить возврата к старому, ей непременно нужно было утвердить новое, пусть даже его и не было в природе. Интересной видится её попытка объявить в той же статье отличительной особенностью «нового реализма» – *«включение человеческой воли в факторы реальности»*, впрочем, это, скорее, разоблачает молодой волюнтаризм критика, чем характеризует разбираемых ею прозаиков.

Волюнтаризм и произвольность провозглашаемых идей, пожалуй, стали главной причиной несостоятельности того мировоззренческого проекта Валерии Пустовой. Сергею Шаргунову и другим молодым авторам лишь привиделось, что они несут какое-то новое слово: вульгарно понятый Шпенглер и молодой задор сыграли с ними злую шутку, привели их к явному примату собственной воли и фантазии над бытием. Это и естественно, потому что волюнтаризм всегда ведёт к произвольности, он не в силах ощутить биение времени, движение настоящей судьбы и настоящей истории. Русское возрождение, пробуждение духовных и физических сил молодой культуры – всё это было важно и правильно, но что скрывалось за этим? Какие конкретные силы должны были быть разбужены? И в чём, собственно, состояло бы русское возрождение? Ответов на эти вопросы не было у теоретиков «нового реализма». И тогда постепенно жажда новой России трансформировалась в жажду нового вообще, в специфическую открытость, принятие любой идеи лишь за её новизну.

⁶ Пустовая Валерия. Пораженцы и преображенцы. «Октябрь», № 5, 2005.

В 2011 году выходит статья Валерии Пустовой «В четвёртом Риме верят облакам»⁷, где она, в частности, провозглашает «конец зона» как неизбежность, всерьёз призывает «Россию без истории», соглашаясь «преодолевать глубинные социокультурные основания российской цивилизации, менять её парадигму»⁸. С удивительной беззаботностью цитирует она «пророка» «конца эпохи русской литературы» В. Мартынова⁹; всерьёз говорит о Быковской интерпретации «Метели» Сорокина как о тексте, завершающем эпоху русского мира; соглашается с нашумевшим тогда письмом трёх докторов наук – Ю. Афанасьева, А. Давыдова, А. Пелипенко – о необходимости коренным образом менять культурный код страны и заканчивает бодрим призывом «основать новую страну». Проект русского возрождения оборачивается в итоге легкомысленным предложением броситься в бездну, отринув историческую память, и двигаться в слепоте, якобы потому что крушение всё равно неизбежно и противостоять ему означает «глухоту к промыслительной силе» истории.

Определённо, такая позиция является не просто единственным заблуждением критика, а выражением мировоззрения части её современников. Эта часть нового поколения внутренне живёт категориями постмодерна (не замечая этого и даже «борясь» с ним). У них нет почвы под ногами, они беззаботно-восприимчивы к любым отвлечённым концепциям вроде «конца эпохи русской литературы». Они заклинают «день, не обозреваемый художественной традицией» (не зная, что никакая эпоха напрямую не следует из традиции, однако всегда сохраняет неразрывную внутреннюю связь с прошлым). А раз нет традиции, нет и камертона, прислушавшись к которому можно различить фальшь. Пользуясь терминологией И. Роднянской (вступившей в полемику с Пустовой по поводу концовки статьи «В четвёртом Риме верят облакам»), грядущее новое время воспринимается ими не как «промыслительное чудо, ожидаемое, но не-ведомое», а сквозь призму «за-ведомой» установки на «радикальную «новизну»¹⁰.

Эта дорога ведёт поколение нынешних тридцати-сорокалетних в никуда, и мне кажется особенно важным, что Валерия Пустовая возвращается к своему проекту ещё раз, уже в 2014 году, в эссе «Великая лёгкость»¹¹, и теперь голос её звучит уже не бодро, а трагично. «Дверка в будущее захлопнулась, – признаёт она – ... мы-то – литераторы, даже новые и частью молодые, – есть, а времени нашего нет». А главное: «...обнажилось, что реальность, всё дальше уходящая от литературных о ней представлений, не ухватывается словами, и возрождение – точнее, полное, до неузнаваемости обновление жизни – подспудно, коряво, как по мурованному руслу, но всё-таки протекает – мимо писателей». Протекает жизнь мимо, на мой

⁷ Пустовая Валерия. В четвёртом Риме верят облакам. «Знамя», № 6, 2011.

⁸ Афанасьев Ю., Давыдов А., Пелипенко А. Вперёд нельзя назад. «Континент», № 141, 2009. (<http://magazines.russ.ru/cont>)

⁹ Мартынов Владимир. Пёстрые прутья Иакова. М.: Издательство МГИУ, 2008.

¹⁰ Роднянская Ирина. Об очевидных концах и непредвиденных началах. «Знамя», № 8, 2011.

¹¹ Пустовая Валерия. Великая лёгкость. «Октябрь», № 10, 2014.

взгляд, потому что не имеет ничего общего с волюнтаристским конструированием себя и разрывом с традицией русской культуры.

Эта исповедь задевает за живое даже постороннего читателя, потому что мироощущение написавшего её автора выстрадано, а заблуждение оплачено сполна. Конечно, захлопнулась не дверь в будущее, а дверь в воображаемый мир, в конструкт, созданную собственной волей «реальность», которой никогда не было, но этот воображаемый мир был так дорог, что от его крушения горько и грустно. Хватит ли сил у той части «нового реализма», которую представляет Валерия Пустовая, признать, что провозгласить «эпоху лёгкого сердца», т. е. время полной открытости к любым веяниям, значит признать своеобразную духовную оккупацию твоей исконной родной земли метафизическим врагом и призывать инфантильно жить так, как получается, а значит, встать на другую сторону в борьбе добра и зла. Хватит ли сил победить новую Кысь, стремящуюся перегрызть жилочку их поколения?¹²

Валерия Пустовая – человек ищущий. Это не тот критик, который страстно провозглашает истину, а тот, который отчаянно ищет её, бежит, ошибается, падает, признаёт свои ошибки и стремится вперёд. Сможет ли она подняться и повести за собой своих сверстников – покажет только время. Пока же мы можем признать, что эта дорога «нового реализма» привела нас в тупик, а сам мировоззренческий проект поколения потерпел поражение. Состоялся умный критик, тонко чувствующий литературу, но не отдавший себя целиком своему проекту, а скорее, выросший на нём, приобретя на его разработке необходимые опыт и мастерство – в некотором смысле «выжавший» свой проект ради собственного развития.

Личность состоялась, проект – нет.

Что же мы найдём у других представителей «нового реализма»? Куда приведут нас они?

2

Но не все представители молодого поколения разделяли установку на разрыв с традицией, принципиальную новизну и отвлечённость мировоззренческих концепций. Среди представителей «нового реализма» были и те, кого сложно было обвинить в оторванности от настоящей жизни – напротив, чаще всего эти авторы писали не только прозу, но и злую публицистику, стремились в актуальную политику и вообще предпочитали решительные действия всякого рода размышлениям. В их понимании «новый реализм» оказывался направлением не столько литературным и мировоззренческим, сколько прямолинейно-политическим. Так, например, самый яркий представитель этой части молодого поколения Захар Прилепин в своей обзорной статье о «новом реализме»¹³ особенно настаивает на том, что ключе-

¹² Пустовая Валерия. Манифест новой жизни. «Пролог», 2004 г.

¹³ Прилепин Захар. Клинический реализм в поисках самоидентификации. В кн. Книгочёт: пособие по новейшей литературе с лирическими и саркастическими отступлениями. М.: Астрель, 2012.

вых представителей этого направления (Шаргунова, Гуцко, Елизарова, Данилова и собственно Прилепина) объединяла вовсе не художественная позиция, а оппозиционное отношение к власти и *«антилиберальный настрой, где под либерализмом понимаются бесконечные политические, эстетические и даже этические двойные стандарты, литературное сектантство, профанация и маргинализация базовых национальных понятий, прямая или опосредованная легализация ростовщичества и стяжательства»*. Подчас такие авторы характеризовались даже не столько своими текстами, сколько вызывающим поведением: *«весёлой агрессией, бурным социальным ребячеством, привычкой вписаться в любую литературную, а часто и политическую драку, и вообще, желанием навязчиво присутствовать, время от времени произносить лозунги...»*¹⁴

Почти все они вышли из того же Форума молодых писателей в Липках, и это обеспечило им уникальное начальное расположение между двумя враждующими литературными лагерями. Они стали одновременно печататься в «Новом мире», «Знамени», «Октябре» и в «Нашем современнике» и получили таким образом достаточно широкую известность, которую уже невозможно было отменить, даже когда после нашумевшего «Письма Сталину» политическая позиция самого Прилепина стала однозначной и либеральные издания потеряли к нему интерес. Постепенно сам Прилепин и его соратники утвердились в качестве «патриотов», потому что действительно придерживались консервативной общественной позиции (хотя не перестали печататься в «Новом мире» и в «Знамени», как те же Шаргунов или Гуцко).

Однако отношение самого патриотического лагеря к «новому реализму» оставалось противоречивым. Одни (например, газета «День литературы») утверждали, что представители молодого поколения разделяют «наши» политические убеждения, презирают враждебный нам постмодернизм и либерализм и потому являются достойной сменой. Вторые (например, «Российский писатель») чувствовали инородность, даже враждебность прозы молодых традиции русской литературы, не ощущали родства внутреннего содержания, несмотря на близость политической позиции, и потому отказывались признать прозу Прилепина, Шаргунова и других за литературу вообще. Впрочем, те и не нуждались в чьём-либо признании, у них постепенно стали появляться собственные информационные ресурсы (в первую очередь, конечно, – «Свободная пресса»), зачастую превосходящие традиционные «патриотические» издания по тиражу и известности. И Захар Прилепин мог теперь с лёгкостью сказать: *«Меня уже не может никто принимать или не принимать в русские писатели. Я сам могу принимать. У меня есть «Свободная пресса»... Это я управляю ситуацией, а не ситуация управляет мной»*¹⁵.

В своей борьбе – в том виде, в каком они сами понимали её – они действительно победили. Во-первых, **победили в политическом кон-**

¹⁴ Там же.

¹⁵ Прилепин Захар. Вести себя по-есенински, по-русски. Выступление на десятых «Кожинских чтениях». «Подъём», № 4, 2014.

тексте: ненавистный ими либерализм был растоптан и превратился в маргинальное политическое направление, что стало особенно явным после Крымских событий 2014 года.

Во-вторых, победили в литературном процессе: произведения «новых реалистов» действительно вытеснили постмодернистов с книжных полок и из премиальных списков. Справедливости ради отметим, что нашим героям в каком-то смысле повезло: торжество постмодернизма 90-х годов было связано с крушением страны и общим хаосом, но невозможно долго упиваться литературной игрой, и возвращение интереса к реализму было неизбежно во время «стабильности» «нулевых» – «новые реалисты» просто сделали возвращение эффективным, создали себе на этом имена.

Впрочем, в любом случае победа эта произошла исключительно в информационном поле. Ведь отечественный постмодернизм никогда не находился в плоскости художественной прозы, и потому его крушение осталось фактом истории моды, но не истории литературы. Более того, принадлежность самих «новых реалистов» к истории литературы крайне спорна. Их стремление к лозунгам и страстным «наэлектризованным» текстам, с одной стороны, позволило им сильнее влиять на аудиторию, транслировать и утверждать свои убеждения; а с другой – привело к постоянному стремлению упростить проблемы, низвести их до простейшего «да – нет», «мы или они», характерного для целенаправленной информационной войны и не имеющего ничего общего с углублением в суть явлений.

Особенно явно это проявляется в публицистике Прилепина (например, в статьях «Две расы», «Почему я не либерал», «Сортировка и отбраковка интеллигенции»¹⁶ и т. д.), для которой свойственно категорическое нежелание спорить с чужой позицией на серьёзном уровне, а вместо этого – стремление найти какие-нибудь нелепые, в интеллектуальном смысле маргинальные цитаты и, набросившись на них, разорвать соперника в клочья¹⁷. Такой подход не мог не повлиять и на художественное творчество: невозможно в публицистике делить всё на чёрное и белое, а в прозе вдруг включать цветное зрение, как невозможно в жизни ориентироваться на внешний эффект, на бузу и в то же время жить напряжённой внутренней жизнью – стратегия поведения писателя неотделима от его творчества и во многом формирует художественный текст.

Специфическая страстность и стремление к борьбе привели «новых реалистов» к брутальности, агрессивности, ориентации на собственную самость. Характерной деталью стали появляющиеся едва ли не в каждом их произведении вспышки неконтролируемой жестокости, когда в более-менее адекватную ткань текста, как камень в воду, вдруг падает сцена избиения или насилия (у Захара Прилепина – в рассказах «Витёк», «Какой случится день недели», в пове-

¹⁶ Всё из книги Захара Прилепина «Летучие бурлаки» (М.: Издательство АСТ, 2014).

¹⁷ Справедливости ради нужно отметить, что цитаты эти принадлежат таким медийным фигурам, как, например, Татьяна Толстая, и потому Прилепин спорит здесь, скорее, не с их позицией, а с тем, что при всей маргинальности своей позиции они по-прежнему остаются медийными фигурами.

стях «Допрос», «Восьмёрка», в романе «Чёрная обезьяна»; у Дениса Гуцко – в повести «Покемонов день»; у Михаила Елизарова – в рассказе «Госпиталь»; у младшего товарища и ближайшего продолжателя традиций «нового реализма» Платона Беседина – в «Книге греха» и в «Воскрешении мумий» и т. д.).

Кроме того, стремление во что бы то ни стало утвердить собственную позицию привело «новых реалистов» к принципиальной монологичности их текстов и непониманию другого человека и другой позиции вообще. Особенно ясно это становится на примере одного из самых ярких произведений Захара Прилепина – повести «Санька». Её герой – молодой парень, искренне любящий свою Родину и готовый умирать и убивать за неё, своеобразный антропологический идеал этой ветви «нового реализма», выражение характерных качеств и устремлений своего поколения. Его искренность и молодая бескомпромиссность глубоко симпатичны и вызывают сострадание, однако проблема заключается в том, что ни автор, ни многочисленные его последователи так и не посмотрели на Саньку внимательным, мудрым взглядом. Жестокая правда Саши Тишина – всё, что они могли предложить нам, как будто на свете существует лишь две альтернативы: бунт, организованный «Союзом созидателей», или признание гибели всего русского и необходимости «просто доживать», выраженное в откровенно слабых рассуждениях Безлетова.

Спор Саньки с Безлетовым – ключевой момент монологизма и публицистического утверждения своей правды в художественном творчестве «новых реалистов». *«Вы не имеете никакого отношения к Родине. А Родина к вам»*, – должен был сказать Саньке Безлетов и остановиться, и тому нечего было бы возразить. Но, ведомый уже известным нам по публицистике Прилепина авторским желанием маргинализировать чужую позицию, Безлетов добавляет провокационное: *«И Родины уже нет. Всё, рассосалась!»* – и сразу же становится лёгкой мишенью и для положительных героев повести, и для критиков, принявших его рассуждения за полноценную «другую правду», с которой якобы спорит автор.

И, наконец, самое главное – акцент на внешнее, на победу исключал у этой части «нового реализма» способность к напряжённому поиску истины и вместо стремления к **нравственной целостности**, всегда отличавшей русскую литературу, вёл их к **целостности политической позиции**. Да и нужна ли была им полная и многогранная Истина? Они хотели, скорее, утверждения своей сиюминутной Правды, а для этого важнее было – взорвать болото, углубиться в ряды врага, посеять там хаос и панику, спровоцировать и т. д.

Эта часть нового поколения была так поглощена борьбой, что не сформировала собственного полноценного исторического и мировоззренческого проекта. Пожалуй, наиболее близкой им по духу оказалась «Пятая империя» Александра Проханова с её прямолинейным и мощным исповедованием своей политической позиции при полной «нравственной всеядности», в которой легко соединяются слова о православии с «евангелием Фёдорова» или иконой Сталина; так же провозглашённой с помощью простых и хлёстких лозунгов; так же

ориентированной на заражение своими идеями широких масс людей и последующее управление ими.

Под обаянием этого мощного проекта, а также молодой бескомпромиссности Саши Тишина и сильной личности самого Прилепина до сих пор находится множество искренних и талантливых молодых ребят: писателей, критиков и публицистов. Они по-прежнему считают себя призванными бороться и победить; по-прежнему желают отринуть личное ради общественного (не понимая, что в литературе отвержение личного подобно смерти и ведёт лишь к плакатному патриотизму); по-прежнему не желают заниматься глубоким личным самопознанием и самосовершенствованием. Но это торжество героизма вместо подвижничества¹⁸, гордости вместо милосердия, политического лозунга вместо внутреннего нравственного содержания, к сожалению, не приведёт их ни к русской литературе, ни к русской общественной мысли.

Сам Захар Прилепин – автор изначально очень талантливый, обладающий вкусом к прозе. Но его художественные удачи – рассказы «Грех», «Лес», «Бабушка, осы и арбуз», «Жилка», отдельные главы романа «Санька» – так и остались отдельными удачами: полноценного же мировоззренческого и художественного мира он создать не смог. Прилепин не перерос свой проект, как Пустовая, скорее, наоборот: он пожертвовал собственным талантом и собственной прозой ради победы проекта, пренебрёг личной способностью быть тонким, чтобы стать таким же резким и прямолинейным, как те простые истины, которые он желал отстоять. Наверно, это и есть цена за сиюминутную победу. Как знать, возможно, Захар Прилепин даже осознанно заплатил такую цену, и тогда это печально, но и достойно уважения.

Однако в любом случае эта часть «нового реализма» в глобальном смысле зашла в тупик и не может предложить нам путь, по которому мы могли бы двигаться вперёд. Они расчистили авгиевы конюшни 90-х, но что делать на освободившемся пространстве, не знали.

А есть ли всё-таки те, кто знает?

Кто, несмотря ни на что, способен предложить нам позитивный мировоззренческий проект?

3

Форум молодых писателей в Липках, через который прошло большинство «новых реалистов», с одной стороны, оказал им огромную поддержку, обеспечил интерес толстых журналов и быстрое признание; а с другой стороны – внушил ощущение своего полноценного участия в литпроцессе при минимуме затраченных сил и почти полном отсутствии этапа ученичества, когда автор не только осваивает мастерство, но и познаёт историю литературы, философии и общественной мысли своей страны. Иначе говоря, «новые реалисты» были лишены фундамента, на котором могли бы строить своё. И потому им жизненно необходим был не только теоретик, способный отве-

¹⁸ В терминологии известной статьи С. Булгакова «Героизм и подвижничество».

чать на текущие вызовы критики, и не только вдохновитель, утверждающий их убеждения во внешнем мире, но и мудрый проводник, который, подобно горьковскому Данко, смог бы вести своё поколение сквозь преграды и искушения, не позволяя свалиться в отвлечённые тенденции или в приземлённые лозунги¹⁹. И в середине 2000-х казалось, такой критик у «нового реализма» появился – им стал Андрей Рудалёв, начавший свой творческий путь с сумасшедших по энергетике и очень серьёзных по содержанию статей: «Суровая мистика сапога», «Обретение нового», «Письмена нового века», «Новая критика распрямила плечи» и «В поисках нового позитива».

Именно в этих статьях Андрей Рудалёв с точностью поставил диагнозы большинству болезней, которые были свойственны его поколению.

Во-первых, он первым заговорил о **неоправданном волюнтаризме** Сергея Шаргунова в повести «Ура!»: *«бесконечно лелеемое «хочу» уже не довольствуется частной ролью средства индивидуального самовыражения, оно претендует на признание себя в качестве нормы»*²⁰, а также о том, что этот показательный волюнтаризм по сути является следствием глубокого **внутреннего инфантилизма**.

Во-вторых, Рудалёв вскрыл **мировоззренческое родство «нового реализма» с якобы враждебным ему постмодернизмом 90-х**: *«новый реализм» обрисовывает вакуум, пустоту – особую виртуальность, которой делаются попытки придать эстетический и этический характер»*²¹ (а ведь специфическая виртуальность – это и есть постмодернистское восприятие мира). Более того, он показал, что именно такие авторы, как Шаргунов и Сенчин, не только не являются борцами против нравственного релятивизма, но и сами насаждают его: *«Молодой человек – плоть от плоти того мира, того общества, в котором он пребывает и которое он старательно, со знанием дела ненавидит. Растлевающая зараза уже давно, практически с рождения дымом проникла в него, он сам – источник этой заразы»* (о Шаргунове); *«...он становится по ту сторону какого-либо нравственного императива и с восторгом провозглашает сакраментальное «обылелся народец»*²² (о Сенчине).

В-третьих, Рудалёв последовательно отмечал ориентацию «нового реализма» на **агрессивность и утверждение собственной самости**: *«Ни слова о свободе, вместо неё обозначение границ, рамок, гимн силе и её естественной самореализации – насилию»*²³ (о Шаргунове); *«В ситуации внутреннего духовного одиночества человек пытается реализоваться как сильная, волевая, протестная личность, через активную общественную деятельность подойти к осознанию*

¹⁹ Какими были, например, для поколений 60-х–80-х годов Вадим Кожин, Михаил Лобанов и Юрий Селезнёв.

²⁰ Рудалёв Андрей. Суровая мистика сапога. «Континент», № 124, 2005.

²¹ Рудалёв Андрей. В поисках нового позитива. «Урал», № 2, 2007.

²² Справедливости ради уточним, что здесь Рудалёв говорит именно об образе рассказчика, впрочем, его образ в данном рассказе Сенчина, как и во многих других его произведениях, близок образу автора.

²³ Рудалёв Андрей. Суровая мистика сапога. «Континент», № 124, 2005.

*своей самости»*²⁴ (о нескольких прозаиках, в том числе о Захаре Прилепине).

И наконец, в-четвёртых, яростно критиковал **индивидуализм новой литературы**: «...наша литература, аутичная, самозамкнутая, амбициозная, плотоядная, где зачастую персонифицируется лишь я-голос писателя, всё остальное лишь декорации, которые нужны лишь до времени»²⁵.

Но Рудалёв не только критиковал современных авторов, он пытался осмыслить принципиально важные вопросы художественного творчества.

В статье «В поисках нового позитива» он рассуждал о том, каким образом **определить ценность художественного произведения**, и с решительностью отметил очевидные критерии: «великолепный язык, стиль изложения, яркие и неповторимые персонажи, напряжённая коллизия, захватывающий сюжет». Эта статья – фундамент третьего пути «нового реализма», его подлинный манифест, в ней Рудалёв, первый и единственный в своём поколении, провозгласил: «Сила слова – в том громадном идейно-нравственном заряде, который оно несёт, и в этом плане слово – аксиологическая категория. Вся красота, эстетическая сторона слова изнутри подсвечивается его нравственным, духовным, сакральным смыслом. И в этом значении красота, как и в православной традиции, есть внешнее выражение внутренней чистоты. Нужно вернуть слову первоначальный смысл или хотя бы попытаться приблизиться к этому – таков может быть один из основных тезисов современности».

Третий путь «нового реализма» неразрывно был связан с **религиозным взглядом на жизнь и на творчество** и в этом смысле параллелен магистральной дороге русской традиционной литературы. Однако, в отличие от многих нарочито «православных» критиков, Андрей Рудалёв не смешивал христианство и художественное творчество, а пытался найти адекватную терминологию, чтобы, с одной стороны, выразить глубокую религиозность русской литературы, а с другой стороны – не начать «говорить о грехе там, где надо говорить об ужасе, или о святости там, где надо говорить о красоте»²⁶. Для этого он вводил термин «**инстинкт веры**», который есть: «некая константа, проявляющаяся в творчестве любого талантливого писателя, по крайней мере, на отечественной почве, при условии предельной искренности его в своих писаниях... Тысячелетняя истина Православия прорастает в творчестве гения, придавая его творениям особую многомерность, которая близка к откровению...» Именно наличие «инстинкта веры», по Рудалёву, отличало подлинного русского писателя от многочисленных подражателей, а подлинную литературу – от искусных подделок.

Естественным для такого взгляда становился и призыв к современным писателям следовать за Обломовым с его «**оплодотворяю-**

²⁴ Рудалёв Андрей. В поисках нового позитива. «Урал», № 2, 2007.

²⁵ Рудалёв Андрей. В поисках нового позитива. «Урал», № 2, 2007.

²⁶ Митрополит Антоний Сурожский. Духовная жизнь. Духовное наследие, 2013.

щей любовью»: «нужно не только изобразить, выявить, раскрыть, проанализировать, но и полюбить человека, какой он есть, со всеми струпами, копошащимися на поверхности паразитами...»²⁷

И наконец, в статье «В поисках нового позитива» Рудалёв пытался осмыслить **постсоветский исторический период**, в котором живёт его поколение, и говорил о возможности нового духовного ренессанса и о том, что необходимо: *«вернуться к традиционному литургико-симфоническому типу культуры, к осознанию человеком своей действительной ценности»*. И далее о том, что для этого должна делать литература: *«...следует отойти от верхоглядства, исследования только лишь одной эмпирии – к осознанию, прочувствованию важнейших жизненных ценностей. К осознанию и глубокому восприятию духовно-нравственной традиции»*. Это и есть сверхзадача поколения, третий путь «нового реализма», к которому призывал Андрей Рудалёв.

Всё это, может быть, не представляло собой чего-то принципиально нового (в русской литературе и критике это уже было сказано и до Рудалёва), но само исповедование традиционного взгляда на жизнь и творчество в купе с желанием смотреть на современную литературу именно этим взглядом давало надежду на появление по-настоящему сильного и серьёзного критика, переросшего игру в литературу, которой, по большому счёту, занимался тот «липкинский» молодняк, и способного вести за собой своё поколение по пути наиболее полного развития.

Андрею Рудалёву оставалось самое важное: построить позитивную историю современной литературы и найти тех сверстников, которые обладают, по его мнению, «инстинктом веры» – это означало бы торжество и личности критика, и его проекта. И Рудалёв честно пытался решать эту задачу. Неслучайно, в отличие от большинства молодых критиков, он не поднимал на щит знаковых «новых реалистов», вроде Сергея Шаргунова и Романа Сенчина, а искал ростки подлинного в творчестве Ирины Мамаевой, Дмитрия Новикова, Александра Карасёва, Дмитрия Орехова и Захара Прилепина.

Ирина Мамаева и Дмитрий Новиков, на мой взгляд, авторы, находившиеся ближе других «новых реалистов» к классической русской литературе. Они наследовали последнему на текущий момент, по-настоящему мощному её явлению – «деревенской прозе», и наследование это выражалось вовсе не в сходности тематики, а в стремлении проникнуть в глубь человека, найти нравственный идеал (что было, по сути, сверхзадачей «деревенской прозы», предопределившей её художественную силу и влияние на литературный процесс своего времени). Неслучайно Ирина Мамаева начинала свой творческий путь с повести «Ленкина свадьба», где, пусть несколько упрощённо, но предьявила свой идеал – главную героиню Ленку – пример душевной чистоты и естественности.

²⁷ Рудалёв Андрей. Суровая мистика сапога. «Континент», № 124, 2005.

К сожалению, Мамаева и Новиков так и остались на периферии литературного процесса, о них говорили гораздо меньше, чем они того заслуживали. Они не сформировали единого мощного направления – их заслонили отвлечённые концепции и политическая борьба, но, пожалуй, именно эти авторы останутся в истории подлинной художественной литературы представлять первое постсоветское поколение. Наверно, если следовать внутренней логике развития своего проекта, именно о них и должен был писать дальше Андрей Рудалёв, но, к сожалению, что-то пошло не так.

Беда подстерегла критика, когда он, казалось, находился в шаге от своей мировоззренческой победы. Дело в том, что пока Рудалёв справедливо констатировал лишь зарождение подлинного, пока отмечал, что *«новое литературное поколение пытается разобраться, оценить, оно ещё не верит, но уже хочет уверовать, найти нравственную опору, стоящую вне его бережно лелеемой самости»* (и каждый раз оговаривался: *«автор ещё в пути»*, у него *«есть свои плюсы, но до поры, потом они обращаются в минусы»*²⁸ и т. д.), он находился ещё на той тонкой грани желаемого и действительного, где они на самом деле пересекались. Только оставаясь на этой грани, и никак иначе, можно было двигаться к Истине. Но стоило Рудалёву слишком сильно захотеть найти полноценного выразителя своих идеалов в новой литературе, захотеть обнаружить там не ростки подлинного, а целое дерево, он потерпел сокрушительное поражение – потому что того, кто действительно в полной мере являлся бы носителем духовно-нравственного мировоззрения в его поколении, к сожалению, не было, а попытка придумать и утвердить его собственным волевым усилием была обречена на провал²⁹.

Именно в статьях «Поедая собственную душу» и «Пустынножители», где Рудалёв принялся искать полноценный нравственный идеал в повести Захара Прилепина «Санька», происходит, по сути, сворачивание третьего пути «нового реализма» куда-то в сторону второго. Подобно многим другим последователям Прилепина, Андрей Рудалёв пленяется живостью и искренностью характера Саши Тишина и не может понять, что живость и искренность эти связаны, прежде всего, с молодостью героя; не заметил нарочитости спора с Безлетовым, не претендующего на столкновение двух «правд»; не возмутился ни внутренним согласием Тишина на убийство судьбы, ни погромом Макдональдса, ни захватом здания городской администрации.

*«Жизнь героев Прилепина отнюдь не лежит в эмпирической плоскости, они с завидной регулярностью покушаются на мир трансцендентный, поднимают онтологические вопросы»*³⁰, – утверждает Рудалёв, не понимая, что сказать что-то отвлечённое не значит

²⁸ Как, например, в статье об Александре Карасёве. Рудалёв Андрей. Обретение нового. В кн. Новая русская критика. Нулевые годы. М.: Олимп, 2009.

²⁹ Как и похожая попытка Валерии Пустовой сделать из Сергея Шаргунова «новую русскую душу».

³⁰ Рудалёв Андрей. Поедая собственную душу. «Континент», № 139, 2009.

«поднять онтологический вопрос»³¹. Некритичен к автору Рудалёв и в разборе сцены захвата здания администрации: Саша Тишин берёт крестик в рот, и критик сразу же объявляет нам: *«в этот момент жизнь главного героя стала наполняться смыслом, изничтожая крошечную внутреннюю пустоту»*, даже не пытаясь оценить, оправдан ли этот жест, нет ли в нём авторской нарочитости. Молодой герой готовится стрелять в людей, только что выбросил человека из окна – но и это не смущает критика, и он бодро рапортует нам: *«У Прилепина революция имеет скорее созидающее значение...»*

Ориентация Андрея Рудалёва на религиозный идеал в статьях о Прилепине приводит, к сожалению, к чудовищному разрыву между громкостью провозглашаемых фраз и скудностью стоящего за ними содержания. Критик будто вовсе не ощущает несоразмерности появления в разговоре о прилепинском Саньке цитат из Исаака Сирина и Максима Исповедника, а также упоминания (о ужас!) об «умном зрении». Он приводит цитату из Прилепина: *«на сердце тихая пустота»* – и комментирует её так: *«...эта фраза будто почерпнута из «Добролюбия»*³². Потом пускается в рассуждения о «духовной брани» Саньки: *«внешнему и явному бунту героя... предшествует внутренняя брань, преодоление опустошённости, душевной пустыни молодого человека, выросшего в новой России...»* И в конце концов доходит до полной нелепости в таких утверждениях, как, например: *«видимый радикализм героя является, как ни странно, следствием его традиционализма»* или *«он одинок, потому как – деятель, трудник нового мира»*. Да, формально разговор идёт на высоком уровне, произносятся глубокомысленные фразы, но вот только они не имеют никакого отношения к разбираемому тексту.

Ошибочное пленение Андрея Рудалёва образом Саши Тишина – наверно, главная причина того, что «новый реализм» в лице своего талантливого критика споткнулся на, пожалуй, самом перспективном пути, который у него был. Сложно сказать, почему же так произошло. Может, за правильными словами критика не оказалось выстраданного мировоззрения. А может, просто слишком труден был путь, так что невозможно было пройти его силами одного человека.

К сожалению, больше уже Андрей Рудалёв не писал статей того уровня, которые выделили его в середине 2000-х. Он продолжал отзываться на новые произведения Прилепина в духе статей о романе «Санья»³³, писал и о других авторах, делая упор в основном на тематику их произведений³⁴. Более того, в какой-то момент он посчитал возможным даже всерьёз рассуждать о прозе Сергея

³¹ А ведь Захар Прилепин часто стремится написать красивую фразу на «онтологическую» тему, за которой стоит внешняя значительность при минимуме адекватного содержания, совсем свежий пример – концовка романа «Обитель»: *«Человек тёмный и страшный, но мир человеческий и тёплый»*.

³² Рудалёв Андрей. Пустынножители. «Урал», № 2, 2009.

³³ Рудалёв Андрей. Апокалипсис уже наступил. «Урал», № 9, 2011. Рудалёв Андрей. «Обитель»: между ангелами и бесами. «Урал», № 8, 2014.

³⁴ Например, Рудалёв Андрей. Герой с грехом. «Крещатик», № 4, 2011. Или Рудалёв Андрей. Пыль прошлого. «Урал», № 10, 2015.

Шаргунова и Романа Сенчина³⁵, которых когда-то считал носителями «*больного современного сознания*»³⁶ (хотя никаких качественных изменений ни в их творчестве, ни в их мироощущении, на мой взгляд, за это время не произошло). И ни разу больше Рудалёв не задал вопрос: обладает ли рассматриваемый им автор «*инстинктом веры*»; является ли слово этого автора выражением его «*внутренней чистоты*»; способствует ли его творчество возвращению «*к традиционному литургико-симфоническому типу культуры, к осознанию человеком своей действительной ценности*»³⁷?

Андрей Рудалёв не состоялся как критик, ведущий к истине. Но он показал, что даже в атмосфере борьбы и поверхностного молодого задора может появиться критик, который говорит глубоко и полно; и в конце концов показал нам тот путь, который по-прежнему остаётся самым перспективным для современной молодой литературы, если она хочет не плутать в поисках отвлечённых тенденций и не заниматься простым утверждением своего политического кредо.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой статье мы говорили о «новом реализме» не столько для того, чтобы просто рассмотреть имевшее место в недавнем прошлом явление литературного процесса, сколько для того, чтобы исследовать живой пример созревания поколения, понять его желания и устремления, а главное – проанализировать те ошибки, которые, как мне кажется, допустили представители «нового реализма», и учиться на этих ошибках.

И первый урок для нас: нельзя пленяться идеей радикальной новизны и желанием полностью раствориться в своём времени, оторвавшись от опыта прошлого. А второй урок: нельзя с головой погружаться в борьбу даже за самые лучшие идеалы и пренебрегать глубокой многомерной истиной ради прямолинейной правды. Первые два пути, которые воплощали для нас соответственно Валерия Пустовая и Захар Прилепин, оказались тупиковыми. А вот третий, представленный Андреем Рудалёвым и выраженный в основном в его ранних статьях, зовёт нас пойти по нему дальше. Можно сказать даже сильнее: именно пройти по пути Рудалёва, не свернув с него, и есть задача следующего поколения в литературе.

В чём же заключается полноценное движение по этому пути? Какие задачи стоят перед поколением, идущим следом за «новым реализмом»?

Во-первых, мне кажется, это задача восстановления связи с традицией, живого осмысления опыта классики, ощущения себя внутри внутренне логичного процесса развития русской литературы. И пото-

³⁵ Например, Рудалёв Андрей. Третье поколение мужчин. «Литературная Россия», № 48, 2014.

³⁶ Рудалёв Андрей. В поисках нового позитива. «Урал», № 2, 2007.

³⁷ Там же.

му неслучайно молодой иркутский прозаик Андрей Антипин, вслед за Ириной Мамаевой и Дмитрием Новиковым, нащупывает в своём творчестве связь с «деревенской прозой», которая в свою очередь неразрывно связана и с Пушкиным, и с Достоевским, и с Толстым.

Во-вторых, это задача проникновения на максимальную глубину в человеческой психологии, потому что именно изучение человека, а вовсе не политика и не игра в метафоры, всегда было в центре большой русской литературы. И вот уже талантливый прозаик Юрий Дунин пытается создать собственный художественный мир, до предела насыщенный глубоким и тонким психологизмом.

В-третьих, это попытка поставить своих героев в ситуации, способствующие их полноценному духовно-нравственному поиску. И вот залогом возможности движения в этом направлении служит, на мой взгляд, пронзительная и зрелая по мировоззрению повесть петербургского прозаика Дмитрия Филиппова «Три дня Осоргина», посвящённая жизни и смерти узника Соловецкого лагеря (которая в выгодную сторону отличается от многостраничного, но совершенно статичного в духовно-нравственном плане романа Захара Прилепина «Обитель»).

Авторы второго постсоветского поколения в литературе, т. е. те, кому сейчас или меньше тридцати или немногим больше, заслуживают, конечно же, полноценной статьи о своём творчестве. Но уже сейчас видны в них, пусть ещё не до конца сформированные, но ростки нового – обещание того, что в литературу придёт по-настоящему полноценное в художественном и мировоззренческом смысле поколение.

Им уже не нужно будет расчищать пространство.

Им не нужно будет до хрипоты спорить с постмодернизмом.

Не нужно будет придумывать концепции, оправдывающие своё существование.

Но это будет уже не «новый реализм» – скорее, возвращение к плодотворному пути классического русского реализма, наследующее Пушкину и Гоголю, Достоевскому и Толстому, Шолохову и Распутину, не плутание по узким тропинкам, а продолжение движения по магистральной дороге вперёд.



**Николай
АЛЕШКОВ**

ПОТОМУ ЧТО РОДИНУ ЛЮБЛЮ

О родине, о маме,
о жизни, о любви
стихи приходят сами –
зови иль не зови...

Жгут сердце строки эти,
они не могут тлеть,
и ты живёшь на свете,
чтоб их запечатлеть.

Юрию Дулесову

Я тоже в демона играл,
был молодым и одиноким,
в себе старательно стирал
грань между низким и высоким.

Я умереть хотел во сне,
когда луна в окошко светит.
Мир не нуждается во мне.
Уйду – никто и не заметит.

-
- Николай Петрович Алешков родился в селе Орловка Челнинского района Татарской АССР в 1945 году. Работал монтером связи, электриком, кровельщиком, диспетчером домостроительного комбината, журналистом. После службы в армии (1969–1972) работал литсотрудником военной газеты Московского округа ПВО «На боевом посту». Был редактором набережночелнинской городской газеты «Время», а также редактором межрегиональной литературной газеты «Звезда полей». В настоящее время – главный редактор литературного журнала «Аргамак» (Татарстан). В 1982 году закончил заочное отделение Литературного института им. А. М. Горького (семинар Н. Н. Сидоренко). В 1984 году принят в Союз писателей СССР. Автор десяти книг стихов, изданных в Москве, в Казани и Набережных Челнах. Живёт в Набережных Челнах. Лауреат Республиканской литературной премии имени Г. Р. Державина и Всероссийской литературной премии «Ладога» имени Александра Прокофьева. Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, почётный гражданин города Набережные Челны.

Мир был действительно жесток.
Ревел бульдозер меж развалин.
Сверчок, забывший свой шесток,
я этим рёвом был раздавлен.

Но наступала тишина.
Окно вечернее темнело.
И демон плакал у окна
неартистично, неумело.

Но даже тех светлейших слёз
мир не увидеть умудрился.
А лунный свет в листве берёз,
переливаясь, серебрился...

Торт разрезан. Извольте откусать!
Кто-то кофе по чашкам разлил.
Человек, не умеющий слушать,
говорил, говорил, говорил.

О сверхнациях, супердержавках,
о великих народных вождях.
На идеях, затасканных, ржавых
поднимался он как на дрожжах.

И возвысился – солнце в зените,
мавр в трагедии – прямо беда!..
Встал я с кресла, сказал: «Извините», –
и ушёл от него. Навсегда.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Идём одной колонной. И у каждого
в руках портрет – реликвия своя.
Не господа – товарищи и граждане –
единая российская семья.

Знамёна и хоругви здесь не лишние.
Отцы и деды с нами! Мы – народ.
Они – в Небесном войске у Всевышнего,
мы – на Земле свершаем Крестный ход.

Враги, вы зря протестами полощете,
идут богатыри, а с ними Бог!
Вся ваша мелюзга с Болотной площади
осядет пылью пройденных дорог...

Со мною внучка, сын, жена любимая
и вся моя Орловка, вся родня.
Идёт по свету рать неодолимая!
Отец родной, ты слышишь ли меня?

Ты плачешь ТАМ слезами чистой радости,
ты не забыт, и пахарь, и солдат!
Не надо фейерверков – из-под радуги
на нас, живых, бессмертные глядят!

Державный шаг с молитвами великими –
единства очищающий момент!
Вглядись в людей: их лица стали ликами,
и впереди колонны – Президент.

А лучше – вождь, вернувший Крым Отечеству,
и у него в руках – родной портрет.
Бессмертный полк – спаситель человечества.
Другой опоры не было и нет!

Виктору Суворову

Вот и мы постарели, мой друг, но не будем о грустном.
Для самих-то себя мы давно ничего не хотим,
лишь бы вновь увидеть: журавли пролетели над Русью.
Только где она, Русь? Мы в сердцах её молча храним.

Нам с тобою, наверно, счастливое детство досталось.
После самой свирепой и самой великой войны
из окопов промёрзших сквозь боль, и тоску, и усталость
возвратились отцы, чтобы мы появились, сыны...

И когда мы вдвоём держим путь к православному храму –
помолиться за них и поставить к распятию свечу
за ушедших любимых, и каждый, конечно, за маму,
вдруг заплачет душа: «Я от них уходить не хочу!..»

Не спеша за столом поминальные чарки наполним –
впереди и у нас предназначенный Господом срок...
А рождественский снег всё летит на житейское поле.
Мы идём по нему. Горизонт – как небесный порог...

Мы с тобой не поблажек, а милости Божьей просили –
дескать, дети и внуки под нашим присмотром растут...
И опять журавли высоко пролетят над Россией,
а сады, что посажены нами, весной расцветут.

Декабрьский дождь и майский снегопад
ворвутся в жизнь и всё переиначат.
Вон в конуре безмолвствует Пират,
а внучка – ей три года – чуть не плачет...

Черту смиренья не переступи,
живи в ладу с надеждою незримой!
«Всё будет хорошо. Ты потерпи, –
скажи спокойно женщине любимой. –
Земля прекрасна, наша жизнь на ней
устроена – счастливей не бывает...»

Неясная тревога всё сильней,
всё явственней тебя одолевает.

В БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЕ

Диагноз – трепетание предсердий..
Поэзия! Нужны ли тут врачи?
В палате смех. И кто-то из соседей
сказал, шутя: «Не хочешь – не лечи!
Люби и будь любим, куда ноги
несут, – и о пощаде не моли!»

И Женщина возникла на пороге.
Трепещут вновь предсердия мои...

Между тьмой и светом – чую –
будет маяться душа.
Я любил жену чужую
и не каялся, греша.

Целовал блудницу эту
то с крестом, то без креста.
Как душе пробиться к свету
через узкие врата?

Хватит! В бездну не полезу.
Ободрал уже бока.
Вдоль реки, потом по лесу
вьётся тропка как строка.

Поздно, брат, беречь здоровье!
Виден финиш впереди.
Страсть, не ставшая любовью,
сгинь из сердца, пропади!

Так чего же я тоскую
и с крестом и без креста?
Я любил жену чужую.
Были узкими врата...

Не дорожи моей любовью,
не стой подолгу на ветру!
Скажи вослед: «Господь с тобою!»,
когда умру.

Умру. И Лета, словно Кама,
позволит вечность полюбить.
Жена покойная да мама
меня там встретят, может быть...

Памяти Светланы

Как остро тебя не хватает! Особенно летом.
В каких ты мирах обитаешь? И мне бы туда...
Роман не дописан, остался романс не допетым,
и ты в моё лето уже не придёшь никогда.

А озеро, где мы купались (наверное, помнишь?),
тоскует по бёдрам атласным не меньше, чем я.
По травам пройдя луговым на елабужской пойме,
ты в воду вступала под раннюю трель соловья.

И солнце ласкало (а я ревновал тебя к солнцу)
высокую грудь, завитушки над лоном твоим.
И память, и нежность от наших счастливых бессонниц
храню, пока жив я. И образ твой мною храним.

Пусть Кама и Вятка и прочие быстрые реки
тебя догоняют, минуя в тумане холмы!
Ведь ты, уходя, молодой остаёшься навеки,
а я, постаревший, всё жду, когда встретимся мы...

*Перемен! Мы ждём перемен!***Виктор Цой**

И жизнь прошла, как теплоход по Каме.
Что я скажу вам, сидя у реки?
Не ждите перемен, меняйтесь сами,
лишь — не теченью жизни вопреки...

ВЛАСТИТЕЛЮ

За песню соловья не упрекай!
По воле неба он не знает страха.
Есенин — Божья дудка, а Тукай —
курай Аллаха.

ПОЭТУ

...и Слово было Бог.

Евангелие от Иоанна

О чём ты говоришь, Господь с тобою?
Игра в слова – опасная игра,
когда она становится судьбою
на грани адской бездны и добра.

Бумага, карандаш, остывший кофе,
сквозняк в жилище, тесном и пустом...
А ты вслед за Учителем к Голгофе
идёшь, гонимый, с жертвенным крестом.

Неважно где – в Рязани иль в Казани –
настигнет срок, когда платить пора.
И Божий дар, и Божье наказание –
игра в слова. Опасная игра.

Поэт не врач, а боль. Струна и нерв.
Когда к поэту уваженья нет,
не сомневайтесь в том, что одурочен
народ, ведомый властью к поп-звезде
и к зрелищам, и далее везде,
где Пушкин на Киркорова растрачен...

Жил да был один поэт.
Не из праведников, нет.

Куролесил, баб любил,
водку пил да морды бил.

А потом сквозь стыд и срам
приходил он в Божий храм...

Бог прощал ему грехи
за хорошие стихи.

Кама предосенняя волнуется,
ветерком подёрнута слегка.
Как мужчина с женщиной, целуются
в небе надо мною облака.

Вот и август, словно друг единственный,
дорог мне, и светел, и пригож.
В лес войду. И хвойный он, и лиственный,
на картины Шишкина похож.

Понадеюсь: лето не последнее
по реке плывёт за горизонт.
Я одет пока ещё по-летнему,
но в руке, на всякий случай, зонт.

А перо, дай Боже, не затупится.
И желанья нет считать грехи.
Осень, чаровница и заступница,
надиктует новые стихи.

Николаю Рачкову

Вот и старость... Но поверьте слову:
летом я силёнок наберусь,
к Шукшину, Есенину, Рубцову
всё-таки нагряну – вспомнить Русь...

А чего? А кто нам помешает?
Душу как гармошку разверну.
Пусть она, просторы оглашая,
загорланит аж на всю страну!

Смотрит на Катунь с холма Василий.
На Оку любитесь Сергей.
Николай: «Храни себя, Россия!»
Соберёмся вместе: эге-гей!

Посмеёмся. Может, и поплачем...
Денежек вот только накоплю
и поеду. Не могу иначе,
потому что Родину люблю.



**Нелли
КРЕМЕНСКАЯ**

ИМЕНА

ЕМЕЛЯ

Ну и натерпелся он со своим именем! Всю жизнь спрашивали, почему он не на печи и где его чудо-щука. А в детстве вообще проходу не давали. В самолюбиво-подростковом возрасте от тарабарщины «Мели, Емеля, твоя неделя» в ярость приходил и лез в драку. Мечтал, когда вырастет, сменить своё имечко. Но почему-то не сменил. То ли смирился, то ли привык. Да и вообще рукой махнул: какая разница, хоть поленом назови – только в костёр не клади...

Пришло время – женился. Жена попалась очень молодая, очень красивая и очень легкомысленная. Всё время пела, танцульки любила, глазки мужикам строила. К дому за ногу не привяжешь. Да и лет девчонке всего восемнадцать было. А тут через год появилась двойня. И оба – мальчишки. Пелёнки, горшки, кастрюли, сковородки...

И произошло невообразимое: вертихвостка сбежала. Да-да! Не просто изменила мужу, а удрала. Совсем. И не куда-нибудь на соседнюю улицу, а в Нидерланды. Вот уж действительно – не достать! Бросила, кукушка, мужа и сыновей. Потянулась за шоколадной жизнью голландского туриста (чтоб ему ни дна ни покрышки, заразе!). Ни денег, ни вещей с собой не взяла. Только оставила записку: так, мол, и так, жить не могу без любимого капиталиста; вся я в душевном раздрае, жалко тебя и малышей (Ах! Ах! Ах! Можно подумать!), но его (капиталиста) жалче, а меня он любит больше жизни; устроюсь на новом месте, детей заберу; пойми и прости... Ну не курва?! Мать её! Заберёт она ребят! Оп-па! Заберёт! Ша-л-л-ава! Она же не завтра вернётся. Усы у мальчишек вырастут, пока заберёт. Да ещё вопрос: отдам ли я их? Кукушкам детей доверять? Ни за что!

Долго сидел Емеля над этой запиской. С полчаса заковыристо матерился, ни разу не повторившись. Потом

выхлебал бутылку водки. Ну как тут было не напиться: остался мужик с двумя малышами, которым едва-едва по году исполнилось.

Прижала жизнь... Так прижала... Хорошо, тёща объявилась. Как удрала дочь, так и объявилась. Навсегда поселилась в доме, навела в нём порядок, которого при сбежавшей малолетке никогда и не было, стала обихаживать внуков. И, что не менее важно, так насела на мужика, что не позволила ему спиться. А дело шло к тому. Крепко привязался он к своей жене, незрелой бабочке-однодневке. И стерпеть её подлый полёт на край света не смог. Тёща стала контролировать заработки Емельяна, время работы и отдыха. (И как у неё сил на всё хватало?!) Дошло до того, что он только честь ей не отдавал. Командовала троими мужичками, как на военном корабле. Но Емеля терпел. Ради детей. Уж очень зависим был от неё.

Иногда всё же не выдерживал, срывался с крючка. Вдрызг напивался и начинал воспитывать ребят и ужасно правильную тещу. И тогда в доме взвихрялся тайфун. Дети, чувствуя накалённый градус атмосферы, поднимали разноголосый рёв. Тёща грозилась съехать и освободить всех младенцев и алкоголиков от собственной персоны. Емеля клеймил её инквизитором в юбке, которому не по зубам те, кто ускакал в Нидерланды. А сам он никогда туда не побежит (вот никогда!), ибо гордость надо иметь! Упрекал своих домочадцев в том, что они его жизнь заели, ни вздохнуть не дают, ни охнуть. Правда, однажды, в разгар безобразно гуляющего по квартире тайфуна, Емелю неожиданно осенила свежая, как весенний дождик, и внезапная, как первая любовь хулигана, мысль: «А может, вы и есть моя жизнь?»

На следующий день страдания от головной боли усиливали чувство вины перед самоотверженной инквизиторшей (бросить своих «горластых мужиков» ей не хватало духу). Но пасть перед ней на колени и просить о помиловании самолюбие не позволяло. Тогда Емеля садился на пол, ставил перед собой малышкой и так, чтобы слышала тёща, наставлял их никогда не притрагиваться к спиртному. В их мужском братстве всё должно быть как в сказке: борьба со злом и – хороший конец. В эту сказку они, так и быть, возьмут бабушку, хоть она и женщина. Близнецы охотно кивали головами, тёща, несмотря на явный подхалимаж, всё ещё поджимала губы, но в доме опять надолго устанавливался мир.

Работал Емельян Глебович преподавателем в пединституте. Там же, на приёмных экзаменах, он и нашёл свою принцессу, по которой до сих пор оскорблённо сох. Был он высок, русоволос и плечист. Лицо имел хитроватое (да и сказочный прототип его не лыком был шит), но женщинам нравился. Однако дал себе зарок: больше не жениться.

В институте полно девчат. Деревенских, свежих, молодых, на всё готовых, лишь бы остаться в городе. Емеля как акула в рыбном косяке: глаза разбегаются, не знаешь, кого схватить. И всё же присмотрел себе девчоночку, уже постарше – не абитуриентку, а выпускницу. Что-то у неё там с дипломом не ладилось. Помог написать. Опекал.

Был в институте огромный подвал, забитый пыльными плакатами, портретами вождей для демонстраций, знамёнами, стендами, коробка-

ми со старыми учебниками и альбомами. Здесь же хранились старые шкафы, поломанные столы и стулья. Сюда заманил и здесь соблазнил Емеля свою новую избранницу. Конечно, подвал – не царские палаты и не графский зал для балов и празднеств, но не вести же её к пуританской теще.

С Надеждой был честен. Ничего ей не обещал. О детях рассказывал. После окончания института помог закрепиться в городе. Первое время оплачивал проживание на квартире. Решил вопрос и с пропиской. А вскоре нашёл ей место учительницы в школе. Девчонка оказалась шустрой, нос от любой работы не воротила. И Емеле за его помощь была бесконечно благодарна.

Голландская кукушка так и не вернулась. Что с ней стало, можно было только гадать: или жизнь оказалась настолько сахарной, что не хотелось нарушать её какими-то обязательствами, или в незнакомом мире она до сих пор боролась за существование. Не до детей. А может, вообще продали её, дурёху, в сексуальное рабство, и она себе не принадлежит. Емеля как-то слышал об этом по телеку. Грустил, конечно. Впрочем, всё меньше вспоминал он о своей бабочке, легкомысленно упорхнувшей за тридевять земель за халявным нектаром. Ведь жизнь как колесо: крутится и крутится без остановки, открывая новые горизонты и подминая всё, что попадает под него – трава ли, бабочка, не сумевшая вовремя увернуться, жук ли или какой-либо слизняк. Однако совсем забыть жену не давали сыновья и вечно виновато-тревожные, а иногда и мокрые глаза тещи. Она стучалась в какие-то организации, разыскивала дочь, но, видимо, безуспешно.

А тут вдруг грянули девяностые годы. Зашаталось отечество. Глядя на ноги не выдержали тяжести колосса. В стране началась катавасия. Коснулась она и вузов. Их то укрупняли, то разъединяли. Преподавателей то увольняли, то вновь набирали. Заработанных денег ждали по полгода. Даже стариковские пенсии задерживали.

Попал под увольнение и Емеля. А тут и теща в параличе слегла. Вот беда так беда!..

Не первый раз жизнь тюкает по темечку... Так тюкает, разве что дух не вышибает. Ну сколько можно? Как быть? Работы нет. Денег нет. За сыновьями ещё глаз да глаз нужен. И тещу выхаживать надо. Так нехстати слегла (как будто когда-нибудь кстати можно болеть!). Пацанов, правда, подняла. Сами сопли себе вытирают. А сейчас больше в мужской руке нуждаются...

А Емеля месяца три не просыхал. Где брал деньги – загадка. Не буйствовал, никого ни в чём не упрекал. Просто пил, пока не сползал со стула. Протрезвев, куда-то уходил. Часто возвращался «на тройке». Пьяного, грязного, иногда избитого приводили его незнакомые, подозрительного вида мужики. Увидев, что дом почти бесхозный, они оставались надолго. А если сыновья Емели всё-таки прогоняли их (им уже по тринадцать было), прихватывали какую-нибудь мелочь: носки, вилку, шапку или стакан. И опять, чтобы дом не рухнул окончательно, подпоркой, костылём его снова стала женщина. Приходила Надежда, приносила продукты, готовила еду, вместе с ребятами оживляла Емелю, ухаживала за больной.

Однажды, в большой грусти и большом разладе с самим собой, небритый, нечёсанный Емеля бездумно смотрел телевизор. Шёл разговор о сектах, экстрасенсах, колдунах и об их невероятных заработках. И Емелю стукнуло: вот он – Клондайк. Теперь надо суметь добраться до него. И ещё он подумал, что в жизни этой каждый человек – барон фон Мюнхгаузен: сам себя должен за волосы вытаскивать из болота. Понадеешься на кого-то или безнадежно махнёшь рукой – навсегда в помойке останешься.

Главное – больше ни капли! Потом – баня. Часа три отпаривал себя от грязи, выгонял алкоголь. Прочитал всё, что смог достать об экстрасенсах, колдунах, шаманах. Русые волосы подстриг в кружок. Усы и бороду сбривать не стал, расчесал, где-то красиво подровнял. Надел сапоги, в которых ходил в лес по грибы, облачился в почти новую ночную рубашку тёщи в мелкий розовый цветочек, подпоясался оторванным шнурком от старого дивана – и превратился в сказочного мужика «а ля рус», которых обычно рисуют в книжках. На какой-то свалке нашёл стеклянный шар непонятого предназначения. Захватил с собой. Авось в новом деле пригодится. Дал объявление в городской рекламной газете: «Решаю проблемы делового и личного характера. Возвращаю разлюбивших жён и мужей. Нахожу потерянные деньги. Привораживаю. Лечу от всех болезней. Светодар». В конце – телефон.

Емеля не ожидал, что первый клиент объявится так скоро. Да ещё – мужчина! Обычно женщины более легковёрны.

Ничего... Мужчина невысокий, нервный, пугливый. Суетливый какой-то. «Значит, кто-то застрашал тебя, милоч», – отметил Емеля. В своём сказочном наряде он проводил гостя в прибранную по этому случаю гостиную с занавешенными окнами, с иконами тёщи в углу и стеклянным шаром в индийской вазе для фруктов. Тёщу и ребят со строгим наказом «Не высовываться!» скрыли за дверью в другой комнате.

Мужчины сели по разные стороны стола, накрытого красной бархатной скатертью с кистями. А тут из кухни медленно выплыла Надежда с перекинутой на грудь косой, в расшитой красными петухами украинской вышиванке (по дешёвке купленной недавно на ярмарке), с гроздью сердоликовых бус на ней и с единственным яблоком на огромном узбекском блюде для плова. Клиент сразу залюбовался женщиной, перестал вздрагивать и оглядываться. И Емеля подумал, что эту часть ритуала в дальнейшем надо будет убрать и заменить чем-нибудь другим. Блюдо Надежда водрузила на стол и поставила перед гостем зеркало в круглой металлической оправе.

В тягучем молчании Емеля зажёл свечу, поводит руками над бликующим от света шаром, пронизательно глянул на посетителя, потом закрыл глаза и завораживающим голосом медленно произнёс:

– Вижу, как кто-то наехал на тебя. Отняли бизнес, лишили денег. Припугнули. Так?

Мужчина, глядя на «Светодара», торопливо кивнул и, поражённый его провидческим талантом, выдохнул:

– Так!

Емеля открыл глаза и пронзил посетителя ястребиным взором.

– Рассказывай всё как есть. Ничего не скрывай. Как врачу или адвокату. Дальше меня никуда не пойдёт.

– Я в зерноводческом хозяйстве работал. Стали с женой самогон гнать. Из него – водку. Всё натуральное и качественное. Никакой палёнки. Производство хлопотное, дорогое. Сахара много уходило, дрожжей. Бутылки у бомжей покупали. Опять же самогонное оборудование немало стоило. На авиационном заводе заказывали. Только за зерно не платили, тайком брали. А его много идёт. – Мужчина покраснел и потупился. – Готовую водку сбывали через продуктовый киоск, в котором моя взрослая дочь работала. Так что за реализацию водки тоже не пришлось платить. – Мужчина опять почему-то смутился. – Вскоре пошла прибыль. Небольшая, правда, – тут он опять потупился, – но на жизнь хватало. Хозяин фирмы узнал о зерне, прислал своих горилл. Они в доме всё побили, забрали деньги. Самогонные аппараты – в крошку. Мне так навтыкали, едва в себя пришёл. Сказали, следующий раз убьют. И ещё сказали, чтоб никому не жаловался... Мужчина замолчал в ожидании.

Емеля опять прикрыл глаза и зашептал что-то длинное (слов было не разобрать, что-то мудрёно-ведическое) и опять поводил руками над стеклянным шаром. Надежда вместо бубна звякнула в колокольчик, которым больная тёща призывала к себе в случае необходимости. «Святодар» внезапно открыл глаза, пошарил взглядом по комнате, якобы вернувшись откуда-то и не понимая, где он оказался, помолчал и твёрдо произнёс:

– Там, где я был, сказали: беды твои от несправедности. Смени бизнес. Больше не воруй. И всё будет хорошо. Гляди в зеркало. Не отрываясь и не моргая съешь яблоко. Моргнёшь – и со следующим бизнесом будут неприятности. Чары пропадут.

И ушёл. Надя осталась с клиентом и наблюдала, как он ел яблоко и до слёз таращился в зеркало.

За полчаса общения с обиженным бизнесменом Емеля заработал столько, сколько получал за месяц в институте.

Через два дня пришла унылая, уже увядшая девушка, с жидким хвостиком на затылке и большой мохнатой родинкой на шее. Призналась, что любит женатого (и ребёнок у него!) и хотела бы, чтоб он оставил семью и перешёл к ней. Емеля вспомнил свою голландскую беглянку и после пассов над стеклянным шаром и ведических шептаний при свече сурово сообщил, что «там» ему сказали: из семьи выдёргивать милого негоже. Ни к чему. Счастья всё равно не будет. И даже наоборот: придут беда, болезни. Единственно, чем можно помочь, – сделать так, чтоб она больше не сохла о нём.

– Да ведь страдания эти – сладкие, – кисло произнесла девушка, вскидывая брови. Неожиданно улыбнулась, и столь же неожиданно лицо её похорошело, как-то осветилось изнутри.

Умудрённый жизненным опытом, Емеля тут же нашёлся. Прикрыл глаза и, якобы считывая информацию «оттуда», замогильным голосом произнёс:

– Роди от него ребёнка. – Открыл глаза и уже «от себя» добавил: – И сладость останется, и страдать по любимому будет некогда.

С девушки этой взял по минимуму. По ней видел: унитаз у неё не из золота и нет припрятанных на чёрный день кубышек...

А клиенты потекли. Всякие. В том числе и богатенькие. Такие машины возле его дома останавливались – дворцы на колёсах! Во всяком случае, по стоимости. Советовались подчас о таких вещах, о которых не только вслух говорить – думать не стоит. Емеля изворачивался как мог. Иногда старался спасти незнакомые жизни, сваливая свои решения на «распоряжения свыше». Вот с таких-то гостей денежки драл нещадно. И совесть его ни разу не ойкнула. Ни разу!

Вначале опасался, что за наглый блеф кто-нибудь морду начистит. К удивлению, рекламаций не было, никто с претензиями не возвращался. То ли и правда нечаянно сбывались его предсказания, то ли люди сами прозревали, что ходить к колдуну – глупость, и надеяться надо на собственные силы, то ли вообще жизнь так заматывала человека, что ему бы разобраться с наплывающими проблемами, а не вспоминать о том, что когда-то слабость проявил.

Однажды Емеля случайно угодил чем-то «браткам», и они взяли его под своё покровительство. Да и сам он не такой уж простак, свой хребет и от простых обывателей пытался обезопасить: всегда оставлял щёлку для отступления. Если не сбылось предсказание, клиент сам виноват: значит, моргнул перед зеркалом или ещё какой-нибудь запрет нарушил. Не дурак был Емеля. Не дурак.

Жизнь налаживалась. С сыновьями, правда, хлопот было много. Озоровали и вечно попадали в какие-то истории. То зимой на полу чужой дачи костёр устроят и пекут в нём картошку (будто дома их не кормили!), то угонят чей-то мотоцикл и врежутся на нём в стену (слава Богу, сами живые!), то обзовут нового разлива учительницу «безграмотной дурой». И как прикажете совладать с такими, шибко грамотными? Деньги выручали. Многие проблемы решали. И Емеля удивлялся, как он раньше жил без них.

Когда разбогател, он прежде всего нанял для тёщи опытную сиделку. Денег медсестра «съедала» уйму. Но он не жадничал, помнил, как помогала тёща в его лихолетье.

За городом купил участок земли в полгектара. Года три здесь кипели строительные работы. Встал металлический забор. Вырос дом в три этажа, с гаражом, отдельно – сауна, бассейн. По участку протянулись дорожки, выложенные керамической плиткой. Обзавёлся двумя машинами.

Сам он раздался вширь, ходил степенно, волосы на голове так же подстригал в кружок, на лице – не брил. Тёщину ночную рубашку сменил на вышитую льняную, мужского кроя, но носил так же, навыпуск. Клиентам по-прежнему представлялся Светодаром.

Завистливые соседи настучали на него в органы. Как же без этого?! Все живут плохо, а тебе хорошо! Живи как все! Но в то время не была налажена система проверок доходов. И в уголовном кодексе о колдунах и экстрасенсах – ни слова. Как докажешь, что он – мошенник, что это – бизнес без лицензии.

Всё-таки приходили к Емеле: надо же отвечать на сигналы граждан. Но взять его за жабры не удалось. В своё оправдание «Светодар» особо ничего не придумывал. Воспользовался ходячей банальностью:

– Бабушкины бриллианты продаю. Она их от советской власти прятала.

Не выдержал, засмеялся. Страж порядка понимал, что он врёт, но придраться к нему не мог. Да кому это надо – раскопками доходов колдуна заниматься, тратить уйму времени, сил и средств?

Так и отстали.

Живи теперь и радуйся! Так нет же, не бывает рая на земле.

Жизнь как те самые качели: то взлетает в голубые выси, то тащит вниз, аж сердце замирает. Нет в ней покоя. А деньги... При чём тут деньги? Без них, конечно, тоже никуда. Но есть вещи не дороже, нет, а... важнее, что ли, может, нужнее для нутра твоего, глубинной сущности твоей...

...Взбунтовалась Надежда. Емеля, где мог, старался изолировать её от мужиков. Но всё же недоглядел. Однажды Надя заявила:

– Ухожу от тебя. Семья мне нужна, муж, дети. Свои дети... Годы летят, а мне счастье с чужой постели достаётся. Надоело быть женой на час. Не говори, что я тебя не предупреждала.

Вот это – новость! Поразила она его в самую сердцевину. И зачем Господь Бог повязал мужиков с бабами? Одни расстройства от них!

– Ты что же, нашла кого? – спросил ревниво, гнев уже пенился, бурлил, просился наружу.

– Нашла. Замуж выхожу.

Емеля – в крик. Гнев вскипел всё-таки.

– Как ты могла? Да я... Да ты... Почему?.. Чтоб...

Думал, вечно она с ним будет. А зачем жениться, когда в свободном полёте он мог обнять любую. И обнимал! Но Надя – это... Само собой разумеется, что она всегда рядом. Это – неотвратимо, как приливы и отливы на море, как гроздь сирени весной, как звездопад на небе. И вдруг – всё рушится. А сейчас вообще понял, что она дороже ему всех женщин на свете. Даже улетевшая кукушка в сравнение с ней не идёт. Он представил, как её обнимает другой – и чуть разумом не помешался. Не думал, что так дорога она ему. Не думал.

Схватил за плечи, приблизил её лицо к себе. Рыкнул:

– Кто он?

Она засмеялась.

– Тебе не всё равно?

Уже в ярости:

– Кто он?

Во дворе заурчала машина.

– Кто он? Хочешь, давай распишемся! Не уходи!

– Оpozдал ты. Лет на десять.

– Нет! Всё можно поправить! Не уходи! – Он тряхнул её за плечи.

Хлопнула дверь. И густой мужской голос, чужой голос:

– Оставь её. Выйдем на улицу. Поговорим.

Емеля угрожающе повернулся к незнакомцу:

– А ты кто такой, чтоб я говорил с тобой?

Всё-таки вышли. Емеля не мог сдержать ненависть к чужому голосу. Размахнулся и... сам получил внезапный и сильный удар в лицо. Он повалился на спину. Услышал женский вскрик. Затылком ударился

о металлические поручни крыльца. Перед тем как потерять сознание, увидел голые верхушки деревьев и подумал: «Скоро снег полетит...»

ТРИ ЧАСА СВОБОДЫ

Фёдор с треском распахнул дверь и с порога громко объявил:

– Ксения, я билеты в кино взял! Будь готова к семи часам.

Он никогда не предупреждал её заранее. Просто брал билеты в кино, театр, звал в гости или звал гостей к себе и ставил её перед фактом. Что бы ни произошло – будь готова, и всё тут! И в этом случае у жены его, Ксении, был простор для ворчания: вот так всё не вовремя (а не вовремя – всегда!) – голова не мыта, парадное платье не глажено, у туфель отлетела набойка, и вообще я устала и не до кино, не до гостей... Правда, ворчание не было на пустом месте: трое маленьких детей, шутка ли?! Да, муж государству больше, чем ей, принадлежит. Военный он, полковник, считай, в доме ещё одно дитя: учения-мучения, командировки, внезапные проверки, ночные вызовы, и в праздники покою нет. Поэтому надо собирать-разбирать портфель-чемодан, не забывать майки-носки-бутерброды, чистые носовые платки и воротнички. Самой приходится и автомобиль на ходу останавливать, и в горящую избу входить. (Тьфу-тьфу-тьфу! Не дай-то Бог!)

Он ещё и дверь не закрыл, а навстречу ему кинулась Морозка – белая лохматая собачка, раза в два больше кошки. Радостно повизгивая, она закрутилась вокруг его ног, бешено вертящийся хвост поднял воздушные вихри и пыль, а три чёрные точки на морде (два глаза и нос) и улыбающаяся пасть излучали такой восторг, такую неподдельную любовь, что не откликнуться на них было невозможно. Фёдор наклонился, взял её на руки, но от собачьей пылкости увернуться не успел: шершавым языком она мазнула его по губам и носу. А тут и новая приливная волна: две девчонки и четырёхлетний мальчишка с радостными воплями облепили его, не давая пройти.

Старшей дочери было уже десять. Звали её Джана. Не Джуна, не Жанна – Джана. Когда она появилась на свет, Фёдор голову сломал, как назвать. Все предложения жены и знакомых отвергались. Помнил он, что у Лермонтова в «Герое нашего времени» есть удивительно красивое, нежное женское имя. Внимательно перелистал всю книгу. Не нашёл. Перечитал. Есть! В главе «Белла». Только любимое слово не имя, а ласковое обращение к женщине – джанечка (как пишет Лермонтов, по-нашему – душенька).

Очень хотелось сына. И опять Фёдор стал бракоделом: второй ребёнок – снова дочка. Так ведь своё дитя, родное. В то время ходила в народе незамысловатая песенка из популярного, такого же незамысловатого заграничного фильма. И слова такими же простенькими были: «О маленькая Нелли, побудь со мной!» А фильм – такой сладкий, а Нелли – такая очаровашка! Всё. Не устоял отец!

Когда появился третий ребёнок, Ксения из окна третьего этажа больницы кричала Фёдору, что у них родился сын. Он не поверил. Приготовил новое заковыристое женское имя, а о мужском

и не думал. Боялся взглянуть. С букетом цветов он растерянно стоял внизу на асфальте и не знал, что говорят и делают в таких случаях. Ополонувшему от счастья папаше медсестра вынесла ребёнка. Тогда окончательно поверил. И опять с именем выручил Лермонтов. Вадим – красиво, мужественно, гордо.

Он не был тираном. С женой советовался всегда. Не мелочился, не спорил. В быту целиком ей покорялся. Но жизненно важные проблемы решал сам.

Был убеждён, что билет в кино, в театр или домашняя библиотека – прямо-таки необходимы для нормального существования человека. Поэтому и не спрашивал вечно занятую жену и, несмотря на уже привычные слабые протесты, выдёргивал её из омота нескончаемых домашних дел. Считал, что ребяташки уже подросли и под приглядом старшей дочери их можно ненадолго оставлять одних.

Ксения ворчала (как же без этого? Жизнь пресной покажется!), но к назначенному часу плечо к плечу шла с мужем, куда он звал. Причепурится, встряхнётся – и усталости и забот вроде бы никаких. Хотя тревожная мысль об оставленных малышах не покидала её ни на минуту. Сама – будто только что с витрины. Оба они – среднего роста, стройные, очень ладные и красивые. Оглядываются на них.

А как же дети? Командиром, конечно, становилась старшая. Она же получала от взрослых строгие наказания: из дома не выходить, накинуть крючок на дверь, никому не открывать, голос не подавать, глаз не спускать с брата и сестры (отвечаешь за них), через час поужинать (еда на столе) и – спать.

Ещё не остыли следы Ксении и Фёдора, а дверь дома с маху шмякнулась о стенку – и на улицу горохом высыпали отпрыски. «Свобода!» – раскрепощённо кричала Джана, поднимая кулачки к небу. «Ура!» – подпрыгивая то на одной ножке, то на другой, вторила ей шестилетняя белобрысая Нелли. Вадик, с головой цвета созревающего кукурузного початка, шустро приплясывал за сёстрами и тонким голоском освобождённо кричал на ходу придуманные непонятные слова: «Да-ха! Муля-руля-зуля-ха!» И даже возбуждённая Морозка неслась вперёд, обгоняя детей, и тьякала, закатываясь от собственного восторга. И лишь старый, ужасно ленивый кот, как только показался в дверях, уселся на пороге и с выражением крайнего презрения провожал глазами суматошную кавалькаду. Видно было: не удивить его и не растормошить воплями, беготнёй и топотом.

У дома был заброшенный яблоневый сад. Он никому не принадлежал, и никто не зарился на него, ибо деревья одичали, яблоки выродились, стали мелкими, кислыми. Зато сад – это простор для игр и всевозможных фантазий. Яблоки не только грызли, морщась от кислоты, но и кидались ими друг в друга, изображая бандитов или доблестных непобедимых бойцов, в касках из огромных листьев лопуха, с автоматами из сухих веток в руках, с биноклями из собственных кулаков.

Вот и сейчас девчонки с разгону полезли на странное, пирамидальной формы дерево, растущее в глубине сада и усыпанное удивительно красивыми и на редкость крупными продолговатыми яблоками. Плоды

были жёлтыми, а сверху – словно облитые красной краской. Из-за этой удивительной красоты дерево в разгар лета казалось наряженной новогодней ёлкой. Но яблоки были невкусными: мякоть хоть и сочная, но очень твёрдая и не только кислая, но и горьковато-вяжущая. Есть их было невозможно, зато варенье получалось замечательное. Девчонки, как мартышки, лазили по дереву и подзадоривали брата присоединиться к ним. Вадик же просто схватился за нижние ветки и раскачивался, поджимая ноги. («Могу, но не хочу лезть наверх. Да. Не хочу...») А дерево тоже радовалось свободе и закидывало землю красивыми обманными плодами.

За огромным садом был заросший камышом пруд, куда в редкие свободные дни отец водил семью. И, несмотря на жёсткий наказ дальше «новогодней» яблони без взрослых не заходить, дети всё-таки побежали к воде. Свобода ведь!

А вот и пруд. Лохматая белая нитка от пролетевшего самолёта разрезала небесное полотно и, как ножом, отхватила треть голубой водной глади. Вечерело. Солнце, хоть и склонялось к горизонту, все ещё жарило воздух, сжигало траву.

Но купаться ребята и не думали. Предусмотрительный отец давно внушил им, что на глубине живёт водяной и хватает всех, кто лезет в воду без взрослых. Правда, старшая дочка к этой сказке уже относилась скептически. И всё же, сев на низкий песчаный бережок и спустив ноги в воду, Джана тревожно разглядывала водоросли, юрких мальков, уходящие в глубину косматые шевелящиеся корни. Хотелось добраться до бархатно-коричневых камышей, как сказочные тридцать три богатыря, на толстых зелёных ножках толпой выходящих из воды. Наконец не выдержала, замирая от страха, опасаясь русалок, водяных, а больше всего – пиявок, полезла в топкую тину.

Вадик увидел ужа и погнался за ним. Два оранжевых пятна на голове змеи ловко замелькали сначала меж кустов ивняка, потом – аира и осоки. Добравшись до чистой воды, уж грациозно и легко поплыл по поверхности и вскоре совсем исчез. Споткнувшись, Вадик упал животом на траву, но не ушибся, а неожиданно заинтересовался жизнью божьей коровки. Он подставил ей палец и взмахнул рукой вверх. Божья коровка маленькой тяжёлой горошиной шлёпнулась на землю и потерялась в траве. Он стал искать её, но нашёл несколько муравьёв и двух жучков. Вскоре глаза его заволокло туманом, жучки-паучки закачались и начали переливаться друг в друга и таять, а потом и совсем пропали, и голова его безвольно ткнулась в траву. А тут и божья коровка собралась с силами и, как ракета, с лёгким жужжанием сиганула из травы вверх и вбок.

Нелли тоже скисла от духоты. Она вяло ходила по лужку около пруда и рвала цветы: ромашки, зверобой и маленькие фиолетовые колокольчики. День был долгим, жарким и эмоциональным, да и путь сюда был неблизким – и ребята устали, хотелось спать. Нечаянно Нелли набрела на дикие кусты малины. Потянувшись за ягодами и обнаружила маленькое гнёздышко, из которого беспомощно и доверчиво выглядывал птенец. Она хотела взять его на руки, но откуда-то выпорхнула сердитая птичка и, на лету ругаясь, чиркну-

ла крылом по её макушке. Нелли испугалась, выронила цветы и побежала к сестре, выходявшей на берег с пучком камышей в руках.

В тени на травке, замучившись от жары, беготни и собственных восторгов, тяжело дыша, безвольно валялась Морозка. Добежав до воды, она сначала вошла в неё по брюхо и жадно напилась, но вскоре выскочила на сухое место и к пруду больше не подходила. Хотя, наверное, мечтала, чтобы имя её январским холодом материализовалось в воздухе или чтоб густую белую шерсть можно было бы сбросить, как тулуп, и подставить голое разгорячённое пузо под лёгкий вечерний ветерок. Родилась она полтора года назад, зимой. Хозяева уверяли, что это – мальчик. Была она как снежный комок, величиной с ладошку. Ходить по сугробам не могла, тонула, и разыскать её можно было только по трём чёрным точкам, умильно ожидающим вызволения из снежной западни. Назвали – Мороз. Оказалась – Морозка.

Обратно возвращались медленно, разморённые духотой, полусонные. Вадика сёстры вели за руки. Он машинально переставлял ноги, а голова его иногда безвольно падала на грудь. Дверь всё так же была нараспашку, но в дом, похоже, никто не входил. ЕСТЬ не стали. Поставили камыши в большую вазу, воды не наливали. Девочки едва раздели сонного малыша, сами через головы сбросили платья и без сил повалились на кровать. Впрочем, старшая, Джана, исполняя родительский наказ, на шпингалеты закрыла все окна и заперла дверь на крепкий амбарный крючок.

Ксения и Фёдор подошли к дому, когда деревья сада уже были неразличимы, а чёрный контур деревянной дачи едва вырисовывался на фоне тёмно-синего неба. Чтобы не напугать детей, Фёдор тихонько поскрёбся в дверь. Никто не проснулся. Постучал сильнее – никакого звука. Потряс дверь – тишина. Потряс сильнее. Потом несколько раз стукнул кулаком. В окне показалась Морозка. Приветливо гавкнула (я, мол, тут, не волнуйтесь) и исчезла.

Из облачного плена выглянула луна, разбросала неверные, зыбкие блики на деревья, дом, на пыльную дорожку. Осветила и комнату. Мать с беспокойством прильнула к окну. Как и всегда, девчонки валетом спали на одной кровати. Вадик – на другой. На подушке рядом с его головой вольготно пристроилась Морозка. Её нос почти уткнулся в щёку малыша. Ксения легонько постучала пальцем по стеклу. Пси́на обернулась на звук, сонно шевельнула кончиком хвоста (мол, я же соблюла политес, чего ещё? Не мешайте спать). Никто из детей не ворохнулся. Кота не было видно, где-то бродил.

Ничего себе – в дом войти невозможно! Первый сон у детей особенно сладок и крепок. Хоть из пушки пали...

Опять стучали в окно и в дверь. Должна же хоть старшая проснуться!..

Должна, но не проснулась.

Делать нечего: Фёдор перешёл к решительным действиям. Он взял камешек и сильно ударил им по стеклу. Трещины пошли во все стороны, с тихим звоном брякнули осколки. Фёдор вынул стеклянный уголок, просунул руку в дырку и повернул нижний шпингалет. А верхний

и не был заперт. Открыл окно, подтянулся и влез в комнату. Жену впустил уже через дверь.

– Господи, легко как влезть к детям! Нельзя их вечером оставлять одних! – каялась Ксения, укоряя себя и Фёдора за трёхчасовое отсутствие. Включила свет, и тут же взгляд её остановился на камышах.

– Батюшки! Они же к пруду ходили!

– Вот я им покажу завтра пруд! – сердито загромыхал Фёдор, сгоняя собаку с подушки сына.

– Тихо ты! Разбудишь. Что с них спрашивать? Малы ещё. Самим надо думать...

На улице заурчал грузовик. Остановился. И мужской голос:

– Бочка нужна?

При чём тут бочка? Зачем она? Фёдор досадливо махнул рукой в окно:

– Нет. Не нужна.

У крыльца дома – какая-то возня. Весело зажурчала вода. Опять загудел грузовик. И, удаляясь, затих. Ксения и Фёдор взглянули друг на друга и разом выскочили в ночь. В сладком воздухе сада – только слабая струя бензиновой гари. Исчезла большая деревянная бочка с дождевой водой, стоявшая у крыльца дачи. Ксения поливала из неё цветы у дома и маленький огородик (морковка, лучок-чесночок). Всё произошло быстро и по-киношному нереально.

Первым очнулся Фёдор. Вскинулся запоздало.

– Э-э! Куда? Стой!

Да где там... Ксения и Фёдор какое-то время соляными столбами стояли на дороге и смотрели на исчезающие сигнальные огни машины. А потом... Потом ночную тишину взорвал неудержимый смех. Бочку жалко было, конечно, но уж больно нелепо они с ней расстались.

ЧУНЬКА

ВОРОНА С НОСОМ

Прямо из борща Чуньке досталась очень вкусная, пахучая, ещё дымящаяся косточка. Она положила её между передними лапами, легла на живот и так увлеклась, что не заметила, как угощение заинтересовало и ворону. Тяжело подпрыгивая, ворона приближалась к собаке сбоку и сзади. Риск был колоссальный, но мошенница шла ва-банк, видимо, справедливо рассудив, что от такой косточки никто – ну никто! – оторваться не в состоянии.

Подскочив поближе, она сильно клюнула Чуньку в бок и тут же взлетела невысоко, но опять-таки вне зоны видимости собаки. Расчёт был верен, как механизм ядерных часов, и гениально прост. Пока псина, наконец-то оставив кость, недовольно вертела головой, ворона, взмахнув крыльями, мгновенно подхватила хозяйский подарок, отлетела с ним на несколько метров и вновь приземлилась.

Рык Чуньки был справедлив и грозен. И очень возмущён. Собака нервно вскочила и грудью кинулась на нахалку. Ворона снова отлетела

на несколько метров. И снова приземлилась. Она явно издевалась над бедной Чунькой, которая от ярости, досады и переживаний (кость – вот она, на виду, а не достать!) перешла на позорный визг. «А вот и не догонишь! А вот и не взлетишь!» – пользуясь своим преимуществом, дразнилась носатая бандитка, доводя собаку до иступления.

Наконец, вдоволь потешившись на земле, она взлетела на дерево и села на самый нижний сук. Опять кость показалась собаке близкой и ещё более желанной. Стоит только подпрыгнуть хорошенько – и она твоя.

С полчаса Чунька изнемогала в прыжках. Что она только не делала, стараясь собрать все силы и прыгнуть как можно выше! И наконец поняла: так ни ворону, ни кость не достать. Она отбежала от дерева на несколько метров и, тяжело дыша, села на землю. Несколько минут посидела, отдохнула и вроде бы успокоилась. Воронка не улетала, она ещё что-то ждала от собаки, хотя что можно ждать от существ, которые даже крыльев не имеют. Она наигралась и победила своего вечно-го врага. Всё кончено. Можно и с места сниматься. Никаких действий ждать от поверженной уже не стоит.

И вдруг, казалось бы, уже спокойная и равнодушная, Чунька с диким рыком, снова подпрыгнув, налетает на дерево и словно впечатывается в него. Какой-то миг – и она обнимает толстый ствол всеми четырьмя лапами, хвост тянется до земли. Голова, с вытарашенными, припадочно-дурными глазами и с длинным языком, на боку. Сверху, наверное, это представилось вороне странным, непривычным и безумным видением, потому что, как в той незабвенной басне, от неожиданности и удивления клюв её ослабил хватку – и кость выпала.

Чунька под собственной тяжестью быстренько сползла на землю, схватила предмет раздора и, ужасно довольная, вихляя всеми частями задней половины тела, потрусила к дому. Потом остановилась и обернулась к вороне. Нет, она не могла ей прокричать что-либо озорное и неприличное – во рту ведь кость была. Но в глазах виделось не торжество даже, а насмешка: «Ну что? Осталась с носом? Куда вам, безмозглым бандюгам, тягаться с нами!»

МЕСТЬ

Нет, никак она не могла угнаться за борзыми. И это сильно ущемляло её самолюбие. К хозяину она подходила, опустив морду и виновато виляя хвостом. Никто её и не упрекал: это же борзые, у них и тело-то как у ракеты, и по парку носятся едва ли не со скоростью света. Но смириться с этим Чунька не могла. Не знала она, что обогнать борзых ни одна собака не может, что порода эта – для бега. И потому после каждого неудачного финиша ласковая, ко всем дружелюбно настроенная Чунька становилась раздражённой и агрессивной. Казалось бы, что без всякого повода она набрасывалась на безвинных борзых, скалила зубы на их хозяина.

То, что произошло однажды, не укладывается в наше представление о животных с их инстинктами и с их весьма скромными (по сравнению с человеческими) умственными возможностями.

Стояла та сказочная осенняя пора, когда солнце ещё согревало воздух, но ночные холода уже окрасили парк в лёгкие и пёстрые акварельные цвета. От малейшего дуновения ветра прозрачные берёзы слегка подрагивали золотыми листочками. После летнего буйства трава уже успокоилась и стала клониться к земле.

Двух русских борзых, грациозных, холёных аристократок, с изящными мордами и длинными, тонкими, как у балерин, ногами, выпускали побегать в предрассветных сумерках в дальнем углу парка, когда в него мало кто решался войти. Частенько к ним присоединялась и Чунька, дворянка, как любовно и насмешливо называют беспородных дворняжек их владельцы. Правда, она тоже была довольно крупной и длинноногой и нипочём не хотела уступать борзым. Имя своё она получила от дочки хозяина, которая, увидав чудного белого щенка с рассыпанными по всему телу чёрными кляксами, воскликнула: «Папа, смотри, какая чунька!»

Без поводков животные гонялись по парку, наперегонки мчались за палками, которые хозяева бросали для них. И Чуньке, конечно, не везло. В то время как борзые, играючи друг с другом, победно возвращались с добычей, дворянка понуро плелась сзади. По пути ради собственного успокоения она иногда хватала первую попавшуюся ветку и равнодушно, без всякого энтузиазма, бросала у ног хозяина. Радости не было и в помине.

После очередной неудачи огорчённая Чунька как-то рыскала по траве, уже не обращая внимания на резвившихся борзых. И за высокими, но недостроенными стенами какой-то будки случайно набрела на большую и довольно глубокую яму. Она подняла голову, постояла, словно в раздумье, потом снова посмотрела на яму и прошла по её краю. В следующее мгновение она бросилась к играющим борзым, выхватила у них палку и помчалась к будке. От неожиданности аристократки сначала опешили. Какое-то время они в недоумении смотрели нахалке вслед. И тем дали ей фору. Потом как-то разом, одновременно снялись с места и в стремительном забеге распластались по земле. И не поздоровилось бы дворянке, если бы...

Чунька нырнула за угол будки и, чтобы не попасть в яму, резко тормознула и прижалась к стене. Борзые же посыпались на дно. Раздались визг, хруст поломанных веток...

Вниз Чунька даже не взглянула. Навстречу перепуганным хозяевам она выбежала с оскаленной в озорной улыбке пастью и победно искрящимися глазами.

Это была чисто женская месть, хитроумная, мгновенная и довольно жестокая, ибо одна борзая распорола, лапу о битое стекло, а вторая упала на огромный куст репейника, и на шерсть налипли клубки колючек, которые вытащить можно было только вместе с этой длинной шелковистой шерстью.



**Александр
НЕСТРУГИН**

ЖУРАВЛИНАЯ НИТКА

Как страшно сразу быть – добром и злом...
Кремль рисовать как вышки лагерей.
И век барачный отдавать на слом,
Не отселив отцов и матерей.

История – неужто лишь строка,
Что некто на скрижали начертал?
Не тачка, не лопата, не кирка,
Не лампочка, не льющийся металл?

Не рельсы, не плотина, не мартен,
Не вера в светлый мир и красный флаг?
Не фото, что ещё глядят со стен
Снесённых коммуналок и общаг?..

Жгут руки вертухаи и кумы,
ГУЛАГ, половы горсть на трудодни.
А мы с тобой, а мы с тобой, а мы –
Отрёкшиеся от своей родни?!

Развевя прах и выкашлявши дым
Отечества – от «Раши» и до «ять»,
Победу мы оставить норовим,
А где земля? – Ей не на чем стоять!

Когда же мы построим этот храм,
Где скорбно смотрит милосердный Спас
И смотрят фотографии из рам,
В чуждан снесённых нами, – прямо в нас...

-
- Александр Гаврилович Нестругин родился в 1954 году в селе Скрипниково Калачеевского района Воронежской области. Окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. Автор поэтических сборников: «Два голоса» (1988), «Русское имя» (1993), «Свои снега» (1999), «Ещё цветёт кипрей» (2003), «Лирика» (2007). Лауреат премии имени Василия Кубанёва, премии «Имперская культура» имени Э. Володина. Живёт в селе Петропавловка Воронежской области.

ЗАГАДКА

Чем завлекла, смутила – чем,
Что вдруг волной взметнулась чернь –
Превыше Лувров и Бастилий?
К своим сияющим словам
Зачем вела – по головам –
И головами путь мостила?

Зачем она прошла, скажи,
Сквозь миражи и рубежи,
Как ходят звёзды и светила?
И к череде великих смут
Свободу, Равенство и Труд
Виденьем царствия смутила?

И что ни век – с ней говорят
Людовик свой и свой Марат,
И место не бывает пусто,
Где студит кровь восторга дрожь, –
И гильотины виснет нож,
И Робеспьер зовёт Сен-Жюста...

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь» –
Здесь, где лишь в счёт кукушкин верило детство,
здесь,

Где поднимались дети – и внуки обочь растут,
Где – сквозь терны, раздето – тянутся ко Христу

Отповедь, проповедь, заповедь – правдою без лакун,
Где окликают за полночь Авель и Аввакум;

Где – не дерюгой серою, дыбою без улик –
Клонится к слову Сергия поле, где жил кулик;

Где голова Емелькина, красная на миру,
Катится к почерневшему – в ужасе – топору;

Где всё идёт аллеею – в бронзе, поверх голов –
Благословенье Ленина – золоту куполов;

Где, что я там ни вытворю, не целовав креста,
С бабушкиной молитвою ждёт меня темнота...

Губы тёмные разлепит
Почка, слова не сказав,
И зелёный тонкий трепет
Набегает на глаза!

Станешь корнем, станешь веткой,
 Станешь капель звон копить...
 Но судьбы хватает редко –
 Так вот губы разлепить.

КАК БЫ...

Не киношка – жизни кадры,
 Где родное на кону:
 – Русский?
 – Как бы...
 – Смелый?
 – Как бы...
 – Добрый?
 – Как бы... это... ну...
 Олигархи и мажоры,
 Государевы мужи,
 Дети тех мужей и жёны –
 Как бы...
 Кто же мы, скажи?
 Песня, стёртая попсою?
 Шавок ряженных тусня?
 Зря даём поблажки сору,
 Что жирует, речь тесня!
 Гром не грянул – и креститься
 Нам покуда ни к чему?
 Нас отловит та частица
 Всех потом – по одному.
 Нет, свинцом очей не смерит,
 Привечая как вражин.
 Просто после – станет перед
 Молчаливым словом «жил...».

Не вспомнят? Может, и не вспомнят...
 Нас много. Трудно помнить всех.
 Но всё равно слова из комнат,
 Слова крылатые из комнат
 Не отпустить на волю – грех.

Пусть воробьями липнут к липам,
 Зовут родней синичий люд.
 И, тая журавлиным кликом,
 В глазах заплаканных живут...

Что я скажу теперь июлю,
 Зовущему под знамя зорь?
 Я сам с собой всю ночь воюю,
 Поскольку сам – сплошная хворь.

То мёдом хворь кормлю, то ядом...
Но я встаю – и день встаёт.
И всё белеет по левадам –
Гляжу – дыхание моё...

Я ещё над горями тяну,
Над золой – упрямою строкою...
Я ещё встречаюсь на Дону
С темнотою, молодой такою!

И она, глаза мои закрыв
Неумело
Тёплой ладошкой,
Всё туда выводит, где обрыв
Прожигает холодом подошвы.

И сквозь пальцы золотой песок
Светится, где лунный плот причален.
И сочатся звёзды – словно сок
Срезанного в пойме молочая.

СОТВОРЕНИЕ МИРА

Время начиналось в летней кухне,
С полом стылым, с печкою курной.
Твои губы от простуды вспухли,
А простуда та пришла со мной.

Твой халатик слишком был заужен,
Тесно же дышать в таком тугом.
Замужем – как в затишке, за мужем –
Будто в измерении другом.

Печка злится: искры, дыма космы.
Ты – парок дыхания у рта.
И так близко, в двух касаньях, космос,
И, как невесомость, темнота...

СКАЗКА

...Дразнил её: «Мой головастик!
Когда царевной станешь ты?»
И подарил однажды ластик –
«Стереть случайные черты».

Обидеть не хотел глубоко,
Он так шутил, не обижал:
Она же приютила Блока,
Что возле мусорки лежал!

Он говорил: «Всё носишь, носишь –
И к ним сбегаешь по ночам...
Твой стихоплёт таких курносых
Разинь – в упор не замечал!»

И было ей темно и душно,
И был один, кто утешал:
Отволглый уголок подушки
В лицо ей жалостью дышал.

И сон пришёл, смешное горе
Смахнув, как крошки со стола...
И девочка в церковном хоре
С небес к ней ангела звала.

И ангел, брат родной туману,
Что на руках носил Оку,
Сошёл – открыть глаза Ивану,
Её Ивану-дураку.

ОКТЯБРЬСКИЕ РИФМЫ

Тени деревьев стоят, не лежат,
А вот деревьям – к земле бы прижаться...
Рифмы уже не в кружок ворожат –
Вместе словам помогают держаться.

Могут и пнуть те слова, и ругнуть,
Если их жизнь поглядит как чужая.
А по ночам холодят мою грудь,
Настежь раскрытую, не выстукая.

ЖУРАВЛИНАЯ НИТКА

Холмы кричат вечернему окну,
Что я обобран октябрём до нитки –
Последней, журавлиной...
Что пожитки? –
Дают мне небо
За неё одну...

Подошли под окна Севера,
Дышат в стёкла – так, без всякой цели.
Подошла под сердце та пора –
Та, что в тёплых строчках ищет щели.

Значит, хватит в стёкла те влипать,
Соскребать, как в детстве, ногтем льдинки.
Сердце рви – и щели конопать.
В доме этом, помни, не один ты.

Не ткал узоров – и не вытку...
Чиню знакомое до слёз
Мемориальной зябкой ниткой –
Все руки исколов, внахлёт.

И мне не страшно и не горько,
Что я почти не вижу шва,
И непослушная иголка
Порой в укорах не права.

Ведь жизнь сквозящая – не пальцы,
Где нить вжимается в канву.
И в кровь исколотые пальцы
Ещё родней слепому шву...



**Михаил
ГОЛЬДРЕЕР**

САФАРИСТ

СЕРЕБРЯНЫЕ ПЕСКИ

В 80-е годы довелось мне в составе молодёжной группы посетить Индию. Поездка была восхитительна, оставила массу незабываемых впечатлений. Об одном из них я и хочу поведать.

Мы три дня пребывали на курорте Махабалипурам (по-русски – Серебряные Пески). Это на берегу Индийского океана напротив острова Цейлон и недалеко от города Мадрас, столицы штата Тамилнад. (Как я узнал, недавнее гигантское цунами полностью смыло эти места.)

Прибой и белый песок пляжей Махабалипурама просто кишели мелкими крабами, они бесстрашно бегали повсюду, залезали в нашу обувь и одежду, а по вечерам сновали под огнями бетонной танцплощадки, которая тоже была на берегу.

Надо припомнить, что Индия всю историю человечества известна как родина приправ и всевозможных ароматизаторов. У этой страны тысячелетний опыт выращивания, изготовления и применения всяческих пряностей. Например, индийский соус-кетчуп невозможно спутать ни с одним кетчупом в мире, столько в нём чисто индийских ароматов, привкусов и тонкого послевкусия.

Много разных развлечений устраивала для нас администрация курорта, но меня больше всего восхитило то, что она организовала в ночь перед нашим отъездом. Когда на берег пала тропическая тьма, нашу группу повели вдоль

-
- Михаил Маркович Гольд्रेер родился в 1950 году в Костроме, в 1962-м переехал вместе с родителями в г. Волжский Волгоградской области. Окончил факультет автоматики и вычислительной техники МИИТ по специальности «Инженер-электрик по автоматике и телемеханике в промышленности»; после окончания МИИТа трудился на рабочих и инженерно-технических должностях до 1994 года.

В 1998-м стал совместно с доктором Егоровым и доктором Бариновым учредителем Центра антропометрической (ортопедической) косметологии и коррекции. Заместитель директора Волгоградского центра антропометрической (ортопедической) косметологии и коррекции. Автор большого количества регулярных публикаций в центральных газетах и журналах России.

кромки воды. У сопровождающих индусов были с собой фонарики, пластиковые вёдра и бамбуковые обручи с натянутыми на них сетками... Фонарики освещали песок и вдруг начали выхватывать на нём крабов, но не дневную нахальную мелюзгу, а крупных, увесистых особей, с такими – не шути, запросто клешнями пальцы поломают!

На наших глазах индусы приступили к действию. Один лучом фонарика выхватывал краба, тот под светом ненадолго замирал, другой человек тут же накрывал его сеткой и бил кулаком по панцирю до хруста, чем и обездвигивал пленника, чтобы он не был опасен. Сразу же подходил человек с ведром и забирал добычу. Охота получилась азартной и весёлой, каждый из нас смог себя в ней попробовать, и мы незаметно полностью набили все вёдра крабами, после чего вернулись назад. Там нас уже ждали.

На берегу стояли лёгкие столики и стулья, а между ними на раскалённых углях лежала громадная жаровня, в которой кипело растительное масло из зёрен кунжута. Когда повара увидели, что мы подходим, они тут же начали лить в жаровню с маслом кетчуп из множества стоявших рядом баночек. Официанты взяли наши вёдра с добычей и, тщательно промывая в чанах с водой каждого краба, кидали их в жаровню.

В кипящей смеси масла и кетчупа крабы пробыли минут двадцать, после чего жаровню сняли с огня. Официанты вооружились какими-то диковинными черпаками и стали осторожно, даже нежно доставать крабов и раскладывать по порциям на бумажные тарелки. К порциям прилагалось по бутылке ледяного пива. Каждому досталось примерно три-четыре краба.

Когда я попробовал это яство, то понял: вкушаю нечто неповторимое! Крабы сами по себе – вкуснота, а тут ещё необыкновенное приготовление с привкусами и ароматами индийского кетчупа! Но главный фокус состоял в том, что крабов можно было есть целиком, не очищая! Их панцири пропитались маслом и кетчупом настолько, что мгновенно растворялись во рту, как размокший в воде мел. Только по вкусу это был не мел, а что-то вроде густого экзотического соуса, создававшего во рту вместе с мясом краба и пивом просто фантастическую вкусовую гамму!

Понятно, почему официанты так нежничали со своими черпаками. Сохранить такого краба для едока в первоизданном виде – задача для истинного виртуоза.

САФАРИСТ

В самые поздние советские времена в заграничных фильмах и книгах замелькали беспечные герои, которые легко меняли перспективы карьерного и делового успеха на бесприютную свободу и бесконечное наслаждение курортными радостями тёплых морей, перебиваясь случайными заработками, случайными подругами, случайным кровом, палатками, шалашами, спальными мешками.

Прошло определённое время, и теперь уже россияне или другие жители бывшего СССР в одиночку, группами или целыми колониями

прочно осели на жарких берегах, когда-то совершенно недоступных их родителям и дедам. Кто-то из этих «вечных курортников» увлёкся экзотическими религиозными практиками, кто-то подсел на дешёвую и доступную наркоту...

Но меня заинтересовали другие типажи. Те, что сродни бродягам Эрнеста Хемингуэя и Джека Керуака, но уже в нынешнем исполнении XXI века. Вот их пунктирные портреты. Возраст от 23 до 40 лет. Физически крепкие и спортивно развитые, жизнерадостные. Почти все имеют серьёзное образование, часто – выпускники лучших университетов. Умеют хорошо работать руками, разбираются в технике, обладают массой всяких полезных навыков. Владеют иностранными языками, вообще хорошо обучаемы. Таковы эти мужчины и женщины. Личная жизнь их легка и разнообразна, даже если ими создана настоящая семья, но только до рождения детей. Если пошли дети, то начинают оседать и вить гнёзда. Так вот, эту генерацию я бы назвал не курортниками, а сафаристами. Потому что их цель – охота за рискованными удовольствиями. Все они поголовно обожают сёрфинг, яхты, подводную охоту, подводное плавание и стараются не засиживаться подолгу на одном месте.

С одним таким «сафаристом» я познакомился в своём родном городе, уроженцем которого тот является. Сейчас ему 35 лет. В старших классах средней школы родители смогли отправить его доучиваться в одну из европейских стран, благо их сын уже отлично освоил английский язык и вообще был хорошим учеником. После школы парень легко поступил в престижный московский вуз, на третьем курсе начал ездить в Англию в университет, с которым этот вуз сотрудничал. Лучшие студенты из Москвы имели право учиться полгода в Москве, полгода в Англии, а потом получить сразу два диплома: российский и английский.

Получив диплом, наш выпускник устроился в Англии работать в международную турфирму, которая катала обеспеченных отпускников на своих яхтах по Средиземному и Красному морям. А наш герой отлично водил парусно-моторную яхту, прошёл обучение по аквалангу, а на рыбалке и охоте был с детства помешан. Плюс к этому он умел водить все типы автомобилей и делать их мелкий ремонт.

Яхты турфирмы базировались в Египте и Израиле. Проработав в этой фирме около двух лет, наш герой познакомился в Израиле с выходцем из Австралии, инженером-корабелом, который в его фирме инспектировал яхты после плановых ремонтов. Эти ремонты делались каждый год после закрытия туристического сезона, а яхты для этого перегонялись в Грецию. Мой земляк на пару с австралийцем предложил своей фирме делать плановые ремонты без перегона, прямо в Израиле. Фирма решилась на этот эксперимент, и он получился! Земляк и австралиец сколотили бригаду из украинских гастарбайтеров, и дело пошло так удачно, что через три года земляк смог сам купить себе крупную парусно-моторную яхту! Он поставил её в израильской морской бухте местного яхт-клуба и превратил в отличную трёхкомнатную квартиру-дачу. После чего уволился с работы и полностью отдался своим увлечениям, подбирая временные приработки

так, чтобы они были продолжением его развлечений. Попутно следует сообщить, что, помимо английского, он за это время свободно освоил иврит и весьма сносно – арабский разговорный. Когда земляк приезжал в родной город повидать своих родителей, то я мог подолгу выпрашивать его и выслушивать рассказы о странствиях.

Вот некоторые из них.

«Когда я решил подробно «пообщаться» с Красным морем, то приехал на израильский курорт Эйлат, у залива Эйлат, берега которого принадлежат также Иордании и Египту. Это залив гигантской глубины, с отличными рифами вдоль берега и разнообразной фауной.

Для заработка нанялся начальником команды (боцманом!) на французскую парусно-моторную шхуну, возившую туристов по заливу. В свободное время я плавал среди рифов в маске или акваланге, глядя на фауну. Очень хотелось что-нибудь добыть, но в Эйлате мощная экологическая полиция, и всё запрещено. Там есть пограничный пункт в Египет, на побережье Синая. Мне сказали, что в тех местах рифы побогаче будут, а строгостей почти никаких. Вот я и сорвался туда однажды на три дня. Прошёл пешком египетский КПП, взял местное такси и приехал на ближайшую стоянку для туристов.

Побережье Синая – это территория бедуинов, арабских «цыган», которые и взяли на себя все заботы о туристах. Прежде всего – их снабжение. То есть доставляют всё, что попросят туристы, только плати: еду, напитки, одежду, лёгкие наркотики. А ещё бедуины ловят тут же в море рыбу и добывают морепродукты на заказ. На моей стоянке туристы были в основном из Европы: немцы, скандинавы, англичане. Полно отвязных девчонок, свободная, но вполне безопасная и культурная атмосфера. Кто-то снимал комнаты в гостиничных домиках, кто-то в шатрах, многие жили в своих палатках и спали в спальнях мешках. Кафешки тоже были в бедуинских шатрах.

Однажды мне очень понравилась на обеде жареная рыба-дудка. Это узкая хордовая рыбёха из Красного моря, костей нет, как у осетра, а на носу длиннющий нарост, похожий на дудку. Я хотел заказать ещё порцию этой рыбы, но хозяин-бедуин сказал, что это возможно только к завтраку, надо ещё поймать. Тогда я упросил его показать, как он ловит.

Ночью мы с ним вышли на берег. Бедуин лёг лицом вниз на лёгкий плотик из тростника, отплыл от берега метра на три и начал мигать ручным фонариком. Через некоторое время он сделал свободной рукой несколько резких движений, и в ней забились рыба-дудка, схваченная за нос! Я был в восторге и захотел проделать это сам. Бедуин мне растолковал что и как, после чего я тоже отплыл на плотике и начал мигать фонариком. Через некоторое время заметил, что рядом у поверхности закружила дудка. Тогда я начал мигать строго в одном месте и стараться, чтобы плот не шевелился. После этого рыбина заплыла под плотик и встала строго напротив того места, что освещал, мигая, фонарик. А её нос из-под плота выглядывал. Вот я за него и схватился резко свободной рукой! Всё получилось. Рыбина потянула на полтора кило, бедуин её радостно забрал в оплату моей экскурсии с ним. Не я один любил заказывать эту вкусноту у него.

Моя яхта стоит в марине города Ашдод, столицы «русского Израиля», там большинство населения русскоязычно. А километрах в пяти от берега располагается единственная в мире рыбозаводная ферма открытого моря. При штормах её садки опускают от поверхности ниже уровня волн. Другие такие фермы находятся в бухтах. На этой ферме разводят дорадо – морского карася, которого полно и на прилавках России, привозят из Турции и того же Израиля.

Примерно год я проработал водолазом в фирме, которая владеет этой ашдодской рыбофермой. В обязанность команды водолазов входило регулярное дежурство на судне возле садков, чтобы оперативно их чинить, когда они повреждались. А повреждались они часто. Сети садков сделаны из толстых синтетических нитей. И на них часто кидались местные акулы и прогрызали, чтобы добраться до рыбы внутри. Это были акулы-няньки, тигровые и голубые акулы. Все в среднем по два метра длиной. Когда такая тварь прогрызала сеть и прорывалась в садок, мы впятером в аквалангах выплывали за ней туда же, держа свою сетку, которую набрасывали на неё, после чего требовалось акулу зажать, перевернуть вниз спиной и удержать хоть полминуты. Тогда она обездвигивалась, её вытаскивали из садка судовой лебёдкой и отбрасывали подальше, пусть отходит. Промысел акул в Израиле запрещён. Достаточно легко было с голубыми и тигровыми акулами, они агрессивны, сами на нас бросались. А вот «нянек» приходилось подолгу окружать.

Возле садков всегда «тусовалось» много посторонней рыбы, поэтому мы от скуки на судне часто рыбачили, ловили рыб-игл, акулят, иногда рифовых окуней или крупных вольных дорад. Эти дорады были гораздо крупнее морских карасей, раскрас имели не белый, а жёлто-зелёный. Тушённые с овощами очень недурственны.

Однажды один из моих израильских приятелей предложил мне поехать с его компанией к реке Иордан, поохотиться на... сомов! Предложение меня изумило. Зная, как «зверствует» в Израиле экологическая охрана, я сразу же спросил, мол, не влипнем ли мы с браконьерством? И меня тут же просветили, хохоча...

В Израиле достаточно строго соблюдают религиозные требования в различных сферах жизни, в том числе и питании. А по их основной религии в пищу из воды можно употреблять только то, что покрыто чешуёй. Таким образом запрещаются все вкусности в виде ракообразных, моллюсков, сомов и даже осетров! Правда, во всех ресторанах можно свободно получить свежайшие морепродукты любого вида, но ведь это вроде бы предназначено для иностранных туристов, так что осуждению не подлежит. Как бы там ни было, сомы считаются несъедобными, их не ловят даже для ресторанов – спроса нет, и полиция просто не обращает внимания на тех, кто решил добыть пару-тройку этих рыбин, ибо вдруг это просто исследователи-биологи или коллекционеры-чучельники.

Мне до этого случая уже приходилось бывать на священном Иордане и озере Кинерет, куда эта река впадает и где когда-то Христос встретил своих апостолов, местных рыбаков. Места эти рыбные, водится, и обильно, более 20 видов. Наиболее известна рыба

Святого Петра, которую когда-то готовили и подавали Иисусу Христу. Теперь её можно отведать в местных ресторанах. Это цихлидовая рыба, разновидность африканской тилапии, хороша запечённая в фольге с оливковым маслом и чесноком, отлично идёт под местное полусладкое шардоне.

По берегам Кинерета всегда полно людей с удочками, но если им попадается сомик, то не берут, отпускают. В некоторых местах там можно видеть стайки уже почти ручных сомов, которые подплывают к берегу, а туристы их кормят.

В общем, мы собрались и выехали на сомов на трёх машинах. Четыре парня и две молодки, все – выходцы из стран бывшего СССР. Был апрель, Иордан разлился после сезона дождей. Когда мы прибыли на место, которое находилось недалеко от впадения Иордана в Кинерет, то увидели громадный плоский луг, залитый везде водой по колено. В воде, кстати, густо плавали стайки разной рыбёхи...

И тут удивление охватило меня! В своё время с отцом мне приходилось ловить сомов на Волге и Ахтубе, поэтому я знал, что это рыба придонная, на мелководье если и выходит, то на очень короткое время – быстро что-нибудь схватит и обратно в омут. Причём всегда старается, чтобы буквально рядом, на расстоянии одного броска, была спасительная глубина... А тут – сплошной «лягушатник» с травяным дном, хорошему сому и окунуться толком некуда.

Но было не до вопросов. Мы выгрузились, наши дамы начали обустривать бивуак, а мы – готовиться к охоте. Надели шорты, старые кроссовки и бейсболки от солнца. Затем наш вожак вытащил свою острогу. Она была из нержавейки. Древко свинчивалось из двух колен, наконечник в виде трезубца, только зубов – пять. После чего нам был дан подробный инструктаж, и вожак начал охоту. Он взял острогу и вошёл в воду, передвигался медленно, вглядываясь. Мы молча следили с берега. Зайдя довольно далеко и побродив почти полчаса, он вдруг встал, осторожно выпрямился и начал делать нам руками знаки, о которых сообщил на инструктаже. По этим знакам мы вошли в воду цепью, осторожно прошли ещё дальше вожака и встали возле ориентиров, которые были нам указаны. После этого он перевёл острогу в боевое положение, то есть держал двумя руками, концом к воде, и подавал нам сигналы уже кивками головы. Мы стали осторожно приближаться к нему от одного ориентира к другому, сжимая полукольцо. Через какое-то время получили приказ стоять, затем по сигналу вожака то один, то другой делали небольшие всплески ногами. Наконец охотник ударил в воду своей острогой, и она закипела! Тут уж мы побежали к вожаку. Острога прижимала ко дну мощную рыбину, бившую хвостом-плёсом во все стороны, вода краснела кровью, но сом не сдавался. Однако ребята быстро спеленали его имевшейся у них сетью.

На берегу я разглядел наш трофей подробно. Весил он почти 70 кг. По виду и окрасу почти как наши сомы, только усов – восемь штук, ну и в строении морды небольшие отличия. Далее охота пошла так: всё то же самое, только выискивать рыб должны были уже мы, а не вожак. Всего мы добыли трёх сомов, все по весу такие же здоровяки.

Последним вызвался искать «дичь» я. Медленно я пошёл в том же направлении, что наш вожак и искатель, работавший передо мной. Мне объяснили, что эти сомы ходят стаей и где был один, там и другие неподалёку. Всё сошлось, я обнаружил своего красавца метрах в пятнадцати от того места, где был пойман наш первый трофей. Мой усатый лениво шевелил плавниками возле небольшого куста в стайке мелких рыб. Я увидел его на расстоянии метров пяти-семи от себя. Тут же сделал соответствующий сигнал партнёрам. Вожак с острогой двинулся ко мне, а остальные – к ориентирам, которые были мною указаны. Когда охотник встал возле меня, то я ушёл к месту, которое было мне предназначено.

Далее всё произошло, как уже описывал, то есть мы подогнали рыбину к охотнику на расстояние броска, и он ударил. Затем у нас был часа на два пикник с шашлыками из индейки, во время которого я узнал много интересного. Сомы в Иордане – это клариевые сомы, родственники африканских. От европейских сомов отличаются тем, что не боятся мелководья, любят сбиваться в стаи и даже способны передвигаться по суше из водоёма в водоём наподобие угрей. А вот быстро двигаться подолгу не любят, как и наши, европейские усачи. То есть хватают добычу с одного короткого броска, не гоняясь за ней подолгу, вроде щуки. Так же и от опасности уходят – короткими перебежками, поэтому их и можно подогнать к охотнику на расстоянии удара, слегка подпугивая с нужных сторон.

Когда возвратились и поделили добычу, то я согласился взять не более 5 кг, но и получил одну из самых мясистых частей. Жирны эти сомы необыкновенно! От этого мясо – нежнейшее. Большую часть я пустил на котлеты, а примерно полтора кило присолил, разрезав толстыми ломтями, потом развесил ночью над палубой своей яхты в бухте Средиземного моря, и на ночном бризе к утру ломти покрылись сухой корочкой. После этого я их завернул в хлопковые тряпицы, положив на месяц в нижние ящики холодильника по рецепту моей бабушки. Через месяц извлёк, пригласил друзей по давешней охоте и угостил их. Восторгам не было конца! Сначала они решили, что я привёз из России какой-то необыкновенный балык из осетрины, а как узнали что к чему, то тут же решили снова как можно скорее выловить и себе иорданского сома. Вот только Иордан уже вошёл после разлива в свои обычные берега.

В мае 2013 года один мой старый знакомый предложил мне совершить на его яхте переход по внешним греческим островам: Кипр, Родос, Карпатос, Касос, Крит. Поскольку его вес и здоровье уже не позволяли ему осуществить это в качестве капитана, то на эту роль он пригласил меня. Мы вышли из израильской Хайфы на парусно-моторной пятнадцатиметровой яхте в сторону Кипра в составе четырёх человек, на этот переход к нам присоединился ещё один знакомый со своим 10-летним сыном. Всё время до Кипра мы шли на моторе против волны и ветра, что очень нас утомило. Этот переход занял 36 часов.

По прибытии на Кипр мы заправились горючим и поплыли в город Ларнаку, где видели розовое солёное озеро, которое наполняется

водой только в зимнее время, когда на него прилетают стаи фламинго. Затем побывали в городе Пафос, где поспешно осмотрели какие-то древнегреческие развалины. После чего отплыли непосредственно в Грецию, в направлении острова Крит. По пути туда мы вынуждены были укрыться от шторма у острова Карпатос, где пришлось бросить якорь под берегом, на который выходила взлётная полоса местного аэродрома. А это запрещено местными законами. Мы просто не смогли зайти из-за шторма в порт, но полиция с этим не посчиталась и арестовала нашу яхту на неделю. Пока мы стояли под арестом, вынуждены были снабжаться с помощью местных рыбаков, покупая у них хлеб, овощи и свежую рыбу. Рыба была похожа на нашего леща, только разноцветная и яркая, а ещё мы брали у них моллюсков, похожих на устриц, которых и ели живыми с лимоном. Тут же я впервые увидел крупных ракообразных, похожих телом на лангустов, с очень интересным строением головы, которая была без усов и клешней. Рыбаки не продавали этих существ, а сдавали по контракту перекупщикам для ресторанов.

А ещё я научился ловить местных осьминогов. Люблю делать из них супы. Снасть делалась просто. На конец лески привязывалась пара тройных крючков якорьком, над ними грузик, над грузиком ленты белого полиэтилена, так, чтобы напоминали мелкого осьминожку. Всё это – на глубину метров в двадцать и подёргивать. Осьминоги, оказывается, большие каннибалы и едят себе подобных. Из осьминогов я готовлю «сиреневый» суп, потому что их чернильный мешок отчистить до конца невозможно, вот они и красят бульон. Зато во многих прибрежных тавернах Греции очень популярен суп из каракатиц, сваренных в собственных чернилах!

Следующим нашим островом был Касос, там тоже укрывались от шторма ещё три дня, вынужденно любясь его старыми мельницами. Когда-то на этом острове мололи муку для половины Греции. А ещё там полно диких овец, которые пасутся сами по себе, а туземцы их отстреливают, если нуждаются в мясе. В тихую погоду мне удалось понырять у берегов Касоса и Карпатоса и сравнить фауну севера Средиземного моря и юга. Разница была разительной. У греческих берегов на дне целые поля водорослей, полных живности, особенно много осьминогов, а также ракообразных, похожих на креветки, есть много морских губок. А вот у южных берегов дно песчаное, много крабов и мало водорослей, осьминоги довольно редки, но много каракатиц.

После Касоса наконец попали на Крит. Там я увидел существо, которое называют «морской ангел». У поверхности моря на небольшой глубине медленно выплыло что-то треугольное и разноцветное, практически без хвоста. Вернее, хвост был одним из углов треугольника, два других угла двигались на манер крыльев, а между ними была голова, похожая на голову тритона. Этот «ангел» удивил своей безбоязненностью и каким-то дружелюбием. К нему можно было приблизиться, погладить, почесать низ головы, после чего существо спокойно уплыло дальше. Когда до него дотрагиваешься, то оно очень интересно меняет свои цвета, переливается ими. На Крите, в городе Аджос-Николаос, пошёл в местный ресторан и там на витрине с коло-

тым льдом среди других свежих морепродуктов увидел те ракообразные существа, что были у карпатосских рыбаков. Рыбаки и работники ресторана называли их «каравеллами». Я заказал приготовить себе две небольших «каравеллы» в сливочно-чесночном соусе с местным пивом «Кали», которое очень светлое, почти белое, с большим количеством хмеля. Эта «каравелла» была недёшева, но стоила своих денег. На вкус она была похожа на свежую королевскую креветку, но гораздо нежнее, сочнее и насыщеннее. Разумеется, «каравелла» была ещё и значительно больше королевской креветки.

На Крите мы оставили яхту и несколько дней поездили по Греции с обычными экскурсиями. Потом вернулись и поплыли восвояси. На этот раз погода была за нас. Три дня на парусах шли до Кипра, а оттуда уже напрямую к месту назначения, в Хайфу.

Между Критом и Кипром наконец удалось порыбачить на спиннинг, поймали двух тунцов по 10 кг каждый. В одну из ночей яхта вспугнула стаю летучих рыб, она взлетела, несколько рыбок ударились о паруса и упало на палубу. До этого я ловил и видел летучих рыб Индийского океана, которые белого цвета с маленькими головами. Средиземноморские оказались черны и большеголовой. Но не менее вкусны в жареном виде.

Однажды днём за триста миль от ближайшего берега на яхту залетела птичка, похожая на синицу, но с более коротким хвостом. Посидела на поручне, а после впорхнула в салон, села на край стакана с холодным чаем и напилась из него, не обращая внимания на моего партнёра, который сидел тут же, за столом, перед этим своим стаканом. Напившись, птаха радостно улетела с яхты.

В другой день яхту облепила огромная стая здоровенных стрекоз, похоже, их занесло в море штормовым ветром. Они сидели у нас часа три, потом снялись и полетели в сторону берега.

От Кипра до Хайфы добрались без приключений.

И только уже в России я увидел по телевизору то существо, которое в Греции звали «каравелла». Однако теперь специалист разъяснил, что на самом деле это – морская цикада, больше всего их обитает в Адриатическом море у берегов Греции и бывшей Югославии, и это действительно один из самых ценных морских деликатесов».

ЧЕШМА

Недавно перебирал старые бумаги и совершенно неожиданно наткнулся на давно и прочно забытый черновик. Я написал его в конце мая 1985 года по просьбе редакции молодёжной газеты «Молодой ленинец», изложив в нём свои впечатления от Болгарии, из которой только что вернулся после турпоездки.

Что-то не сложилось тогда, и мой материал не напечатали. Я привожу здесь этот рассказ полностью в том виде, как он и был написан, чтобы ясно ощущалось, какими глазами в те времена мы смотрели на мир и как мир в них отражался...

Сорокалетие Победы над фашизмом Болгария отмечала торжественно. Это проявлялось и в том, что нас, советских туристов, приехавших на отдых в мае, окружили особым вниманием. В нашей группе был фронтовик-орденоносец из учхоза Горная Поляна Алексей Ильич Копылов. Его приглашали на митинги в школы, на разные предприятия. Однажды выступал Александр Ильич перед работниками обувного комбината «Добрич» в городе Толбухин. В уютном заводском кафе собрались болгарские ветераны войны, комсомольцы, руководители предприятия. Старые солдаты рассказывали о своём боевом прошлом, об интернациональной борьбе с фашизмом. Встреча быстро утратила официальный характер, превратилась в дружескую беседу людей, полных внимания и интереса друг к другу.

Добричане рассказали о своём производстве. Комбинат экспортирует обувь из натуральной кожи во многие социалистические страны. Она делается в соответствии с сезоном и модой, весь ассортимент обновляется каждые пять месяцев. С промышленным предприятием кооперируются многочисленные мастера-надомники из окрестных сёл.

Первое мая мы встретили в живописном городке Панагюриште. Он стоит среди гор, и его черепичные крыши утопают в зелени садов. Здесь, как и в других местах Болгарии, мы не чувствовали никакой скованности. Жители были так доброжелательны, что все члены волгоградской группы быстро обзавелись друзьями.

Однажды к нам в гостиницу пришёл художавый мужчина средних лет с дочерью-старшеклассницей местной гимназии. Звали их Петер Апостолович Петров и Павлина. В своё время товарищ Петров был командирован для работы в Алжир и там подружился с советскими специалистами из Волгограда. После возвращения на родину они начали писать друг другу письма, но в СССР Петер Апостолович ещё не ездил. Будучи наслышан о Волгограде, он решил воспользоваться случаем и познакомиться с его жителями.

Вечером Петровы пригласили нескольких человек из нашей группы в гости. Их семейный дом был построен пять лет назад, имел три этажа, вокруг были сад, огород и виноградник. Нас усадили в красивой горнице, угостили домашним вином, и пошла беседа о жизни, работе, семье. Петер Апостолович – агроном, член Болгарской коммунистической партии. Руководит бригадой в крупном тепличном комплексе, круглогодично выращивающем томаты для промышленной переработки и поставок в Советский Союз, а обогревается этот комплекс советским мазутом. У него трое детей.

В ходе разговора мы поинтересовались, как хозяин проводит своё свободное время. С некоторой торжественностью Петер Апостолович принёс чертежи. Дочь Павлина, которая лучше него говорит по-русски, перевела, что отец в свободные часы занимается строительством. Мы не сразу вникли, каким именно. А хозяин между тем демонстрировал хранящиеся во дворе материалы – 300 метров водопроводных труб, красивые каменные блоки, разные инструменты, а ещё познакомил со своим помощником-каменотёсом, который тоже

сейчас проживал в его доме. Когда мы поняли, зачем всё это Петрову нужно, то были ошеломлены! Оказалось, что Петер Апостолович по своей инициативе, на свои средства подводит к шоссе воду из горного ключа, чтобы каждый путник мог напиться чистой воды. По болгарской традиции такой источник выполняется в виде каменной стенки и часто оформлен как памятник, посвящённый историческим событиям или национальным героям, а называется он – чешма! Так вот, Петер Апостолович Петров от имени своей семьи возводит памятник всем героям, павшим 40 лет назад в борьбе с фашизмом.

На следующий день мы уезжали в Варну. На шоссе из окна автобуса увидели знакомую фигуру. Петер Апостолович работал со своим помощником. Мы сфотографировали стройку и тепло попрощались с гостеприимным хозяином. Впереди ждали море, отдых, веселье...

Время на побережье пролетело незаметно, и мы не обманулись в своих ожиданиях. Действительно, всё было организовано на самом высоком уровне. Но теперь, когда я вспоминаю Болгарию, в сознании прежде всего встают двое крепких мужчин на дороге, строящих для путников источник-чешму.

Для нашей группы это стало самым убедительным примером дружбы наших народов, подлинной человечности и доброты.



**Марк
БЕРКОЛАЙКО**

И ВЕРИТЬ, ЧТО В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...

Среди не признающих полумер
И на удар сполна дающих сдачи,
Среди веселья слышащих и зрячих
Зачем же вам незванными маячить,
Глухой Бетховен и слепец Гомер?

Зачем во дни, когда все жаждут песен,
Когда уже весь мир для танцев тесен,
Но смысла останавливаться – нет...
Зачем ты появляешься, Поэт?

То мудрый шут, то колокол и вече,
То Дон Кихот со сломанным мечом,
Ты гордо восклицаешь: «Я отмечен!»
Да, ты отмечен тем, что обречён

Копить по гранам всё, что есть святого
На небе, в море, в мире и в груди,
И верить, что в начале было Слово,
И знать, что не дано Его найти.

Ты обречён, нелепый мой магнит,
Отталкивать, желая притяженья,
И вспыхивать огнём воображенья,
Пугающим, как Эльмовы огни.

-
- Марк Зиновьевич Берколайко – прозаик, драматург, педагог, доктор физико-математических наук, профессор.

Художественную прозу публикует с 1970 годов. Пьесы ставили российские театры. Повесть «Седер на Искровской» и роман «Партия» изданы с допечаткой тиража; роман «Гомер» (2011) вошёл в лонг-лист премии им. Пятигорского и получил высокую оценку критики (рецензии в журналах «Знамя» и «Звезда»); в 2014 году вышел в свет роман «Фарватер». В 2016-м – роман «Инструменты» – «роман о великой любви, которая не от мира сего, но спасает в мире сем».

О поэзии Марка Берколайко в данном номере см. статью журналиста Нины Шаталиной «Книги Судеб изрядный кусок».

Ты обречён на глянец и почёт,
А это самый худший вид забвенья.
Анализ твоего самосожженья
Всего абзац в учебниках займёт.

Мы хмельны сейчас с тобою,
Как гусары после боя
Или бала!
После? – Тусклое, брат, слово.
К чёрту! Начинаем снова,
Всё – сначала!

Руки-ноги уцелели,
Голова – и та при деле –
Вот везуха!
Хоть хлебнули горя-лиха,
И сдавала карты лихо
Смерть-старуха.

И на острие булавки
Спляшешь резво, коли ставка –
Кровь из вены.
Крупная игра – для крепких,
Ну, да мы не худшей лепки
Джентльмены.

Злой наукою не сыты,
Мы опять – что два небитых
Новобранца.
Дело за немногим стало:
Где ж то самое начало –
Разобраться.

*Путь из Мекки в Медину –
это важнейший этап хаджа (паломничества)*

Для кручины – нет причины!
Жив.

Тащу посильный груз.
Разве только вот седины
Или то, что до Медины
Всё никак не доберусь.

Неоплаченные чеки,
Гонки, как на велотреке, –
Всё вперёд, да не вперёд...
То ли вышел не из Мекки,
То ли, может, компас врёт.

Оттого ль, что сны простые,
Сны не вещи, пустые
Вижу, суетой томим,
Но с небес в мою пустыню
Не слетает Серафим.

Вижу комиксы и фарсы,
Снятся те,
 кого забыл –
С кем когда-то недодрался
И кого недолюбил...

Снится битая посуда.
Снится стылая вода.
Снится, что живой покуда,
Всё бреду –
 невесть откуда
И неведомо
 куда.

*Об одном шествии,
случившемся зимой 1984 года*

По улице, где мясокомбинат,
Первичное сырьё – худых телят –
Навстречу новым, но последним бедам
Вёз повидавший жизнь грузовичок...

Вёз не спеша.
 Ещё один бычок,
Как безутешный друг,
 тянулся следом...
Вернее, не тянулся,
 был влеком
Верёвкой, туго стянутой на шее,
Был путь его припорошён снежком,
А улица,
 сбивая звуки в ком,
Гремела
 нечто вроде
 «Агнус Деи».

Визжали тормоза – и затихал
Смиранных отпевающих хорал.
А глаз очередного светофора,
Багровый, как мулета матадора,
Бычку другую участь предлагал:
Не обух –
 но корриды пёстрый бал

*Астрофизики утверждают,
что Вселенная разбегаются.*

Физики! Мэтры и юные гении!
Как-то нелепо всё получается:
Вроде всемирный закон тяготения,
Но тем не менее мир разбегаются.

Всё разрывается силой таинственной,
Даже обнявшись, не удержаться.
Снова не пишет друг мой единственный,
Тот, с кем нельзя было мне разбегаются.

С женщиной, с той, что мне Богом намечена,
Сколько уж лет в отдалении маемся.
Помним любви нашей тайные вечера –
И разбегаемся! И разбегаемся!

Годы прожитые, годы-вериги,
Мимо проплывшие гордые бриги.
Бег ради жизни. Жизнь ради бега.
Всё разбегаются – Арктур и Вега,
Всё разлетается – Марс и Венера,
Новая эра и старая вера...

Физики мира! Лобастые гении!
Может, настала пора попытаться
Выдумать новый закон тяготения,
Не позволяющий нам разбегаются?

Гусарский плащ и рясу чернеца,
Колпак шута и тогу мудреца –
Всё примерял я в гвалте маскарада...

Но вот вчера похоронил отца,
И между мной и смертью – нет преграды.

*Интеллигентам, павшим в рядах
московского ополчения*

Не вестники победы – трубачи,
Вам вёрсты отступлений сбор трубили.
И вьюги,

вас оплакивая,

выли:

«Очкарики мои, бородачи!»
Вы, слуги совести, а не молвы,
В бессмертие входили без пароля.

И даже будь на то Господня воля –
Вы б и тогда
не отдали Москвы!

Я изучил науку расставанья...

О. Мандельштам

«Прощай!» – и сгинул мостик слов..
Я изучал науку расставанья
В дремотно-душных залах ожидания
И в пьяном гвалте праздничных столов.

Твердя, что повторенье – мать ученья,
Я постигал азы долготерпенья.
Лукавый вальс Вальпургиевых грёз
Мне зря сулил забвенья и утеху.
Я вспоминал –

и вспоминало эхо

Мой тщетный зов,
отчаянный, как «SOS».

В той школе никогда не правил разум,
Там ничего не отсекалось разом –
По свежим ранам
шёл тяжёлый плуг...

Там дни неслись в бесовском хороводе,
Там долгий дождь, шепча, что всё проходит,
Вставал стеной
спасительных разлук.



Нина
ШАТАЛИНА

«Книги Судеб изрядный кусок»

9 ноября 2016 года Областная научная библиотека Саратова организовала встречу читателей с Марком Берколайко, специально приехавшим для этого из Воронежа, где писатель живёт и работает с конца шестидесятых годов. А вырос он и получил высшее математическое образование в Баку, в котором родился 8 мая 1945 года – согласно семейному преданию, чуть ли не в час подписания Акта о капитуляции Германии. Думается, такие совпадения случайными не бывают...

Несколько слов о самой встрече с писателем. Но вначале о погоде. Как говорил О. Уайльд: «Когда люди заводят со мной разговор о погоде, я с несомненностью чувствую, что они имеют в виду что-то другое». Конечно, другое. Но погода 9 ноября 2016 года была ужасная. С утра лил не переставая дождь. Ближе к 16 часам – времени встречи – поднялся еж и шквалистый ветер. Зонтик не спасал – его самого надо было спасать, так как вывернутый наизнанку, он, как спичка, мог сломаться в любую секунду. И всё-таки на встречу, несмотря на непогоду, собрались 40 человек.

Пересказывать то, о чём говорил все два часа Марк Берколайко, дело неблагоприятное. Просто не получится. Но вот впечатления, которые остались у слушателей, можно и процитировать. Мэтры журналистики Галина Платоновна Муренина (директор Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского) и Виктор Михайлович Сторчак, полвека отдавший областной газете «Саратовские вести», чуть ли не в один голос отметили, что «за их долгую жизнь в Саратове город не принимал такого интересного человека, как Марк Берколайко».

Процитирую высказывание заместителя директора музея К. А. Федина Елены Мазановой: «Абсолютный профессионал. Достоин большей аудитории. Идёт перекличка с Диной Рубиной. В следующий раз – встреча в музее Федина с писателями и серьёзным обсуждением романа».

Я тоже надеюсь, что «серьёзное обсуждение романа» предстоит. Только другого.

Издательство «Время» (Москва) выпускает очередной – пятый – роман Марка Берколайко. Теперь уже о Шекспире. Я его прочла в рукописи – и восхитилась.

Профессор математики и экономики, прозаик и драматург (и поэт, настаиваю на этом – и поэт!) Марк Берколайко поставил перед собой грандиозную задачу: предложить романтическую и одновременно правдоподобную версию об истинном авторстве шедевров Шекспира. И справился, мобилизовав для этого свою безудержную фантазию, абсолютный профессионализм и способность проникать в области неведомого.

Узнав, что писатель ещё и математик, Алёна Соболева – физик, внучка саратовского писателя, лауреата Госпремии СССР Григория Коновалова – сказала: «Наш человек!» Действительно наш: избегающий громких слов, но умеющий математически точно затронуть давно, казалось бы, смолкнувшие струны души. Об этом говорит и стихотворение «Физики! Мэтры и юные гении!» – не крик ли это последней надежды о «новом законе тяготения, / Не позволяющем нам разбежаться?»

Две мои рецензии на романы Марка Берколайко – «Фарватер» (декабрь 2014 г.) и «Инструменты» (август 2016 г.) – опубликовал журнал «Волга-XXI век». Но всё же по роду моих публикаций можно понять, что поэты меня интересуют в большей степени, чем прозаики. И, учитывая обширный круг интересов воронежского прозаика и драматурга Марка Берколайко – а он легко усматривается в опубликованных романах, – я подумала, что не может такой человек не писать стихи. На соответствующий мой вопрос Берколайко ответил, что был такой короткий период ещё в советское время, когда он пробовал что-то рифмовать, но понял, что до поэтических вершин не доберётся: «Любой человек, Нина, обладающий минимальным даром слова, сможет написать несколько стихотворений из разряда «вполне себе ничего». Но для большего уже требуется подлинный талант». На мою просьбу прислать хотя бы

пару-тройку стихов последовало категорическое: «Нет!»

Переписка с писателем продолжалась, и моё упорство преодолело его прохладное отношение к своим стихам. Услышав наконец: «Делайте вы с ними, что хотите...», сочла это «благословением» и решила познакомить читателей журнала со стихами Марка Берколайко, написанными в 1983–1988 годах.

Если прочтение романов Берколайко требует основательной, специальной подготовки, то в его стихах – ценимое мною пережитое состояние души очевидно и доступно всем. И нельзя не ощутить яркую энергетику публикуемых стихов, их иногда чуть ли не беспощадную мужественность.

Вот первое же стихотворение подборки: «Среди не признающих полумер», в котором задаётся вопрос: «Зачем ты появляешься, Поэт?» На что поэт гордо отвечает: «Я отмечен!» Но автор неумолим: «Да, ты отмечен тем, что обречён / Копить по гранам всё, что есть святого / На небе, в море, в мире и в груди, / И верить, что в начале было Слово, / И знать, что не дано его найти»...

*Ты обречён на глянец и почёт,
А это самый худший вид забвенья.
Анализ твоего самосожженья
Всего абзац в учебниках займёт.*

Горько? Да. А кто сказал, что призвание – это «на сладкое»?

Стихотворение «Я рад зиме...» подвигло меня перечитать «Большую элегию Джону Донну» Иосифа Бродского, потому что поэты – с их темой белого снега, темой мучительного стремления к его чистоте и восхищения щедростью Творца, которую символизирует густой снегопад, – словно бы встречаются, не зная друг друга:

*...И каждый стих с другим как близкий
брат,
хоть шепчет другу друг: чуть-чуть
подвинься.
Но каждый так далёк от райских врат,
так беден, густ, так чист, что в них –
единство.*

(Иосиф Бродский)

*...В других краях
снег радует кого-то,
Другой зиме
снег дарит белый цвет,
Он там, вдали,
просыпанный без счёта,
Порхая, кружит, как кордебалет.*

(Марк Берколайко)

Воронежский писатель рассказал мне, что стихи его («вопреки всякой логике») в 80-е годы публиковались в газете под названием то ли «Калининградский рыбак», то ли «Рыбак Калининграда». Может быть, это оттого, что поэзия – не «пресволоочнейшая штукавина» (В. Маяковский), а странная штукавина – и странность эта помогает ей выживать среди несоответствий времени и места?

Правда жизни, передавать которую в слове без прикрас Берколайко – мастер, оказывается порой пугающей. Из публикуемой подборки стихов более всего меня «встряхнуло» стихотворение «По улице, где мясокомбинат...» – «об одном шествии, случившемся зимой 1984 года». Ну, возили в советское время каждый день на мясокомбинат «первичное сырьё – худых телят». Но кто обращал на это внимание? Да никто! Но писатель увидел ещё одного бычка, не уместившегося, видимо, в грузовичке и с верёвкой на шее шагающего вслед за ним к своей гибели. Шествие было медленным, светофоры отодвигали неминуемый час:

*Визжали тормоза – и затихал
Смиранных отпевающих хорал.
И глаз очердного светофора,
Багровый, как мулета матадора,
Бычку другую участь предлагал:
Не обух –*

*но корриды пёстрый бал
И острой шаги точную репризу...
Бычок кидался, принимая вызов, –
Но грузовик его не отпускал...*

Вопросы:

За что?
Кому в науку?
Чьим указом
Он так многозначительно наказан
«Евангельским» восшествием на казнь? –
заканчиваются горькой усмешкой:

*Ему и на судьбу роптать неловко.
Где ж здесь судьба? Здесь грузовик,
верёвка
И план по производству колбасы.*

Усмешкой, да... Только вот образ грузовичка, в котором кто-то едет навстречу своей участи, а кто-то – Судьбе; кто-то – падению, а кто-то – Вознесению, возникает и становится символом и в романе «Фарватер» (2014 год) и в последнем из опубликованных – «Инструменты» (2016 год).

Тридцать два года этот образ «преследует» писателя. Воистину, «Книги Судеб изрядный кусок»...

Эпиграфом к одному из стихотворений подборки служит пояснение: «Путь из Мекки в Медину — это важнейший этап хаджа (паломничества)».

А начинается оно в почти плясовом ритме:

*Для кручины — нет причины!
Жив.*

*Ташу посильный груз.
Разве только вот седины
Или то, что до Медины
Всё никак не доберусь.*

Читаешь дальше — и понимаешь, что ведь вся непростая жизнь человека — это паломничество, это долгий и трудный путь «из Мекки в Медину»:

*Всё вперёд, да не вперёд...
То ли вышел не из Мекки,
То ли, может, компас врёт.*

Невозможно не затронуть тему любви, пропитывающую романы и стихи Марка Берколайко. Три стихотворения «Вам смутно, мне серо — давайте поссоримся!»; «Ваши пальцы, донна, пахли снегом»; «Прощай» — и сгинул мостик слов» (вошло в пьесу автора «Круженье под вальс к «Вальпургиевой ночи») по энергетике своей будто отражают три ипостаси человека — физическую, душевную и духовную.

Возьмём первое из них — «Вам смутно, мне серо — давайте поссоримся». Читаешь с улыбкой, вроде понимаешь, что это — шутка. Но мало того, что в ней, в шутке этой, весь автор — живой, темпераментный, с юмором, умный, знающий психологию женщины и, главное, умеющий быть победительным — разворачивает картину скандала с битьём посуды и чуть ли не с мордобоем. Но финальное признание... Какое женское сердце от него не дрогнет! «Быть может, хоть так убедимся воочию, / Что нам друг без друга — не жить».

Второе стихотворение — всего две строфы, «Ваши пальцы, донна, пахли снегом». Здесь уже пишет сама поэзия:

*Очертанья смысла разрушались
Смерчем слов, истрёпанных до пыли...
То ли, уходя, вы оставались,
То ли, оставаясь, уходили.*

Третье основывается на знаменитейшей строке О. Мандельштама «Я изучил науку расставанья...» — хорошо и динамично строится: («Твердя, что повторенье — мать ученья, / Я постигал азы долготерпенья. / Лукавый вальс Вальпургиевых грёз / Мне зря сулил забвенье и утеху. / Я вспоминал — / и вспоминало эхо / Мой тщетный зов, отчаянный, как «SOS»).

Но мудрый и просветлённый финал — как не отозваться на него душе читателя?

*В той школе никогда не правил разум,
Там ничего не отсекалось разом —
По свежим ранам*

шёл тяжёлый плуг...

*Там дни неслись в бесовском хороводе,
Там долгий дождь, шепча, что всё
проходит,*

*Вставал стеной
спасительных разлук.*

Уровень поэта я определяю для себя по тем строкам, которые я могла бы использовать в качестве эпиграфа к статье или большой повести. Стихи Берколайко с их спрессованной мыслью предоставляют не одну такую строку.

«Книги Судеб изрядный кусок» — название этой моей статьи не случайно: для Берколайко, чтобы охватить жизнь человека, государства да и, пожалуй, всего человечества (роман «Партия»), достаточно нескольких поэтических или прозаических строк. Если и не в полном объёме, то осветить её — жизни — «изрядную часть» писателю по силам.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



**Александра
ЖАДАН**

ЛИСТОПАД

В ДРУГОМ ГОРОДЕ

Ветер сильный. Душу рвёт – в клочья.
Но с настроем большой оптимистки
Я уеду сегодня же. Ночью.
Не оставив прощальной записки.

И прибуду в пустой электричке
В неизвестный истрёпанный город,
Где такие же в точности спички...
И проезда непростительно дорог...

Где такие же грешные души
Входят в Храм и звенят там монетой.
Те, кто мельче и попростодушней,
Ищут здесь же прощенья, совета.

Ветер стих. Вижу: с рейсом последним
Он приехал. Стоит на вокзале.
Скажем всё этим вечером летним,
Что друг другу мы недосказали.

-
- Александра Сергеевна Начинкина (псевдоним – Александра Жадан) родилась в Саратовской области, в Фёдоровском районе, в р.п. Мокроус. С детства выступала на мероприятиях с песнями. Позже стала писать стихи. В 2011 году окончила СГАП (Саратовскую государственную академию права). В настоящее время работает в МУК «ЦБС г. Саратова» (библиотека № 15). Автор сборника стихов «Пока жива моя душа». Публиковалась в коллективном сборнике «Душой согретая строка», в альманахе «Нетерпеливые строки». Руководитель литературно-поэтического клуба «Радуга» при библиотеке № 15. Победитель районных молодёжных Дельфийских игр (р.п. Мокроус, 2000), конкурса исполнителей народной песни им. Л. А. Руслановой (2000, 2003), конкурса «Мы дети одного Отечества» им. Пряхиной (2004), конкурса, посвящённого 60-летию Победы (2005). Дипломант районного и областного конкурсов «Звёздный дождь» (Саратовская область, 1998, 2001, 2005).

ДОЖДЬ

Дождь идёт
 стеной непрочной.
В окнах грусть и... тишина...
Я люблю уже заочно.
Я люблю.
Но я одна.

Дождь раскатом сеет ливень.
Я сожгла все письма.
А на сердце тает
 иней.
Пусть, намёрзлась я сполна.

И не властен даже лекарь
Над скупой тоской моей.
Дайте!!!
 Дайте человека...
Чтоб назвал меня своей.

АНТУРАЖ

Я тебе посвящала стихи,
Я тебе посвящала жизнь.
С каждой новой моей строки
Буквы тихо шептали: «Держись!»

Слово к слову стояло в ряд,
Выражая мой гнев и пыл.
По сей день так они стоят,
Как надгробия у могил.

Можно сжечь всю мою тетрадь,
И вообще, к чёрту сжечь тираж.
Но из памяти не убрать
Нарисованный антураж.

ТЫ ОДНАЖДЫ УЙДЁШЬ ПРОЧЬ

Ты однажды уйдёшь прочь
И забудешь мой адрес навек.
За тобой дверь закроет ночь,
Мой любимый, родной человек.

О тебе, может, вспомню вдруг.
Что таить? Буду помнить всегда,
Каждый час. Циферблата круг
Исчислит о тебе года.

Но ведь годы меня не сотрут.
Я всплыву в твоей памяти вновь.
И однажды ты сменишь маршрут
На беспмятную любовь.

ПОДРУГЕ

Помнишь, вместе на кухне сидели?
На столе остывал крепкий чай.
Было время, когда средь недели
Не давали друг другу скучать.

Вместе с пары и вместе на пары –
По холодным трамвайным путям...
Ведь с тобою подруги недаром...
А теперь мы сидим лишь в сетях.

Далеко ты. В сети, вроде, близко.
И никак не столкнёт нас Земля.
По щербатому старому диску
Наберу номерок «до тебя».

Помнишь, вместе с тобою сидели,
Остывал в кружках крепкий наш чай.
А пошлю-ка тебе средь недели
Пачку чая! На почте встречай!

ЛИСТОПАД

Кто-то любит смотреть на град.
А кому-то приятен дождь.
Ну а я люблю листопад,
Он во мне вызывает дрожь.

Он колышет мне каждый нерв
До озноба, до дрожи вдруг...
Иногда он не знает мер
И моих касается рук.

Он моих касается плеч.
Дарит нежность мне и покой.
И внушает, что можно сберечь
Всё, что было у нас с тобой.

Кто-то любит смотреть на град.
А кому-то приятен снег.
А вот я люблю листопад,
Он мечтателем, как человек.

ВСТРЕЧА

Вновь пришёл заснеженный ноябрь –
Нашей долгой жизни круговерть.
Нам с тобою раз всего хотя бы
Посмотреть глаза в глаза успеть.

Нам бы ощутить тепло друг друга
В дымке отрывных календарей.
Пусть тебе я буду – лишь подруга,
Но с тобою стали мы родней.

Наша встреча вовсе не случайна.
Мы о ней условились. И вот...
Я мешаю кофе ложкой чайной,
Растворив на дне поток забот.

Пусть тебе я буду – лишь подруга.
Стали просто опытно родней.
Мы условно живы друг без друга,
Потому что мы страстей сильней.



**Александр
ЛЕПЕЩЕНКО**

Продолжение.
Начало в №№ 11–12 2016, 1–2 2017, 3–4 2017

СМЕШНЫЕ ЛЮДИ

Роман

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Холодно. Снег падать перестал.

Неясная луна выявилась на небе. Безрадостный свет её проникал в самый укром души. Проникал и Набоков, чьё стихотворение я только что прочёл. Написанное на годовщину смерти Достоевского, оно удивляло, особенно концовкою:

*Труп гниющий, трескаясь, раздулся,
полный склизких, слипшихся червей...
Иоанн, как дева, отвернулся,
Сгорбленный поморщился Матфей...
Говорил апостолу апостол:
«Злой был пёс, и смерть его нага,
мерзостна...»
Христос же молвил просто:
«Зубы у него – как жемчуга...»*

Удивление моё возрастало.

В предисловии к поэтическому сборнику имелась выразительная автохарактеристика Набокова: «...я был своего рода хранителем личного музея и культивировал византийскую образность... иные читатели ошибочно усматривали в этом интерес к «религии», хотя последняя, если не считать чисто стилизаторских задач, всегда оставляла меня равнодушным...»

Что это? Двойственность натуры?

Пожалуй, ведь некоторые стихотворения «Горнего пути» и «Грозди» поражают искренностью. Не смог бы Набоков сочинить их, не веруя в Христа. Да, он выплеснул потом на страницы романа «Отчаяние» мысль о том, что «небытие Божье доказывается просто...» Но здесь, в отрицании, пафос... Набоков... он же

достиг страсти «подпольного человека» Достоевского... Чёрт возьми! А ведь на протяжении всей жизни «супостат» Достоевский вызывал у него неизменную ярость... Может, поэтому и вызывал, что у самого бездн не получилось, а получились патологии?

...Ночью работа над романом начала расширяться.

Точно зная, о чём должен теперь рассказать, я сел за ноутбук.

«Раздвоенность, – писал Ф. М. Достоевский одной давней знакомой, – самая обыкновенная черта у людей, не совсем, впрочем, обыкновенных. Черта, свойственная человеческой природе вообще, но далеко-далеко не во всякой природе человека встречающаяся в такой силе, как у вас. Вот и поэтому вы мне родная, потому что это раздвоение в вас точь-в-точь как и во мне... Это сильное сознание, потребность самоотчёта и присутствие в природе вашей потребности нравственного долга к самому себе, к человечеству. Вот что значит эта двойственность».

Но Достоевский никогда не ставил в один ряд с двойственностью другое её проявление – разрыв между мыслью и волей, то есть этическую беспринципность. Поэтому всё и проверял совестью. «Он разговаривал со своей совестью, как с человеком».

Я вскочил из кресла и шагами стал мерить кабинет.

Работа не клеилась. Вспомнились Владимир Набоков и будто к нему обращённые слова Достоевского: «В поэзии нужна страсть, нужна ваша идея и непременно указующий перст, страстно поднятый. Безразличие же и реальное воспроизведение действительности ровно ничего не стоит, а главное – ничего не значит...»

«Фёдор Михайлович, – корябнуло меня, – мало ценил художников, в которых видел слабость мысли или гражданскую пассивность... «Факты. Проходят мимо. Не замечают. Нет граждан, – возмущался он, – и никто не хочет поднатуриться и заставить себя думать и замечать».

...Осмыслив всё и успокоившись, я стал писать.

«Предчувствовал ли Достоевский, что под его пером в те дни рождались страницы, которые повлияют потом на развитие не только русской, но и мировой литературы? Предугадывал ли он это, работая над «Записками из подполья»?

21 марта 1864 года – своеобразная скрепа.

Читатели, долго ожидавшие возрождения журнала, получили наконец первый номер «Эпохи».

Новый журнал братьев Достоевских представлял собой двойную книгу за январь и февраль. Фёдор Михайлович успел поместить здесь изувеченное цензурой начало «Записок из подполья».

«Подполье, подполье, – вспоминал впоследствии Достоевский, – поэт подполья, фельетонисты повторяли это как нечто унижительное для меня. Дурачки, это моя слава, ибо тут правда.

<...> Причина подполья – уничтожение веры в общие правила. Нет ничего святого».

...Работу окончательно заколодило.

Набоковские двойники – его многочисленные «я» – будто возникли предо мной.

– Послушай, – зашептали они, – нет ничего святого. Да и стремление супостата Достоевского к единению со всем миром и всем человечеством – это, конечно, не общая русская идея.

– Но ведь единение возможно... была бы любовь, – не соглашался с двойниками я.

– Какая ещё любовь? – обступили меня со всех сторон непрошеные гости.

– А вы не знаете? – прикрикнул я. – Та любовь, которая, по слову апостола, долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине... всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит...

Двойники смешались, густо зарозовев, и попятились, а я продолжал говорить:

– Перенесли же прошлые поколения разделённость... А ведь это преподобный Сергей, игумен Радонежский, оформил и пустил в мир русскую идею о единении... Андрей Рублёв, Достоевский, Тарковский поняли её и творчески осмыслили... И появились «Троица», и великое Пятикнижие, и фильмы – предчувствия перемен...

Я был безотчётно взвинчен.

«Мысленный спор с Набоковым закончился, но победитель не получил ничего. Да и был ли победитель? Скорее, это прошлое и грядущее вдруг переглянулись... Всё написанное Набоковым было стилистически блестяще. Всё, что ещё только предстояло написать мне, должно было быть исключительно честным...»

Тихо, но настойчиво я повторял и повторял: «...источник милости и непостыдного спасения нашего надежда, Христе Боже наш... ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

...Мороз пособничал метели.

А вдалеке то ли злые собаки выли, то ли уходящие в дикую зимнюю ночь поезда.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Снег осыпался бело...

Верлен сказал бы, что наступил «час неуютя и озноба, пронзительного лая псов».

Не замечая тревожного трепета теней за окном, я писал, пока ночь не превратилась в раннее утро. Потом сократил новую главу примерно на треть и снова прочёл...

«Я горжусь, что впервые вывел, – говорил Ф. М. Достоевский, – настоящего человека русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости.

<...> Болконский исправился при виде того, как отрезали ногу у Анатоля, и мы все плакали над этим исправлением, но настоящий подпольный не исправился бы».

...И вот неожиданно зазвучала в голове моей исповедь доктора Джекила из повести Стивенсона: «...душевная двойственность по-прежнему оставалась моим проклятием, и когда первая острота раскаяния притупилась, низшая сторона моей натуры, которую я столь долго лелеял и лишь так недавно подавил и сковал, начала злобно бунтовать и требовать выхода... Я снова поддался искушению обмануть собственную совесть, оставаясь самим собой, и не устоял перед соблазном, как обыкновенный тайный грешник».

«Всё своевольной свободы хотел этот Джекил, – придавила мысль. – Других погубил и себя...»

Подивившись тому, что память столь избирательна, я придвинулся к ноутбуку.

«Позднее Достоевский высказался о явлении «подполья» – об одном из главных своих художественных открытий – более подробно. Он писал: «Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и невозможности достичь его и, главное, в ярком утверждении этих несчастных, что все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться!..»

Что может поддержать исправляющихся? Награда? Вера?

Награды – не от кого, веры – не в кого... Ещё шаг отсюда – и вот крайний разврат, преступление (убийство). Тайна».

Но и сами «Записки из подполья» являют некую тайну.

Повесть строится на основе художественного контрапункта. Разные голоса поют различно на одну тему. «Всё в жизни контрапункт, то есть противоположность», – заметил один из любимейших композиторов Достоевского, Михаил Глинка.

«Впервые в гениальной диалектике «Записок из подполья» Достоевский делает целый ряд открытий о человеческой природе, – писал Николай Бердяев, – открытия... определяют судьбу Раскольникова, Ставрогина, Ивана Карамазова...»

Другими словами, но о том же говорила и корректор журнала «Гражданин» Варвара Васильевна Тимофеева: «...я впервые прочла тогда этот ад и пытки самобичевания, самоказни – и впечатление было особенно тяжело для меня потому, что сначала я никак не могла разъединить в моём сознании личность автора от героя «Записок», и благоговение к «пророку Достоевскому» невольно сменялось то восторгом к художнику-психологу, то отвращением к чудовищу в образе человека, то ужасом от сознания, что это чудовище дремлет в каждом из нас – и во мне, и в самом Достоевском...»

Конечно, в каждом! Говорил ведь антигерой «Записок из подполья», что «мы мертворождённые».

«Характерно, что «подпольный человек» фамилии не имеет, – подметил Василий Розанов, – имя его не сказано. Просто – человечество! Всё! – И добавил: – «Записки из подполья» есть unicum в русской литературе, ни на какое другое произведение в ней не похожее, чрезвычайно ценное и многозначительное, не «войдя» в которое совершенно нельзя понять Достоевского».

Цензура и не поняла.

Первая часть «Записок из подполья» изувечена.

Достоевский возмущён: «Свиньи цензоры, там, где я глумился над всем.. для виду, – то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и Христа – то запрещено...»

И запрещено не только из-за скудоумия чиновников. Как отмечал Н. Н. Страхов, в 1863 году совершился глубокий перелом общественного настроения: «После величайшего прогрессивного опьянения наступило резкое отрезвление и какая-то растерянность». Впрочем, Страхов явно упрощает. Именно этот год знаменует поворот и правительства, и общества к политической реакции. Журнал братьев Достоевских, разорвав окончательно с нигилизмом, истово полемизирует с «Современником».

Полемичны и «Записки из подполья». «Это первая у Достоевского критика социализма, – утверждал впоследствии Леонид Гроссман, – первое открытое провозглашение эгоцентризма и аморального индивидуализма».

Но если в творчестве у Достоевского прозрения и новый шедевр, то во всём остальном лишь «горечь» и «самая холодная суетня».

Несмотря на то, что в «Эпохе» участвовали Тургенев, Островский, Фёдор Достоевский, Аполлон Майков, Плещеев, Полонский и другие известные литераторы, журнал еле выдержал первый и единственный год своего существования. «Он скончался, – писал А. Гроссман, – естественной смертью на своей тринадцатой книжке, по календарному счёту февральской, но вышедшей в свет 22 марта 1865 года».

Пожалуй, стоит обратиться и к свидетельству самого Достоевского о делах «Эпохи», обо всех потерях. В 1865 году Фёдор Михайлович отправил письмо А. Е. Врангелю.

Вот оно, это несколько сокращённое послание:

«Милый, добрый друг, Александр Егорович..»

<...> Надо было удовлетворить прежних подписчиков, которые не получили расчёту при прекращении «Времени»... Так как новых подписчиков «Эпохи» почти не было, а были всё старые, досылавшие по шести рублей, то, стало быть, брат должен был издавать журнал себе в убыток. Это окончательно его расстроило и доконало... Я был в Москве, подле умирающей жены моей... Я переехал – вслед за нею, не отходил от её постели всю зиму 64-го года, и 16 апреля прошлого года она скончалась... Бросился я, схоронив её, в Петербург, к брату, – он один у меня оставался, но через три месяца умер и он <...>

После брата осталось всего триста рублей, и на эти деньги его и похоронили. Кроме того, до двадцати пяти тысяч долгу, из которых десять тысяч долгу отдалённого, который не мог обеспокоить его семейство, но пятнадцать тысяч по векселям, требовавшим уплаты <...> Семейство, отказавшись от наследства, по закону не обязано было бы ничего и платить. Я же во все эти пять лет, работая у брата и в журналах, зарабатывал от восьми до десяти тысяч в год. Следственно, мог бы прокормить и их и себя, – конечно, работая с утра до ночи всю жизнь. Но я предпочёл второе, то есть продолжать издание журнала. Не я, впрочем, один предпочёл это. Все друзья мои и прежние сотрудники были того же мнения <...>

Я решился. Поехал в Москву, выпросил у старой и богатой моей тётки 10000, которые она назначала на мою долю в своём завещании, и, воротившись в Петербург, стал додавать журнал <...> читал корректуры, возился с авторами, с цензурой, поправлял статьи, доставал деньги, просиживал до шести часов утра и спал по 5 часов в сутки, и хоть вёл в журнал порядок, но уже было поздно. Верите ли: 28 ноября вышла сентябрьская книга, а 13 февраля январская книга 1865 года, значит, по 16 дней на книгу, и каждая книга в 35 листов. Чего же это мне стоило! Но главное, при всей этой каторжной чёрной работе я сам не мог написать и напечатать в журнале ни строчки своего. Моего имени публика не встречала, и даже в Петербурге, не только в провинции, не знали, что я редактирую журнал.

И вдруг последовал у нас всеобщий журнальный кризис. Во всех журналах разом подписка не состоялась. «Современник», имевший постоянных 5000 подписчиков, очутился с 2300. Все остальные журналы упали. У нас осталось только 1300 подписчиков.

<...> мы не можем, за неимением денег, издавать журнал далее и должны объявить временное банкротство. <...> Из всего запаса моих сил и энергии осталось у меня в душе что-то тревожное и смутное, что-то близкое к отчаянию. Тревога, горечь, самая холодная суетня, самое ненормальное для меня состояние, и вдобавок – один, – прежних и прежнего, сорокалетнего, нет уже при мне...»

Теперь у Достоевского нет ни журнала, ни близких, а есть только слова, извиняющиеся в болезни, и огромные долги.

«Число кредиторов умершего издателя журналов «Время» и «Эпоха» было так велико, – утверждал всё тот же Гроссман, – а суммы их вексельных взысканий так значительны, что только за год до смерти, то есть в 1879–1880 годах, Достоевскому удалось погасить долги (и то лишь ввиду исключительной энергии, которую вложила в это его жена, Анна Григорьевна)».

О второй жене писателя, Анне Григорьевне Достоевской, в девичестве Сниткиной, я решил рассказать в следующей главе – главе о свадьбе.

Свадьбе, как известно, предшествовала многотрудная работа над «Игроком». Днём Фёдор Михайлович надиктовывал Анне Григорьевне то, что потом ночью она расшифровывала и переписывала набело. Когда роман к определённом издателем Стелловским сроку был закончен, Достоевский сделал стенографистке своей предложение, и она приняла его.

В общем, история эта крепко застряла у меня в голове. Оставалось лишь написать её.

...Ветер вымел с улиц прохожих, а теперь покусывал щёки и мне.

Я затворил окно и погасил торшер, горевший мрачным, жёлтым, как умбра, светом... Лёг, долго ворочался: всё казалось, что какое-то чудовище дремлет во мне. Возможно, это был Хайд – уродливый двойник доктора Джекила.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Яхта стояла в чёрных тенях.

Пахло умершей травой и сыростью.

Вместо лица у Хайда был круг красного мяса, с каймой тёмных, жёстких волос. Он завязал рюкзаку горло, повертел в руках молоток, огляделся и пополз вперёд. Когда он поднялся и бросился, я открыл глаза и перекатился к левому борту. Это сохранило мне жизнь – удар молотка принял стальной леер, который тотчас погнулся.

Хайд посмотрел на меня так, словно его предали. Через мгновение он отбросил молоток и затрясся от смеха.

– Послушай, Джекил, не следует пугаться честного хохота, он прогоняет печаль... он даже делает счастливым...

– Называться счастливым может тот, которому нечего бояться, – возразил я.

– Так ты боишься?

Не дожидаясь ответа, Хайд повернулся и пошёл прочь. Двигался он странно, как будто прыгал по камням через ручей. Я поднял молоток и швырнул за борт. Потом улёгся подальше от каюты, которую занял мой двойник, положил под голову рюкзак и стал ждать рассвета...

Солнце застряло в снастях, как в паутине.

Ветер морщил океан.

Яхта не прекращала топчущейся, тяжкой пляски.

Хайд был багровым, словно его ткнул увесистый кулак. Его нижняя губа обвисла, обнажая жёлтые зубы. Сытая предательская ухмылка исчезла.

– Ты должен помочь мне, Джекил...

– Помочь?

- Да, убить меня.
- Я не смогу.
- Ты всегда был дождевым червём.
- Прости, Хайд, я не смогу.
- Ну и оставайся со своей требухой!

Хайд протянул руку вперёд, точно желая что-то схватить, и шагнул к борту. Глаза его были высохшими и смолкшими.

...Горы Толкучие – то сходящиеся, то расходящиеся, грозя раздавить яхту, – остались позади. Пустая фляжка перекачивалась на палубе как живая. И я был жив, но совершенно обессилен. Мне слышался голос Хайда: «Одерживай... право... чуть лево...» Теперь это был не уродливый двойник, это был ангел, «хранителю мой святой».

Пол в кабинете блестел, как мазью мазанный. Могло показаться, что солнце не только светит, но ещё и греет. Я чувствовал себя неплохо, даже несмотря на дурной сон. Впрочем, я не торопился присоединиться к семье – валялся на диване.

Как только Марина с Артемием уехали в «Крези-парк», я открыл «судовой журнал» Гулевича и оказался в Атлантике...

«16 августа 1992 г. Весь экипаж собрался в кокпите (небольшом углублённом месте на палубе). Решали: пристать к берегу и пополнить припасы или идти дальше? Все согласились пристать».

На Бермудских островах запаслись чаем, хлебом, сухарями и ромом.

Вечером, когда мы уже отчалили от гостеприимного берега, наш капитан напился. Впервые я видел его таким. Он грубиянствовал и медвежатился, цепляясь то ко мне, то к Гермашу. Потеряв терпение, Толик Красноармейцев наговорил Иосифу много чего неприятного. Капитан недобро забежал по нему глазами. Потом выхватил из рюкзака молоток и влупил парню по пальцам. Юра Колосков, профессиональный боксёр, тотчас перекрестил капитана двумя ударами, и тот упал. Мы связали Иосифа и начали оказывать помощь Красноармейцеву, у которого были сломаны средний и указательный пальцы.

Пришлось вернуться на Бермуды, где Толику наложили лонгет.

С капитаном мы не разговаривали, да и он теперь сторонился нас.

Не могу объяснить его поступок, эту выходку с молотком. Впрочем, Иосиф и сам не объяснил, не посчитал нужным. Перед Анатолием он тоже не извинился.

Об этом происшествии мы договорились ничего не рассказывать ни родным, ни журналистам, особенно последним. Дело в том, что журналисты начали проявлять к экипажу «Артистки» повышенное внимание. Русские в 1992 году были такой же экзотикой для Южно-Американского континента, как и испанцы в 1492-м».

«Видимо, у Иосифа был свой Хайд, – ворохнулась мысль, – он лишь таился до поры до времени. Но как, чёрт возьми, всё сошлось: и яхта, и молоток...»

Записи в «судовом журнале» возобновлялись с 21 августа.

«Океан нестерпимо блестит, точно смеётся. Яхта задремала в штиле. Мы словно стоим на распутье мира».

«22 августа 1992 г. Штиля как не бывало: идём мимо островов. Мы с Гермашем симпатизируем всем встречным утёсам, которые постепенно раздеваются и сбрасывают с себя облака. Но вот австралийский сухогруз засло-

нился от нас одним из таких утёсов... Спустя час очертания сухогруза уже зыбились в знойной мгле. И снова тихо, пусто, и нет никого в океанской дали, зелёной, как глаза Гермаша».

«23 августа 1992 г. «Артистка» попала в сильный поток. Как потом выяснилось, этот поток переносит примерно тридцать миллионов кубометров воды в секунду, что составляет около одной трети расхода Гольфстрима на широте Нью-Йорка. Обнаруженная в толще вод река без берегов была названа течением Кромвелла в честь нашедшего её американского океанолога. В конце шестидесятых годов прошлого века в экваториальной Атлантике открыли ещё один глубинный поток – течение Ломоносова, а несколько позднее в Индийском океане – течение Тареева. Здесь пальма первооткрытия принадлежала русским учёным».

«26 августа 1992 г. «Комом – все блины мои, а не только первый», – напевает всё время наш кок Рауф. Теперь мы сторонимся Рауфа не меньше, чем капитана. Татарин зачем-то спаивает капитана ромом. Складывается впечатление, что Иосиф сам боится кока».

...Почитав ещё с полчаса, я занялся готовкой – нужно было реабилитироваться перед близкими, ведь я опять провёл выходной не с ними. К возвращению Марины и Артемия из «Крези-парка», кстати, ужасно проголодавшихся, в тарелках уже дымилась макарона по-флотски. Рецепт этого аппетитного блюда я вычитал в «судовом журнале» Гулевича.

В общем, мы приятно скоротали вечер: поужинали, поиграли в «Клондайк», а перед сном – ещё и в прятки.

Ни в эту, ни в последующие ночи двойник доктора Джекила мне больше не снился.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Пришлагала метель. Закурила, пустила снежный дым.

Город застрял в сугробах.

Коммунальщикам туго пришлось. Журналисты, ругая их, пытались снизить общественный градус, подскочивший из-за недавних арестов чиновников. Местные газеты следовали принципу: «Ведь если даже вас и уличат во лжи, то руку, которую вы будете это писать, вам всё-таки не отрубят».

Столичные журналисты, напротив, интриговали версиями покушения на криминального авторитета Аслана Усояна, известного так же, как Дед Хасан. Складывалось впечатление: репортёры знают об этом убийстве всё и даже больше.

Попадались, конечно, и белые пятна.

«Интерфакс» утверждал, что Усояна застрелили «на выходе из ресторана «Каретный двор», а «Lifenews» – что «возле ресторана «Старый Фаэтон».

В целом же был явлен пример небывалого профессионализма.

Газета «Известия» прорабатывала «славянскую» версию убийства. «Расправу над Усояном, – рассказывало издание, – организовали влиятельные воры в законе во главе с Алексеем Суворовым (Петриком). Таким образом он мог отомстить за смерть погибшего три года назад другого авторитета – Вячеслава Иванькова (Япончика). Некоторые «законники» считали, что за убийством Иванькова мог стоять Дед Хасан. В начавшемся противостоянии «законников» воры могут понести новые потери, но масштабная гангстерская война вряд ли разгорится».

«Московский комсомолец», осведомлённый не хуже других, сообщал о том, что в Эмиратах назначена грандиозная сходка российских воров в законе, которые хотели бы остановить войну и замирииться..

Да, журналисты оказались на высоте.

Они интервьюировали не только силовиков и бандитов, но и коллег по творческому цеху. Блеск и журналистская оборотистость впечатляли, особенно в случае с Познером. Мэтр со свойственной ему вдумчивостью анализировал причины, по которым в России не было ренессанса.

Задумался Владимир Познер и о православии: «Действительно, для меня понятно, что православие – одна из ветвей христианской религии – оказалось наиболее тяжёлым в тех странах, где оно есть. Это не только Россия. Это Греция, это Болгария, это Румыния. Католические страны, конечно же, более передовые, я уже не говорю о протестантских странах. Это вещи очевидные».

«Я очень люблю Америку, – был как никогда откровенен мэтр, – я гораздо в большей степени американец, чем русский...»

«Я ведь ходил и на Болотную... – продолжал откровения старый журналист. – Остался один Навальный... Конечно, он опасный для власти, потому что занимается совершенно конкретными разоблачениями... Я сказал ему, что у меня вызывают всегда какое-то чувство недоверия люди, которые стремятся к власти. Потому что есть только две причины: одна – это они хотят власти, что всегда неприятно; вторая – это такие мессии, которые понимают, как всем остальным надо жить. И я сказал ему: «Я думаю, что вы из второй категории. И мне совершенно не хочется, чтобы вы определяли, как я буду жить». На что он, глядя мне в лицо своими довольно холодными глазами, сказал: «Нет, вам понравится».

И ведь понравилось бы. Ну а если... «Если события пойдут так, что я не смогу появляться на телевидении, я тогда развернусь, сделаю всем ручкой и уеду, – словно пригрозил кому-то Познер. – Слава богу, у меня три гражданства. Я уеду домой во Францию».

А в это время во Франции президент-социалист подписал закон, разрешающий однополые браки. Франсуа Олланд выполнил предвыборное обещание.

Половина французов его прокляла.

Волгоградские коммунальщики выстояли под натиском снега и журналистов.

Пришла оттепель, потом ушла.

Остриями вниз с крыш повис толстый кручёный лёд...

«Мечта об удаче редко посещала нас, а сама удача никогда». Фраза эта мне бы и не запомнилась, если бы не хромой адвокат Языков. Он обронил её, когда заявлял ходатайство о досрочном освобождении Иосифа Иосифяна.

Комиссия согласилась с доводами адвоката о примерном поведении Иосифяна, о его тяжёлой болезни и удовлетворила ходатайство. Нельзя было понять, доволен ли Языков этим решением. Иван Серафимович лишь мигнул енотовыми усами и метнул глазами направо и налево. Лицо у него было оливкового цвета, нездоровое и унылое. Помню, как он сначала выел меня взглядом, а потом, словно наложив повязку на глаза, перестал замечать. Впрочем, адвокатская словоность совсем не задела. Не ради Языкова я приехал в ростовскую колонию. Иосифян – только он интересовал меня.

Бывший капитан «Артистки», отсидевший десять лет за двойное убийство, не напоминал человека, в голове которого кружатся ветряные мельницы. Более того, он справился с вопросами комиссии по досрочному освобождению, как с карликами великан.

Освобождённого Иосифа встречали братья...

- Значит, всё-таки были братья? – переспросил Гулевич.
- Да, приехали в Ростов, – ответил я.
- Я думал, побоятся.
- Чего им бояться?
- Ну, знаете, всякое бывает... Коли идёшь за шерстью – гляди, как бы самого не обстригли.
- А в чём ваш интерес, Игорь Алексеич?
- Когда я предложил Мушегу и Самвелу подать ходатайство, они отказались. Вот и пришлось подключить Языкова...
- Так это вы?
- Так это я... Тюремный врач Иосифу времени пожить почти не отводит... Я должен был попытаться что-то сделать.
- Каков теперь план?
- В ближайший день или два я встречу с моим бывшим капитаном.
- Скажите, Мушег несколько месяцев назад приезжал к вам домой, чтобы поговорить о брате?
- Откуда вы знаете?
- Татьяна Андреева видела его в вашем доме...
- Да, всё так и было... Мушег действительно приезжал, но только для того, чтобы отговорить меня.
- Почему братья боятся Иосифа? Вы знаете?
- Ну ведь это не он убил двух несчастных кредиторов. Это сделали Мушег и Самвел.
- Он сам сказал?
- Он никогда этого не скажет.
- Братья, но ведь они...
- Они ничего не сделают ему.
- Игорь Алексеич, мне кажется, вы не всё договариваете...
- Поверьте, я не всё знаю, поэтому и хочу повидать Иосифа.

...Бывшие члены экипажа яхты «Артистка» не встретились ни через день, ни через два. Иосифян угодил в реанимацию, а Гулевич... Гулевич занимался последними приготовлениями к свадьбе сына. Впрочем, мой друг всё равно не увидел бы Иосифа: каменноликие охранники никого к нему не допускали.

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

Гулевичи и Андреевы праздновали свадьбу в «Ромео».

Никаких больших начальников – только родственники и друзья. Белые орхидеи, белые столики, белый танец, белое платье невесты. Радушные хозяев, итальянская кухня рестораторов. А за несколько часов до этого – венчание в Казанском кафедральном соборе...

Уже поздно вечером дома я закрылся в кабинете и решил перечитать страницы о другой свадьбе, свадьбе Достоевского.

«В соборе Достоевский не находил себе места: вдруг не придёт, откажется? Одёргивал на груди манишку ослепительной белизны и спрашивал своих шаферов Страхова и Аверкиева: «Ну как, друзья, почему нет невесты?» Улыбался насильственно: «Не будет ли как в водевиле: старик перед свадьбой теряет невесту, похищенную молодым гусаром?..»

Друзья успокаивали. Аверкиев нежным голосом: «До Песков далеко, ваш племянник расторопен, привезёт». Страхов солидно: «Нервы, милейший друг, всё – нервы».

В соборе уже собирались приглашённые. В канделябрах зажглись свечи. На клиросе регент вполголоса поучал певчего. В алтаре покашливал дьякон.

Троицкий собор, обширный и гулкий, казавшийся сначала слишком казённым, теперь при ярком освещении и нарядных гостях изменился и выглядел торжественно.

Известный в литературных кругах Милюков, способный видеть во всём смешное, сказал соседке: «Скоропалительное предложение Фёдора Михайловича может кончиться без шампанского». Та ударила его перчаткой по плечу: «Не злословьте, посмотрите на бедного жениха».

Достоевский ушёл в притвор, прислонился к холодной стене, а в мозгу – ералаш: «Обманет. Не приедет, это возмездие». Зачем нафантазировал про Анну Васильевну Корвин-Круковскую, якобы согласную быть его женой? Зачем? Ведь на самом деле ему отказали, и он видел, как Сонечка, младшая сестрица Анны Васильевны, чуть не плакала – так она ему сочувствовала. Конечно, Корвин – девица с норовом, с идеями, с блажью. Но она ему нравилась. Нравилась, нравилась...»

Стоит у стены и шепчет: «Нравилась, нравилась...»

Ну, а взять Анну Григорьевну... В ней много ребяческого. Двадцать первый год... Да не в годах дело. Аня Сниткина помогла закончить «Игрока» в предельно короткий, двадцатидневный срок, стенографировала «Преступление...». Милая она, тихая, простая, а старается держаться по-светски!»

Возможно, что тем временем, пока племянник Федя, Фёдор Михайлович младший, шафер невесты, в сердцах ругал кучера, заплутавшего на Песках, под Смольным монастырём, Аня Сниткина что-то вспоминала. Не исключено, что она вспоминала день, когда должна была приступить к стенографированию последней части романа «Преступление и наказание».

8 ноября 1866 года Достоевский выглядел взволнованным.

«Я поспешила спросить Фёдора Михайловича, чем он был занят за последние дни.

– Новый роман придумывал, – ответил он.

– Кто же герой вашего романа?

– Художник, человек уже немолодой, ну, одним словом, моих лет.

– Расскажите, расскажите, пожалуйста! – просила я, очень заинтересовавшись новым романом.

И вот в ответ на мою просьбу полилась блестящая импровизация. Никогда – ни прежде, ни после – не слыхала я от Фёдора Михайловича такого вдохновенного рассказа, как в этот раз. Чем дальше он шёл, тем яснее казалось мне, что Фёдор Михайлович рассказывает свою собственную жизнь, лишь изменяя лица и обстоятельства. Тут было всё то, что он передавал мне раньше мельком, отрывками. Теперь подробный, последовательный рассказ многое мне объяснил в его отношениях к покойной жене и к родным...

– ...И вот, – продолжал свой рассказ Фёдор Михайлович, – в этот решительный период своей жизни художник встречает на своём пути молодую девушку ваших лет или на год-два постарше... Возможно ли, чтобы молодая девушка, столь различная по характеру и по летам, могла полюбить моего художника? Не будет ли это психологической неверностью? Вот об этом-то мне и хотелось бы знать ваше мнение, Анна Григорьевна.

– Почему же невозможно? Ведь если, как вы говорите, ваша Аня не пустая кокетка, а обладает хорошим, отзывчивым сердцем, почему бы ей не полюбить вашего художника? Что в том, что он болен и беден? Неужели же любить можно лишь за внешность да за богатство? И в чём тут жертва с её стороны? Если она его любит, то и сама будет счастлива и раскaiваться ей никогда не придётся!

Я говорила горячо. Фёдор Михайлович смотрел на меня с волнением.

– И вы серьёзно верите, что она могла бы полюбить его искренно и на всю жизнь?

Он помолчал, как бы колеблясь.

– Поставьте себя на минуту на её место, – сказал он. – Представьте, что этот художник – я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?

Лицо Фёдора Михайловича выражало такое смущение, такую сердечную муку, что я наконец поняла, что это не просто литературный разговор и что я нанесу страшный удар его самолюбию и гордости, если дам уклончивый ответ. Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Фёдора Михайловича и сказала:

– Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь».

...Племянник Достоевского вёз Анну Григорьевну в собор.

«Федя смотрел в окно кареты... «Да. А дядя-то молоденькую захороводил, в дочери самый раз».

Мамаша Эмилия Фёдоровна недели две пела Феде: «Теперь нам туговато придётся. Дядя жену молодую берёт. Эпилептик, а хочет заводить семью! Он обязан обеспечить нас – вдову старшего брата и племянника».

Федя вздохнул, но совсем не о том: «Невесту жалко, трудно ей будет. Паша на правах дядиногo пасынка постарается отравить жизнь молодой». Федя хорошо знал двадцатилетнего Пашу – Павла Александровича Исаева, уверенного в том, что старый «папа» обязан содержать его и доставлять ему удовольствие. Ещё вчера Паша зашёл к Эмилии Фёдоровне и потешался над отчимом, и Миша и Катя смеялись вместе с ним. Эмилия Фёдоровна слабо возражала: «Не обижайте дядю!» – но про себя, видимо, соглашалась с Пашей. «А в конце концов почему дяде и не венчаться? – рассуждал Федя. – Это мамаше кажется, что нельзя, а по мне – дядя ещё молодец, когда в ударе: и анекдот расскажет, и станцует». В общем, Федя склонялся на сторону дяди.

Меж тем карета подъехала к Измайловскому собору. Лакей соскочил с козел и помог невесте выйти...

Как только Достоевский увидел невесту, он всё позабыл.

– Приехала! Не обманула! Голубчик!

Побежал с мучительной улыбкой на лице к Ане и, не замечая, что она держала спрятанный в фату образ, крепко схватил её за руку, так крепко, что она вскрикнула.

– Наконец-то я тебя дождался!

У Ани сердце содрогнулось от жалости и нежности к нему. Всё дальнейшее воспринималось как сон: и басовитые возгласы дьякона, и тихие мелодичные слова священника, и радостные хоровые напевы «Гряди, гряди, голубица» и «Исайя, ликуй». Она стояла рядом с женихом, чуть слышно отвечая на вопросы священника, и вздрогнула, почувствовав золотое кольцо на пальце...»

А вот как впоследствии рассказывал о тех событиях литературовед Леонид Гроссман:

«Прошло почти ровно десять лет с первого венчания Достоевского – 6 февраля 1857 года в Кузнецке.

То была глухая сторона крепостной России. Посёлок звероловов и старателей, убогая церковь, полунищее духовенство; невеста – бедная вдова с лихорадочным румянцем во всю щёку; свидетели – государственный крестьянин и уездный учитель, который ещё накануне считался женихом Исаевой. Это осталось одним из печальнейших воспоминаний Достоевского.

Зато теперь он привёл к алтарю Измайловского собора двадцатилетнюю пригожую девушку, в подвенечном наряде из белого муара, с пышной фатой. Шандалы и люстры были переполнены свечами, службу сопровождало торжественное звучание хора певчих. Среди свидетелей, шаферов и гостей выделялись видные литераторы и учёные: Аполлон Майков, Страхов, Аверкиев, Стоюнин, Ламанский, Милюков, многие из сотрудников братьев Достоевских по журналам «Время» и «Эпоха». Дома новобрачных встречали родственники и друзья с бокалами шампанского. Невеста, улыбающаяся, юная, возлюбленная, была счастлива и наслаждалась тем чарующим впечатлением, какое производил на каждого её знаменитый муж.

Но эта вторая свадьба Достоевского, столь блестящая и удачная, менее соответствовала стилю его жизни, чем его первое скромное венчание в Одигитриевской церкви далёкого Кузнецка. Вот почему в его творчестве отразилась только его первая свадьба, такая убогая по своей обрядности и такая величественная по силе его чувств и трагизму переживаний».

Вспомнилась и наша с Мариной свадьба.

«Как ты сияешь, и какая Вокруг тебя сгустилась тьма...», — шептал я тогда любимой, чувствуя лёгкий ожог её губ.

...Неверная мгла ночного дыма рассеивалась.

В доме Гулевичей белели орхидеи.

Иван целовал плечи жены.

А далеко, на Урале, заснеженный Челябинск только начинал приходить в себя после падения метеорита.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

*Я ветвь меньшая от ствола России,
Я плоть её, и до листвы моей
Доходят жилы, влажные, стальные,
Льняные, кровяные, костяные,
Прямые продолжения корней.*

Арсений Тарковский

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Над Челябинском взорвался метеорит. Многие сначала не верили, что это был именно метеорит.

Герои одной бунинской «крохотки», помнится, тоже «...долго не верили, будто идёт какая-то комета: «Это только в старину они бывали!» И вот «...однажды ночью уже довольно ярко засеребрился её прозрачный хвост, косо вскинутый в северный небосклон...»

В многочисленных телерепортажах из Челябинска аномально серебрились, кстати, облака. Нечто подобное наблюдалось и в 1908-м после падения Тунгусского метеорита.

«Чёрт... только в старину они бывали... Как бы не так! Этот вон опять в Россию угодил. Почему? Потому что широка страна моя родная? Не промахнуться?»

Explicit mysterium. Да-да, не иначе таинство свершается.

Целые бусы, целые низки метеоритов: Карлинский, Тунгусский, Царёвский, Катавский, Сихотэ-Алинский, Стерлитамакский, Витимский и, наконец, Челябинский. Последний из редких хондритов будет. Комиссариат атомной энергии Франции оценил его мощност в четырёхста шестьдесят килотонн в тротиловом эквиваленте и заявил, что взрывная волна дважды обогнула Землю. И поколотила стёкла, и поранила многих, и ожутила – словом, ущерб нанесла.

О материальном говорилось особо, причём в Государственной думе.

Председатель Счётной палаты, выступая перед депутатами, даже пошутил, связав падение метеорита с проверками бюджета Челябинской области. Степашин также заметил, что к тамошним руководителям давно имеются вопросы.

«Всё как-то избирательно проверяют, – думал я, – да не тех снимают... В окружении нашего Цеповяза чёрт-те что творится... Аресты, аресты... Волгоградские оперативники сорвали «сделку века», не дав местному жителю сбыть фальшивый осколок Челябинского метеорита... В общем, недоля – срок маячит за мошенничество... Мошенническими пытается представить свои действия и бывший вице-премьер регионального правительства Павел Большов, кстати, протеже Цеповяза, попавшийся на многомиллионной взятке... За мошенничество, видите ли, начисляют меньше... Это ему-то меньше? Да он с ремонта онкологического диспансера прибыль получил...»

– Видимо, Цеповяз – искусный дипломат, раз ему всё нипочём?

На свой вопрос я вскоре нашёл и ответ, объясняющий природу такой дипломатии. И разложил всё по полочкам пронизательный Бальзак.

Романист словно о Цеповязе писал: «Он мнил себя знатоком в дипломатии, науке тех, кто ни в какой науке несведущ и чья пустота сходит за глубокомыслие, науке, впрочем, чрезвычайно удобной, ибо практически она выражается в несении высоких должностей и обязывает людей к скрытности, позволяет невеждам хранить молчание, отделяться таинственным покачиванием головы; и, наконец, потому что сильнее всех в этой науке тот, кто плавает, держа голову на поверхности потока событий, и притом с таким видом, точно он управляет ими, хотя вся суть его в особой легковесности».

«Власть... да, с ней нелегко расстаться... Цеповяз не торопится уйти, как торопился прийти... В средневековье испанская инквизиция приговорила бы его к публичному «покаянию» и облачила бы в санбенито – этакую накидку жёлтого цвета с красным крестом... Но Цеповязу и здесь повезло: он родился в другое время и в другой стране».

...В эти дни на местных телеканалах настойчиво мелькала Прицыкина – одна, без губернатора, – и я неприятно поразился тем, что иссякла вдруг красота этой своевольной женщины. Она как-то сразу перезрела, точно груша, вчера ещё зелёная, а сегодня полностью пожелтевшая. Губы Ирины Сергеевны по-прежнему очень часто принимали форму прописной «О», но если раньше это было даже трогательно, то теперь, увы, нет. Появились и какие-то змеиные движения. В одном из телесюжетов вице-губернатор Прицыкина пушила городские власти за худое исполнение бюджета, за тьму денег, истраченных на то, а не на это, а мне казалось, что и язычок у неё раздваивается.

Ирина Сергеевна изо всех сил пыталась, как говорится, отвратить грозу пушечными выстрелами. Но, порицая других, она всё равно не могла улучшить положение Цеповяза. Политики следили за ним, вполголоса передавали сплетни и, маскируясь лицемерной сердечностью, старались подставить подножку. Обыватели тоже не отставали от политиков.

Так, на недружественном губернатору сайте появилась аудиозапись скандального монолога депутата Волгоградской областной думы Дмитрия Крикунова. И слил её, видимо, тот, с кем Крикунов толковал об истинных мотивах мздоимства бывшего вице-премьера регионального правительства Павла Большова.

Вот расшифровка этой аудиозаписи, избавленная мною лишь от матерных выражений:

«Не за себя пострадал пацан. Не для себя же он брал.

Как губернатор ему поможет? Как? Никак. Только если по условно-досрочному освобождению поможет выйти, чтобы не «пятнашку», а пять получил. Из них год сейчас в СИЗО проведёт. Год вычтут. По условно-досрочному выйдет. Потому что, чё... Как он ему поможет? Никак. Либо стараться развалить дело, пока он в СИЗО будет сидеть.

То, что Большов не для себя брал – в этом я на сто процентов уверен. Ты пойми, по-другому никак нельзя на тех верхах... Просто по-другому там нельзя. Чё, просто так, что ль, в Волгограде будет проходить чемпионат мира по футболу? Просто так? Вот так отобрали задрипанный город? Да зачем бабла столько вталкивать, если в Краснодаре уже всё стоит? В Сочах строится... Зачем? Просто так, что ли?»

Первое, о чём подумалось после прочтения этого иезуитства, были письма Винсента Ван Гога, адресованные брату Тео. Как же они отличались! Как обезоруживали искренностью!

Винсент писал: «Одна из причин того, почему я сейчас без места, почему я годами был без места, заключается просто-напросто в том, что у меня другие взгляды, чем у этих господ, которые раздают все места тем, кто разделяет их образ мыслей. Дело тут не просто в моей одежде, как мне сказали с лицемерным укором, вопрос тут гораздо серьезней».

И далее: «Как-никак мы пришли в этот мир не для того, чтобы наслаждаться жизнью, и не обязательно нам жить лучше других».

И ещё: «Несмотря на все мои недостатки, сбить меня с толку не так легко, как некоторые воображают. Я хорошо знаю, к какой цели стремлюсь, и твердо убеждён, что нахожусь на верном пути, когда хочу писать то, что чувствую, и чувствую то, что пишу, поэтому я не принимаю близко к сердцу всё, что говорят обо мне другие. Но всё же порой это отравляет мне жизнь, и я думаю, что многие, возможно, впоследствии пожалеют о своих словах и о том, что оскорбили меня враждебностью и равнодушием».

И наконец: «Мы с тобой будем сносить бедность и лишения столько, сколько потребуется, как осаждённый город, который отказывается сдаться, но мы докажем, что мы не пустое место. Приходится выбирать между смелостью и трусостью».

...Метеорит сделался вдруг главным ньюсмейкером.

Власти Челябинска тотчас озаботились тем, как его увековечить.

Южноуральцам предстояло выбрать онлайн-голосованием лучший эскиз памятника метеориту, а также логотип для полиграфической и сувенирной продукции.

Свой выбор сделала и Юлия Карбышева. Эта челябинская учительница после световой вспышки приказала детям укрыться под партами, а сама бросилась отворять стеклянные двери. Ученики поэтому и не пострадали, но вот женщине... женщине осколками руки-то поизрезало.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ещё Дон Кихот, подготавливая Санчо Пансу к губернаторству, говорил, что храброе сердце злую судьбу ломает. И я всегда почему-то припоминаю это, особенно если, вот как сейчас, читаю «судовой журнал» Гулевича.

Не скажу, что журнал пестрит рассказами о героических событиях. Нет, скорее, он повествует о каждодневном выборе мореходов «между смелостью и трусостью». Впрочем, от экипажа «Артистки» требовалось и просто человеческое участие друг к другу.

28 августа 1992 года Игорь Алексеевич записал следующее:

«Идём вдоль Багамских островов, входящих в архипелаг Лукайя.

Здесь климат не способствует скорому исцелению Толика Красноармейцева – лонгет осточертел так же, как и лихорадка. Толя протянул мне сегодня здоровую руку и сказал: «Знаешь, в несчастье обрести человека, который тебе сострадает, – это тоже своего рода утешение». В ответ я пожал его маленькую, чуть ли не детскую руку... После вахты снова пошел к другу и стал развлекать рассказами про обходительного Кортеса.

– Почему ты называешь этого конкистадора обходительным? – спросил Толя.

– Да потому, что «кортес» по-испански – вежливый, учтивый, обходительный...

– Понял, травы дальше!

– Ну так вот... Однажды Эрнандо Кортес, высадившись на берег открытой им земли, наткнулся на отказ экипажа следовать за ним. Тогда Обходительный распорядился потопить корабли, чтобы отрезать соотечественникам путь к отступлению. И, как ты, Толя, уже догадался, это случилось здесь, в Новом Свете... Кстати, дорогу конкистадорам проложил Колумб».

«29 августа 1992 г. Анатолий сказал, что у меня душа спартанского мальчика и что именно такие, как я, покорили Трою... Не знаю, не знаю... Фамилия моя происходит, по всей видимости, от глагола «гулять» в смысле «кутить» или «бунтовать». Суффикс *-вич* означает «сын», поэтому Гулевич – это сын Гула, то есть дословно: «сын гуляки, мятежника».

В десятом веке мой предок пришёл на земли Волини. На возвышенном мысу, образованном излучиной реки Стырь и её правым притоком – речкой Глуша, стоит древний Луцк, один из самых знаменитых городов на Волини. Этот город прямым образом связан с представителями многочисленного семейства Гулевичей.

Вместе с князем Мстиславом Ярославовичем Немым Гулевичи участвовали в битве при Калке в 1224 году. Та битва с воинами монгольских полководцев Джэбэ и Субэдэя закончилась весьма трагично. В русских дружинах уцелел лишь каждый десятый.

В конце шестнадцатого века мои предки выступили против поляков, сторонников Унии. Нужно сказать, что Гулевичи были одними из последних русских боярских родов, защищавших православие на Волини. Один из самых богатых представителей рода Гулевичей того времени – Василий Фёдорович Гулевич-Затурецкий силой захватил селение Коршовец и присоединил к своим владениям в Луцком замке вместе с церковью Святого Дмитрия. Попытки епископов-униатов оспорить действия воеводы Василия Гулевича в суде успеха не имели. Дмитровская церковь стала единственной православной церковью в Луцке, не подчинявшейся униатским епископам.

Участвовали Гулевичи и в восстании под руководством Богдана Хмельницкого. Впоследствии мои предки смогли добиться права на дворянство

Российской империи. В девятнадцатом веке они уже имели поместья не только на Волыни, но и в Черниговской губернии.

В общем, многие Гулевичи были людьми ратными, служилыми. Так, черниговский дворянин, полковник артиллерии, герой Отечественной войны 1812 года, Георгиевский кавалер Лавр Львович Гулевич отличился при Аустерлице и Браилове, Бородино и Вязьме. А мой дед – старший лейтенант Иван Гулевич – в 1945-м брал Берлин.

Словом, насчёт души спартанского мальчика я не уверен, а вот насчёт луцкого... луцкого, пожалуй, да. Впрочем, разубеждать Толю я не стал...»

«30 августа 1992 г. Иосиф второй день не пьёт ром и, кажется, мучается от высокого давления. Говорит короткими фразами, в основном вопросами: «Никак Бога узрел?» или «Кто не тля?» Временами капитан бормочет примерно такое: «Я не из тех, кого любят люди, но я из тех, кого они не забывают!» По-моему, это из Шелли. Впрочем, не уверен».

«31 августа 1992 г. Подходим к острову. Его координаты – 24 градуса 2 минуты северной широты и 74 градуса 30 минут западной долготы. Это один из Багамских островов, открытый Колумбом 12 октября 1492 года. Самим мореплавателем он был назван «Сан-Сальвадором».

Христофор Колумб водрузил на берегу кастильское знамя, вступил во владение островом и составил об этом нотариальный акт. На острове испанцы повстречали местных жителей. Это были араваки – народ, который уже через двадцать лет белые бородатые люди истребят полностью.

Араваки, словно малые дети, были нагими. Они покрывали себя лишь ритуальными узорами. Не имели железного оружия и по морю передвигались на вёсельных челнах.

В дар Колумбу туземцы преподнесли табак. Но предводитель испанцев отплатил тем, что приказал захватить в плен нескольких араваков. Эти несчастные потом показывали ему дорогу. Две недели Колумб продвигался на юг, открывая новые острова из состава Багамских островов. В домах местных жителей испанцы впервые увидели гамаки. Туземцы рассказали мореплавателям о большом южном острове Куба.

Куба... Именно там закончится наша экспедиция, посвящённая 500-летию первого плавания Колумба к Южно-Американскому континенту. Сам Христофор Колумб, отправляясь в то плавание, сказал: «Предадимся судьбе, только в Новом Свете мы можем найти безопасное прибежище».

...Не спалось. Я закрыл «судовой журнал», оделся и выключил торшер. В потёмках на ощупь спустился вниз и вышел на веранду. Звёзды глазели с неба, сильно мигая.

«Пасть Малой Медведицы – над самой нашей головой, и линия её левой лапы показывает, что сейчас полночь...»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Бом, бом, бом!»

«Третий час, что ли? Да, третий... А я следую совету Бальзака, тоже работавшего по ночам... Берусь за сюжет то сбоку, то с хвоста... И, кажется, мне удаётся обрабатывать материал в разных планах...»

Как только часы отбили, я вновь погрузился в роман...

«9 октября 1870 года в Дрездене Достоевский пишет Аполлону Майкову любопытное письмо:

«<...> произошло то, о чём свидетельствует евангелист Лука: бесы сидели в человеке, и имя им было – легион, и [бесы] просили Его, чтобы позволил им войти в свиней, и Он позволил им.

Бесы вошли в стадо свиней, и бросилось всё стадо с крутизны в озеро и потонуло. Когда же окрестные жители сбежались смотреть совершившееся, то увидели бывшего бесноватого – уже одетого и в здравом уме, сидящего у ног Иисусовых, и видевшие рассказали им, как исцелился бесноватый.

Точь-в-точь случилось так и у нас. Бесы вышли из русского человека и вошли в стада свиней, т.е. Нечаевых... Те потонули или потонут, наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых...

<...> это и есть тема моего романа. Он называется «Бесы».

Процесс над теми, о ком писал Достоевский, начался летом 1871 года. В особом присутствии Петербургской судебной палаты открылось слушание по делу «об обнаруженном в различных местах империи заговоре, направленном к ниспровержению установленному в государстве правительству». К процессу были привлечены соучастники С. Г. Нечаева по убийству студента Петровской земледельческой академии И. И. Иванова. Самому Нечаеву – главе тайного общества «Народная расправа» – удалось скрыться за границу.

Это был первый политический процесс в России, широко освещавшийся в печати. Достоевский узнал о трагедии из русских и немецких газет, находясь за границей. Впрочем, о самом Иванове он слышал ещё до убийства от брата Анны Григорьевны, И. Г. Сниткина. И тогда же у него возник замысел политического романа: «Вот завопят-то про меня нигилисты и западники, что ретроград! Да чёрт с ними, а я до последнего слова выскажусь». И высказался: эта злободневная вещь превратилась в глубокий социально-философский роман, печатавшийся в «Русском вестнике» с 1871 года.

А вот суд над Нечаевым, выданным в качестве уголовного преступника русскому правительству швейцарским, начался вскоре после завершения публикации романа «Бесы». 8 января 1873 года в Москве открылось заседание окружного суда «по делу о мещанине г. Шуи, носящем звание приходского учителя, Сергее Геннадиеве Нечаеве, обвиняемом в убийстве». Приговор гласил: «Лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы в рудниках на 20 лет, а затем поселить в Сибири навсегда».

Отчёт о процессе был опубликован в журнале «Гражданин», редактируемом в то время Ф. М. Достоевским. Нечаев же, однако, был не сослан, а заключён в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости, где и умер впоследствии.

Достоевский же четыре года спустя после описываемых событий удивил очередным откровением: «<...> неужели вы вправду думаете, что прозели ты, которых мог бы у нас набрать какой-нибудь Нечаев, должны быть непременно одни шалопаи? Не верю, не все; я сам старый «нечаевец», я тоже стоял на эшафоте, приговорённый к смертной казни, и уверяю вас, что стоял в компании людей образованных...»

<...> позвольте мне про себя одного сказать: Нечаевым, вероятно, я не мог бы сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности».

И ещё:

«Есть исторические моменты в жизни людей, в которые явное, нахальное, грубейшее злодейство может считаться лишь величием души, лишь благородным мужеством человечества, вырывающегося из оков. Неужели нужны примеры, неужели их не тысячи, не десятки, не сотни тысяч?..»

<...> Чудовищное и отвратительное московское убийство Иванова, без всякого сомнения, представлено было убийцей Нечаевым своим жертвам

«нечаевцам» (т. е. подпольщикам-революционерам) как дело политическое и полезное для будущего «общего и великого дела». Иначе понять нельзя, как несколько юношей (кто бы они ни были) могли согласиться на такое мрачное преступление».

И действительно, правила «Народной расправы» только подтверждали мысль Фёдора Михайловича.

Вот лишь некоторые выдержки из этих правил.

О страсти: «Революционер – человек обречённый. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Всё в нём поглощено единым исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью к революции».

Революционер знает только одну науку – науку разрушения. Для этого и только для этого он изучает теперь механику, физику, химию, изучает днём и ночью».

О нравственности: «Нравственно для революционера всё, что способствует торжеству революции...»

Революционер разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, приличиями, общепринятыми условиями и нравственностью...»

О смерти: «Всё поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий. Первая категория – неотложно осуждённых на смерть...»

Разламывала усталость.

Больше писать я не мог: чувствовал, что работа не клеится и что нужно менять план главы.

«Совесть без Бога есть ужас, – ужалило вдруг, – она может заблудиться до самого безнравственного... Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо ещё непрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения?» Да, бывший каторжанин Достоевский делал это в каждом своём романе... именно в каждом».

...Как-то так вышло, что, и закончив работу, я не лёг спать, а прилип к окну. Я пытался понять откровения дрожащей ночи. Пытался понять Ван Гога, которому казалось, что ночь живее и богаче по цвету, чем день. В душе моей, как и в душе голландца, жила жгучая потребность в вере.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

«Ввожу сразу в действие... Меняю план главы: начинаю с картины убийства Иванова, потом ретроспектива – революционеры и Конгресс Лиги мира и свободы глазами Достоевского, штрих о житье-бытье романиста за границей и возвращении в Россию... Заканчиваю тем, как воспринимали «Бесов» современники».

Новый план мне нравился, можно было браться за дело.

Утром в воскресенье, после завтрака, который сам и приготовил, я отвёз жену с сыном на каток, вернулся домой и сел за ноутбук. Через двадцать минут я не замечал уже ни шелеста кнопок, ни боя часов – работа оглушила...

«Иванов не был изменником революции, каким его изображали либеральные газеты, но к Нечаеву относился действительно недоверчиво, отказывался беспрекословно подчиняться приказам, за что и отдал жизнь. Выяснилось, что «в убийстве участвовали два студента, а также довольно известный

литератор Прыжов». Студенты и литератор заманили Иванова в грот земледельческой академии и задушили, а Нечаев прострелил ему голову. Затем несчастного обвязали камнями и бросили в пруд. На месте преступления осталась лишь окровавленная шапка. Ф. М. Достоевский знал о ней из судебных хроник и изобразил потом в «Бесах».

«Только то и крепко, подо что кровь протечёт, – повторял не раз Достоевский. – Только забыли негодяи, что крепко-то оказывается не у тех, которые кровь прольют, а у тех, чью кровь прольют. Вот он – закон крови на земле».

Теми, кто готов кровь пролить, романист заинтересовался ещё в 1867-м. «Я впервые в жизни своей слушал и наблюдал революционеров, – вспоминал Фёдор Михайлович своё посещение Конгресса Лиги мира и свободы в Женеве, – не в книгах, а наяву и притом за работой...» Достоевский был возмущён: «<...> что эти господа... социалисты и революционеры, ввали с трибуны перед 5000 слушателей, то невыразимо! Никакое описание не даст этого... Начали с того, что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру. Большие государства уничтожить и поделаться маленькими; все капиталы прочь, чтоб всё было общее по приказу... Всё это без малейшего доказательства... И главное – огонь и меч, и после того, как всё истребится, тогда, по их мнению, и будет мир».

Поэтому революционное учение, либерализм, западничество и сам Запад – откуда всё это и завелось в России – автор «Бесов» отвергал. Сотрудница Достоевского по журналу «Гражданин» Варвара Васильевна Тимофеева в очерке «Год работы с знаменитым писателем» приводит характерный эпизод.

«Так однажды, помню, он говорил мне за работой:

– Они там пишут о нашем народе: «дик и невежествен... не чета европейскому...» Да наш народ – святой в сравнении с тамошним! Наш народ ещё никогда не доходил до такого цинизма, как в Италии, например. В Риме, в Неаполе мне самому на улицах делали гнуснейшие предложения – юноши, почти дети. Отвратительные, противоестественные пороки – открыто для всех, и это никого не возмущает. А попробовали бы сделать то же у нас! Весь народ осудил бы, потому что для *нашего* народа тут смертный грех, а там это – в нравах, простая привычка – и больше ничего. И эту-то «цивилизацию» хотят теперь прививать народу! Да никогда я с этим не соглашусь! До конца моих дней воевать буду с ними – не уступлю.

– Но ведь не *эту* же именно цивилизацию хотят перенести к нам, Фёдор Михайлович! – не вытерпела, помню, вставила я.

– Да непременно всё ту же самую! – с ожесточением подхватил он. – Потому что другой никакой и нет. Так было всегда и везде. И так будет и у нас, если начнут *искусственно* пересаживать к нам Европу. И Рим погиб оттого, что начал пересаживать к себе Грецию... Начинается эта пересадка всегда с рабского подражания, с роскоши, с моды, с разных там наук и искусств, а кончается содомским грехом и всеобщим растлением...»

На чужой стороне, за границей, Достоевскому и жилось, кстати, нехорошо: не хватало «не только русского лица, русских книг и русских мыслей и забот, но даже приветливого лица...» «Право, я даже не понимаю, – писал он, – как может заграничный русский человек, если только у него есть чувство и смысл, этого не заметить и больно не почувствовать. Может быть, эти лица и приветливы для себя, но нам-то кажется, что для нас нет. Право так! И как можно выживать жизнь за границей? Без родины – страдание, ей-богу!»

Жизнь в Женеве, к примеру, Достоевским виделась по-разному.

Анна Григорьевна полюбила этот город: «...я здесь так счастлива, мы так спокойно, мирно и дружно живём, что я боюсь, что в Петербурге всё это кончится: наши кредиторы, родственники со своими нуждами и Паша со своими вечными придирками и объяснениями решительно расстроят нашу славную, дорогую мне жизнь».

Фёдор Михайлович, кажется, напротив, возненавидел всё тамошнее: «Женева – пакость... Припадки у меня здесь почти каждую неделю... Это ужас, а не город!.. Ветры и вихри по целым дням... И как здесь грустно, и как здесь мрачно. И какие здесь самодовольные хвастунишки... И всё у них, каждая тумба своя – изящна и величественна.

– Где улица такая-то?

– Видите, господин, вы идите совсем прямо, и когда пройдёте мимо этого величественного и бронзового фонтана, вы пойдёте... и т. д.

Этот «величественный и изящный фонтан» – самая чахлая, дурного вкуса дрянь гососо, но он уж не может не похвалиться, если вы даже только дорогу спрашиваете...»

Сколько же дорог, сколько вообще всего было у Достоевского там, на чужбине?

Жил в Швейцарии, Италии, Германии. Создал «Идиота» и «Вечного мужа», начал писать «Бесов». К счастью, рядом с ним была Аня, его Аня. Впоследствии Анна Григорьевна вспоминала: «<...> в течение этих четырёх с лишком лет, проведённых нами в добровольной ссылке, нас постигли тяжкие испытания: смерть нашей старшей дочери, болезнь Фёдора Михайловича, наша постоянная денежная нужда... несчастная страсть Фёдора Михайловича к игре на рулетке и невозможность вернуться на родину...»

Но и когда вернутся, жизнь будет продолжать испытывать их. Явятся кредиторы, истцы... Чтобы удовлетворить самых нетерпеливых, Достоевский отправит письмо с просьбой о денежной помощи наследнику царского престола – будущему Александру III. И помощь последует: Фёдор Михайлович и его семья будут спасены «от большого бедствия».

Бедствия, бедствия... Журналисты не простят ему «Бесов».

«Голос», «Искра», «Новое время» и многочисленные вестники изо всех углов империи, словно подпольные люди, остервенившись, будут называть его сумасшедшим и маньяком, приглашать публику на выставку в Академию художеств, чтобы та, посмотрев портрет Достоевского работы Перова, убедилась: место писателя – в доме умалишённых.

И только читатель не оставит его. Только читатель.

«Я помню случай, – рассказывал впоследствии литератор Александр Круглов, – я шёл по Невскому проспекту с медиком-студентом. Навстречу нам попался Достоевский. Студент быстро снял фуражку.

– Вы разве знаете Достоевского? – спросил я.

– Лично я не знаком с ним, – ответил студент. – Я ему *не поклонился*, я обнажил перед ним голову».

Теперь современники будут часто обнажать голову перед Ф. М. Достоевским. Ведь он сказал им Слово своё, как некий вечный обет».

...Марина и Артемий, разобиженные, вернулись с катка на троллейбусе. Я не забрал их, потому что потерял счёт времени. Я не слышал их телефонные звонки, а слышал только голос Балзака.

«Талант – страшный недуг... надобно быть великим человеком, чтобы хранить равновесие между гениальностью и характером... Да это же о Фёдоре Михайловиче будто и сказано...»

ГЛАВА ПЯТАЯ

Рассвет редел, сквозил и сделался непонятен.

Сначала вылезли две вершины, словно два человека встали навстречу, а потом поднялась и вся гора, похожая на конское седло. Солнце кое-где сжевало снег. Ручей лепился к горе ужом. Ольховник торчал то тут, то там.

Над ольховником, ручьём и горой висело выцветшее небо.

У подножия горы чернело селение, а чуть поодаль – старое кладбище. Одни могилы там были вровень с землёй, другие – и вовсе без крестов, то ли ветром, то ли временем подломленных. Позади кладбища рос ивняк и виднелись поля. На смуглые поля падал снег.

Все краски были какие-то смирные, без пестроты.

«В последние дни шёл снег, – вспомнилось вдруг, – и казалось, будто это письма на белой бумаге, словно бы страницы Евангелия».

...Пять минут я ещё изучал картину Гулевича, потом сказал:

– Игорь Алексеич, вы как Ван Гог... Вы катите «на всех парах, точно живопишущий паровоз».

– Качу? Да нет же, просто взял краски... от природы, а вовсе не напоказ... А вот людей...

Мой друг долго и обстоятельно пояснял, почему не изобразил людей. И я снова подумал о Ван Гоге. На его парижских полотнах люди появлялись очень редко. Но если появлялись – это были просто разноцветные тени. Жизнь протекала где-то в другом месте.

Заметил эту особенность, по-моему, Анри Перрюшо: «Винсент пишет цветущие берега Сены, но пишет также и общую могилу, жирную, размокшую от дождя землю. Кладбищенская земля повсюду одна – будь то в Париже или в Зюндерте. Винсент пишет также пару своих бориножских башмаков, залепленных грязью, изношенных от долгой ходьбы, – эти милые его сердцу башмаки кажутся одушевлёнными существами, которые смотрят с картины человеческим взглядом».

– Я назвал картину «После зимы», – прервал мои размышления Гулевич.

– Что ж, не обезнадёжено!

– Следовательно?

– Следовательно, это название и оставьте.

– Хорошо, так и сделаю... Зима кончится... После неё не будет страдания...

– Знаете, Ван Гог считал, что трагедия страдания в жизни – самая совершенная из трагедий...

– Память у вас, Алексей Николаич, баснословная... Вы не находите?

Сказано это было просто, без малейшей иронии.

– Дело не в моей памяти, – ответил я, – а в том, что ради картины, книги да, собственно, и другого большого достижения приходится жертвовать сегодняшними радостями... жить будущим...

– Всё правильно... Вот только будущее исчезло... Вникните!.. Жизнь стала плоской... словно картина, нарисованная тем, кто не умеет изображать перспективу.

– Да, жизнь обесмысливается.

– Ещё как обесмысливается! Зачем затевать что-то многотрудное, большое: за сегодня ведь не успеем, а завтра – завтра не существует... Вы, помнится, о радостях сегодняшних упомянули... с ними, сиюминутными, конечно, жить проще, оптимистичнее...

Игорь Алексеевич взглянул на меня так, словно взял в прицел, потом вскочил с дивана и стал ходить по комнате.

Мастиф Мрак следовал за хозяином, как за поводырём.

Огонь шевелился в камине.

Я оделся, попрощался и поехал домой.

...То, что я увидел сегодня, меня поразило.

«После зимы» – эту сложную и по форме, и по содержанию картину мой друг писал и переписывал несколько месяцев. Он не рассказывал о ней вплоть до дня «премьеры», никак не оценивал. Впрочем, и теперь Гулевич ещё не понимал, что создал что-то особенное, значительное, отличающееся от всего созданного им прежде.

Картина его, как мне казалось, была созвучна картине, написанной Ф. М. Достоевским в романе «Идиот». И, чтобы убедиться, я отыскал то место: «...станешь один посреди горы, кругом сосны, старые, большие, смолистые; вверху на скале старый замок средневековый, развалины; наша деревенька далеко внизу, чуть видна; солнце яркое, небо голубое, тишина страшная. Вот тут-то, бывало, и зовёт всё куда-то, и мне всё казалось, что если пойти всё прямо, идти долго-долго и зайти вот за эту линию, за ту самую, где небо с землёй встречается, то там вся и разгадка, и тотчас же новую жизнь увидишь...»

В день «премьеры» картины Игорь Алексеевич ничего не сказал мне о смерти Иосифа Иосифяна. Как потом выяснилось, он и сам ещё ничего не знал. В больнице рядом со старым капитаном в последние мгновения его жизни были только его братья.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Глянцевито, переливчато блестела «Армения».

Хохлатый мужчина в жёлтой болоньевой куртке, словно решаясь на что-то, потоптался возле ресторана и толкнулся внутрь. Я успел только поправить зеркало заднего вида, а хохлатый уже хлынул назад. Следом вынесло рыжего охранника. Странный посетитель отошёл подальше, закурил.

– Урны-то у вас нет, – заметил он, поводя сигаретой. – Куда бросить, а?

«Ш-ш-ш», – отозвалась-шикнула рация охранника.

– М-да, кажется, банкет, – не отставал канареечно-жёлтый, – поэтому и не войти...

Охранник опустил углы рта и опять не ответил. Долго изучал узоры сырости на стенах, потом плюнул под ноги и, не снимая с себя глянца самоуверенности, вернулся в ресторан.

Своеобытный человек задавил каблуком окурок, тиснул в карман мобильник, поднял камень, подержал его в руке, словно взвешивая, и, залепив в окно «Армении», бросился бежать. Жёлтая фигурка быстро уменьшалась. Когда охранник, услышавший треск разбитого стекла, выскочил из ресторана, то увидел лишь, как тихо рассыпавшаяся светлая точка в конце сквера постепенно исчезает.

Мятеж обстоятельств выбил обладателя рации и жарко-рыжих волос из колеи, а вот меня, напротив, очень даже развлёк. Среди пятен акварельных домов, разлётшихся позади «Армении», я заметил скользящее солнце и улыбнулся. Сквозь стеклянный люк взглянул вверх на увесистый каравай неба: справа была тёмная ветка и над ней довольное облако – вихор торчал прямо.

Ожидание замаяло, но Гулевич вот-вот должен был выйти из ресторана, и я сказал себе: «Потерпи чуток».

Вечер делался ветроватым.

Стрелки часов подбирались к шести.

После шести к «Армении» стали съезжаться джипы-«бегемоты». Из них выходили красивые женщины – в норковых шубках поверх шёлковых платьев, и похожие друг на друга – лысоватые, коротконогие, позвякивающие ключами – мужчины. Через открывающиеся и закрывающиеся двери ресторана слышалось, как что-то сладенькое пел Эмин. Вскоре за ярко-охряными окнами можно было разглядеть ладные линии дамских одежд и краснеющие концы мужских сигар.

А в сквере перед рестораном жёлтым, горьким огнём светились фонари. Какой-то старик шёл по заснеженной дорожке, засунув руку в карман, как больной. Неистово шеберстил ветер. Казалось, это не старик стучотил палкой, а именно ветер.

Стало холодно, появилось ощущение босоты, и я завёл двигатель, чтобы прогреть машину. Прошло ещё минут двадцать–двадцать пять, и на ветровом стекле засверкала луна. Хотя я и поглядывал на входные двери, но сейчас почему-то не заметил Гулевича.

Игорь Алексеевич был мрачен. Положил на заднее сиденье портфель и уселся сам.

Я включил фары и, развернувшись, поехал по улице Порт-Саида в сторону библиотеки имени Горького.

...И вот ночь открылась сигналами последних запоздавших трамваев. Заработали и другие звуки. Свет разбавлял темноту: фары проводили по стенам домов свою полоску. Чёрные изломы теней появлялись то слева, то справа, то впереди. Дорога была прыщеватой, а кое-где и скользкой.

– Мушег Иосифян опасен, как заразная болезнь, – сказал вдруг Игорь Алексеевич.

– Неужели вы это поняли? – я обратил замечание в колкость одним лишь взглядом, который бросил на Гулевича.

– Здесь поверните... Знаете, я сегодня вообще многое понял...

– Например?

– В сердце Мушега одно зло... Вникните! Я не ошибаюсь, ведь «нюх души безошибочен»...

– ?..

Нажимом плотной спины Гулевич заставил скрипнуть сиденье, потом выхрустнул пальцы, порылся в карманах пиджака и, достав жёлтую аудиокассету, сказал:

– Вот все ответы...

– Так прям и всё?.. А поконкретнее?

– Ну, хорошо... Выяснилось, что покойный Иосиф ещё в колонии сделал прелюбопытную аудиозапись. Он признался, что не виновен в двойном убийстве и что сидит вместо братьев, Мушега и Самвела...

– Вы что-то такое уже рассказывали... Я припоминаю...

– Да, рассказывал. Теперь же доподлинно известно, что зажмурили кредиторов Мушега и Самвела не без помощи последних. Вот только имени киллера Иосиф почему-то не называет... Я знал об этой записи, но, признаюсь, считал её утраченной. Так вот, она сохранилась, и мы можем её прослушать... Вникли?

– Как вы её заполучили?

– Как? Да благодаря Красноармейцеву.

– Чёрт подери! Тот хохлатый...

– Ага, в нужный момент я отправил Толе эсэмэску, и он шухернул... Пока Мушег осматривал окно, расспрашивал охранника, вызывал полицию, я забрал кассету...

– Надо же, а где она была?

– В кабинете... за натюрмортом с пионами.

– Щекастыми?

– Я бы не сказал...

– Иосифяны могут попытаться вернуть кассету.

– Конечно, только это непросто... На поминках было человек шестьдесят – поди разбери, кто из них взял! Кабинет Мушега расположен рядом с банкетным залом – это ещё один минус. Кроме того, я всё время подпайвал адвоката Языкова, и он не выдержал единоборства с рюмкой...

– Словом, у вас прикрытие...

– Вот-вот, с Иваном Серафимычем выпивал, с ним и ушёл... Ну что, блестяще?

– Макиавеллизм... Вы то лиса, то лев...

– А я надеялся, вы похвалите мою партию.

– Игорь Алексеич, так я завидую вам... У Пушкина есть по этому поводу мысль: «Зависть – сестра соревнования, следовательно, из хорошего рода».

– Не знаю, не знаю... – сгладил Гулевич.

Он помолчал, подумал, переспросил насчёт зависти и вдруг расхохотался.

Я тоже грохотнул, да так, что чуть не пропустил нужный поворот.

Чёрная «Мазда», усмехнувшись фарами, пропустила нас вперёд.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«Зачем Иосиф поставил жизнь свою вверх ногами?»

Побежала тень по доскам пола – кто-то из домашних прошёл на кухню, открыл воду, звякнул стаканом.

«Так всё-таки зачем?»

Пробили часы – шесть или семь раз.

«...и чуть ворча часы идут».

– Привет, пап! – рванул голосом Артемий и присел по обыкновению на подлокотник дивана.

– Привет! – Я оборотился к сыну и похлопал по коленке.

– Работаешь?

– Да нет, просто не спится... А ты почему вскочил?

– Ну, попить... – Артемий доцедил воду и поставил стакан на журнальный столик перед диваном.

– Ясно, ясно... А я думаю, кто это на кухне наворачивает... всё там цапает?

Губы сына смягчились, и он улыбнулся.

– Я и наворачиваю... кто ж ещё? Слушай, пап, а почему Виталий Владимыч сказал, что у меня получают... ну, эти кувырки, подножки...

– Тренер же видит... вот и сказал...

– А-а, понятно... Почитаешь мне наставления Дзигоро Кано?

– Почитаю, только поспи ещё немного.

– Ну ладно... Потом ещё поговорим о дзюдо... Согласен?

Сын потёр щёку, в которую я его чмокнул, и колыхнулся к себе наверх.

...Свет изгнал тени из всех углов гостиной. Пронзённый солнцем стакан, забытый Артемием, казался безусловно-ясным. Торшер стал не нужен,

и я погасил его. Глянул в окно: снег был творогом, и воробьи – маленькие путаники – оставляли на нём сбивчивые следы. Большой белый соседский кот сердито и выжидательно наблюдал за происходящим, топырил хвост. Сугробы, дорожка, забор, беседка были облиты блеском, как, собственно, и носы у прохожих.

«И день что надо, и настрой... Попробую, пожалуй, собрать части прошлого... всё, что я уже знаю об Иосифе...»

Итак, Иосиф Иосифян родился в Буэнос-Айресе 20 октября 1947 года. Все его звали Иосифом из Урфы. Ведь отец его Овсеп переселился в Аргентину вместе с другими членами армянской общины именно из Урфы. Случилось это после того, как в 1915 году младотурецкие головорезы заживо сожгли сотни армян в урфинской церкви Пресвятой Богородицы.

«Ничего не болит, а всё стонет», – временами повторял Овсеп, вспоминая Армению, дорогую Урфу. А ещё говорил: «Всё по-новому да по-новому, когда же будет по-доброму...» Однако в беде никогда не перекорялся, терпел.

У него было двенадцать сыновей, и он, разумеется, любил каждого. И всё же больше всех отличал Иосифа, называя его про себя «сыном старости». Иосиф действительно родился тогда, когда Овсеп с Тамарой уже не думали иметь детей. Но через несколько лет Тамара вновь забеременела и в поздних родах умерла. Новорождённого нарекли Самвелом, как маминного деда, но в семье никто не порадовался. Впрочем, нет, погодки Иосиф и Мушег порадовались. Только они и пестовали брата.

А что же Овсеп? Под злой час потерял он жену. Отвязалась хорошая жизнь, привязалась худая. Недуги замяли старого армянина, вскоре и его не стало.

После смерти родителей Иосиф и Мушег поехали учиться в Советский Союз, в далёкий Волгоград. Потные профессии – сверловщика, литейщика, лудильщика – братья выбирать не стали. Мушег пошёл по торговой части, а Иосиф, владевший и испанским, и армянским, и русским языками, поступил на иняз.

Братья были жадны до знаний, учились охотно.

Мушег, уже тогда растолстевший и носивший золотые очки, напоминал то ли конферансье, то ли ресторатора. Впрочем, впоследствии он и стал владельцем храмообразного ресторана.

Плечистый же Иосиф, угловато застывавший над учебниками, на кафедре преобразался. Говорил правильно, метко и красно, сам того не зная. Но вот сокурсница Оленька Ночевная (Оленькой её прозывали за кротость) знала. Она была тихая, чуть с лукавой чертой у губ, с вялым житейским голосом. Никогда ни в кого не влюблялась, даже в школе, но, увидев однажды на лекции разбойничьи брови Иосифа, потеряла голову. На третьем курсе они поженились. Он вынес её из ЗАГСа, как и положено, на руках. Оля казалась прилипшей к ним песчинкой.

Своих детей она, увы, иметь не могла. И поэтому радовалась чужим, всем-всем – и калеке, и сидню.

«Ведь и Илья Муромец был сидень...» – говорила Оля, вздыхая.

Иосиф жену не предал, не бросил. Считал, что жизнь не роман и что она не сочиняется, а вынуждается силой обстоятельств, как крик, вырвавшийся из души. Иосиф лишь предложил взять на воспитание пятилетнего Самвела. Жена, конечно, согласилась и еле дождалась того дня, когда мальчик прилетел из Аргентины. Уже вскоре Самвел почувствовал любовь, которую никогда не ощущал в своей родной семье. Без Ольги бы он мог изникнуть, как родник в засуху.

В 1991-м, по весне, Ольгу Иосифян стали разламывать боли. Вот тогда-то и наметился путь беды. Четыре месяца спустя Иосиф и Самвел с траурными повязками на рукавах шли за маленьким гробом, до конца ещё не осознавая, что больше не увидят свою тихую, кроткую Олю.

Самвела не захилеть заставил бокс: начались соревнования, и он уехал.

Иосиф остался один, как золот перст.

Ничьи доводы о том, что надо продолжать жить, не убеждали его, опасность отравы не уменьшалась, разве что приучала к яду исподволь. Но как-то раз он обратил внимание на крест. Висел он над кроватью и был точной копией того, что сгорел вместе с урфинской церковью Пресвятой Богородицы. Ещё отец заказал этот крест у художника-литейщика. Иосиф решил передать его своему знакомому – писателю и путешественнику Зорию Балаяну, уходившему в очередную кругосветку. Дело в том, что у Балаяна была давняя идея установить крест на европейском берегу пролива Гибралтар. Вот только удалось это через двадцать лет – крест появился не где-нибудь, а на мысе Горн.

Зорий Балаян потом писал: «Светлой памяти всех невинных жертв на нашей планете посвящается этот армянский крест. Доставил его на мыс Горн экипаж парусной яхты «Армения» 8 января 2011 года».

После смерти жены Иосиф вдруг подал заявление и ушёл из университета. Преподавание, учёные розыски, плотные спины книг в библиотеках – в одночасье опротивели ему. По примеру Балаяна, он засобирался в путешествие. Напрасно Мушег и Самвел пытались уговорами обезвредить его: не послушал. На деньги, вырученные от продажи машины и дачи, купил почти новую парусную яхту под названием «Артистка». Снарядил её, приискал экипаж.

Уже 9 мая 1992 года с «Артистки» вытравили концы, и она вышла из порта. Началась экспедиция, посвящённая 500-летию первого плавания Колумба в Новый Свет и открытия островов Карибского моря – Гуанахани (Багам), Эспаньолы (Гаити) и Хуана (Кубы).

...Я взял стакан с журнального столика, повертел, извлёк из него щелчком звонкий звук и подумал: «Мы иногда далеко сигаем и мудрим, а ведь ларчик открывается просто, без потайки... А значит, я всё равно узнаю, зачем Иосиф поставил жизнь свою вверх ногами...»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Размеренная жизнь Петра Петровича Графа расплзлась.

Министр сопротивлялся, собирал начальников департаментов: сначала чтобы, как он выразился, «скоординировать наши действия», потом – скорее, по наитию. Пётр Петрович был сосредоточен, словно в предвкушении какого-то вершинного момента. И лишь руки выдавали его волнение, метались от одной скучно-синеватой папки к другой.

– Эти высокоумные господа... эти высокопоставленные болтуны послали к нам ревизора... И я попросил бы, коллеги, сосредоточиться, – с кашлем вырвался у министра ещё и всхлип, – на первостепенном. Имею в виду проверяющего... того-этого москвича...

– Чем-нибудь это да обернётся, – вклеил заместитель министра культуры Спасский.

– Не надо, Максим Аркадьич, меня дополнять...

Лицо заместителя беспомощно подобрело, и он стушевался.

– Надо консолидироваться... Теперь, нельзя не сказать, пришло время, – продолжал Граф.

Высказались, конечно, и начальники департаментов.

В отличие от других, я был краток: столько-то памятников на балансе, столько-то требуют ремонта – и всё-таки зацепил министра. Насторожённая желтоватая тень ползла по его лицу. Когда я закончил, у Петра Петровича был размаянный вид.

– Алексей Николаич, – собрался наконец с мыслями Граф, – ну нельзя так... Вы напропалую валяете...

– Цифры есть цифры.

– Конечно, есть... А вот денег нет.

– Были бы, так и дело пошло вприсядочку, – вновь ввернул Спасский.

– Программа сохранения памятников не выполняется, – вёлся я глазами сначала в Спасского, а потом и в министра. – И это может всплыть при проверке...

– Не надо улавливать, слышите? – взвился Граф.

– Слышу... Отчёт оставить вам или Максиму Аркадьичу?

– Не надо заместителю... оставьте мне, – выдавил уже спокойно Пётр Петрович.

На том и порешили.

Дома представил всю сцену Марине, и она очень смеялась.

– А что Спасский? Ни тпру ни ну?

– Как обычно... вынимал слова, словно из короба... и говорил в той последовательности, в какой они попадались.

– А Граф?

– Граф маркизился.

– Маркизился?

– Только и слышали от него «надо не надо».

– Ну, «а это попробуйте»?

– Да, и это тоже.

...Все были в экстазе взаимной подозрительности. Все ожидали ревизора, и только, кажется, я – вечера пятницы. Наконец вечер пришёл и ветер привёл. И ветер стал бродить возле дома, греметь желобами. Но меня уже ничто не могло отвлечь от новой главы. План её был ладен и прост: «Кастальский ключ волюю вдохновенья / В степи мирской изгнанников поит...»

Пушкин, со своими прозрениями, стал Кастальским ключом для каторжанина Достоевского. Заключенник, изгнанник, испивший из этого источника, получил его силу. Да, было Евангелие, читаемое им четыре года каторги. Одно только Евангелие. Но сначала был всё-таки Пушкин. Его слово.

«Что такое высшее слово и высшая мысль? – спрашивал сам себя Достоевский и сам себе отвечал: – Это слово, эту мысль (без которых не может жить человечество) весьма часто произносят в первый раз люди бедные, незаметные.

<...> Но мысль, но произносимое ими слово не умирают и никогда не исчезают бесследно, никогда не могут исчезнуть, лишь бы только раз были произнесены, – и это даже поразительно в человечестве. В следующем поколении или через два-три десятка лет мысль гения уже охватывает всё и всех, и выходит, что торжествуют не миллионы людей и не материальные силы, по-видимому, столь страшные и незыблемые, не деньги, не меч, не могущество, а лишь незаметная вначале мысль...»

«Мысль гения», охватывающая «всё и всех». Разве это не о Пушкине?

8 июня 1880 года на втором публичном заседании Общества любителей российской словесности Достоевский произнесёт речь о Пушкине. «Истинное, многозначительное событие», – скажет потом об этой речи Иван Аксаков. Подготовку к ней Достоевский начнёт ещё в первом своём романе,

«Бедные люди», указав на Пушкина как «на образец и руководство». Некоторые скрепы будущей речи Фёдор Михайлович изложит и в «Гражданине».

За семь лет до Пушкинского праздника, на котором и прозвучит знаменитая речь, Достоевский начинает редактировать еженедельник «Гражданин». В последнем номере «Гражданина» за 1872 год появилось объявление, напечатанное крупным шрифтом на всю страницу, о том, что с 1 января 1873 года редактором журнала будет Ф.М. Достоевский.

Обратимся к свидетельствам воспоминателей.

«– Достоевский пришёл!

«Достоевский!» – как эхо отозвалось у меня в душе, – рассказывала корректор Варвара Тимофеева. – С трепетным замиранием сердца ждала я. Вот-вот, сейчас, сию минуту сюда (*в редакцию журнала.* – **Курсив мой. А.А.**) войдёт знаменитый автор «Бедных людей» и «Мёртвого дома», творец «Раскольникова» и «Идиота»...

<...> из комнаты слева вышел хозяин типографии вместе с невысоким... господином в меховом пальто и калошах, и оба остановились подле меня, у бюро, разговаривая между собою...

Один раз я решила поднять на него глаза, но, встретив неподвижный, тяжёлый, точно неприязненный взгляд, невольно потупилась и уже старалась на него не смотреть. Я угадывала, что это Достоевский, но все портреты его, какие я видела, и моё собственное воображение рисовали мне совсем другой образ».

А вот штрих от писательницы Александры Толиверовой: «В лице Достоевского всего более поражали его глаза... Иногда они лихорадочно блестели, иногда казались потухшими, но в том и в другом случае производили равно сильное впечатление. Это происходило ещё и потому, что Достоевский, говоря, всегда смотрел пристально, в упор...»

Произвёл впечатление романист и на Михаила Александрова: «Знакомство моё с Достоевским началось со времени вступления его в редакторство «Гражданина»... Меня вызвали из наборной в контору, где хозяин типографии представил меня Достоевскому как метранпажа...

– Хорошие у вас наборщики? – спросил от меня таким искусственно напряжённым голосом, в котором, однако, нетрудно было заметить старческую надтреснутость... – А у вас хороший корректор?.. Кто у вас корректор? Я указал на сидевшую тут же за столом Варвару Тимофееву...»

А теперь «соло» самой Варвары Васильевны:

«Это был очень бледный – землистой, болезненной бледностью – немолодой, очень усталый или больной человек... Он был весь точно замкнут на ключ – никаких движений, ни одного жеста, – только тонкие, бескровные губы нервно подёргивались, когда он говорил.

<...> мне бросилась в глаза странная походка этого человека. Он шёл неторопливо – мерным и некрупным шагом, тяжело переступая с ноги на ногу, как ходят арестанты в ножных кандалах.

– Знаете, кто это? – сказал мне Траншель (хозяин типографии), когда захлопнулась дверь. – Новый редактор «Гражданина», знаменитый ваш Достоевский! Этакая гниль! – вставил он с брезгливой гримасой.

<...> я стала часто видеть Достоевского в типографии, но свидания наши в первое время ограничивались... краткими замечаниями его мне по поводу той или другой корректурной поправки. Я ссылалась тогда на грамматику, а он раздражительно восклицал:

– У каждого автора свой собственный слог, и потому своя собственная грамматика... Мне нет никакого дела до чужих правил! Я ставлю запятую там, где она мне нужна; а где я чувствую, что не надо... там я не хочу, чтобы мне её ставили!

– Значит, вашу орфографию можно только угадывать, её знать нельзя! – возражала я.

– Да! Угадывать. Непременно. Корректор и должен уметь угадывать! – тоном, не допуская никаких возражений, сердито сдвигая брови, решал он.

Я умолкала и старалась, насколько умела, угадывать, но внутренне испытывала что-то вроде разочарования. Ни повелительный тон, к которому я совершенно была тогда непривычна, ни брюзгливо-недовольные замечания... не мирились с моими представлениями об этом... писателе-страдальце, писателе-сердееде.

Вначале же почти всё раздражало его. То – зачем поставили в статье его твёрдый знак на конце слова *однакожь*, когда у него стоит мягкий – *однакожь*. То – зачем вводное предложение может быть поставлено в запятых, вместо того, чтобы – как у французов и в «Русском вестнике» – поставить с чёрточкой посередине. То, наконец, зачем *к нему* в «Гражданин» прислали статью о введении звуковой методы в сельские народные школы, когда он слышать равнодушно не может об этой методе...

– Не хочу я, чтобы наших крестьянских детей обучали по этой методе! – с непонятным ещё мне тогда ожесточением говорил он. – Это не человеческая метода, а попугайная. Пусть обучают они по этой методе обезьян или птиц. А для людей она совсем не годится. *Бб! вв! сс! тт!*.. Разве свойственны людям такие дикие звуки? У людей должно быть человеческое название каждой букве. У нас есть свои исторические предания. То ли дело – наша старинная азбука, по которой все мы учились! *Аз, Буки, Веди, Глаголь, Живёте, Земля!* – с наслаждением выговаривал он. – Сейчас чувствуешь что-то живое, осмысленное, как будто физиономия есть у каждой отдельной буквы. И неправда это, будто по звуковой они легче выучиваются. Задолбить, может быть, скорей задолбят. Но никакого просвещения от этого не прибавится. Всё это одни выдумки! Никогда не поверю...»

Пройдёт всего лишь два месяца, и Варвара Васильевна Тимофеева начнёт понимать Достоевского. В тот мартовский день, когда это случится, они будут обсуждать его статью о выставке новой русской школы:

«...Фёдор Михайлович, говоря о некоторых картинах, находил в них совсем не то, что находили... знакомые мне литераторы. Они, например, восхищались известной картиной Ге – «Тайная вечеря» – за её «реализм», за то, что изображаемое в ней событие носит характер такой *обыкновенности*, как будто дело происходило в наши дни, в Петербурге, где-нибудь на Подьяческой, за ужином в складчину, тайком от полиции, в кухмистерской Митрофанова; за то, что все апостолы на картине – как будто современные «социалисты», Христос – по-нынешнему – «хороший, добрый человек, с экстагическим темпераментом», а Иуда – самый обыкновенный шпион или *agent-provocateur*, получающий по таксе за донос...»

А Достоевский говорил о той же картине: «Где же тут восемнадцать веков христианства? Где идея, вдохновлявшая столько народов, столько умов и сердец? Где же Мессия, обетованный миру Спаситель, – где же Христос?!»

Они говорили о действительности, *как она есть*... А Достоевский говорил, что такой действительности «совсем не существует»...

Они хвалили новую школу за то, что она «свободна от идеальничанья, от фальши, лганья». А Достоевский доказывал, что именно тут-то и кроются фальшь и самое жалкое рабство перед «направлением», так как *сути вещей* нам знать не дано, и во всём, что мы ни изображаем, мы выражаем только самих себя и наши идеи о мире вещей и явлений...

<...> Статья была написана страстно – он, впрочем, всё писал страстно, и эта горячая страстность невольно сообщалась и мне. Я впервые тогда почувствовала на себе неотразимое обаяние его личности <...> Я ощутила тогда всем моим существом, что это был человек необычайной духовной силы, неиз-

меримой глубины и величия, действительно *гений*, которому не надо слов, чтобы видеть и знать. Он всё угадывал и всё понимал каким-то особым чутьём. И эти догадки мои о нём много раз оправдывались впоследствии».

...В «Яндексе» отыскал «Тайную вечерю» Николая Ге. Эти его «апостолы на картине – как будто современные «социалисты», Христос – по-нынешнему – «хороший, добрый человек, с экстатическим темпераментом», а Иуда – самый обыкновенный шпион...» – действительно не вдохновляли.

«Как же говорил этот мальчишка? Этот Холден? Э-э, вроде бы так...»

И сразу остро услышал его мысль. И стал торопиться записать за ним: «...Христос не отправил бы этого несчастного Иуду в ад!.. Апостолы, те, наверно, отправили бы Иуду в ад – и не задумались бы! А вот Христос – нет, головой ручаюсь...»

«Да, нужно дополнить Тимофееву, – означилось вдруг, – ведь корректор «Гражданина» не всегда точно передаёт смысл суждений Достоевского... Вот сейчас и дополнить».

По экрану ноутбука снова поползли строчки.

«В статье «По поводу выставки», опубликованной в 1873 году в «Гражданине», Ф. М. Достоевский высказал свои важнейшие эстетические идеи. Так, он писал: «Я ужасно боюсь «направления», если оно овладевает молодым художником, особенно при начале его поприща; и как вы думаете, чего именно тут боюсь: а вот именно того, что цель-то направления не достигается <...> «Надо изображать действительность, как она есть», – говорят они (современные художники), тогда как такой действительности совсем нет, да и никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее, пройдя через его чувства; стало быть, надо дать поболее ходу идее и не бояться идеального. <...> Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность».

...С утра у Марины был безотчётно-радостный вид, и я спросил:

– Над чем смеёшься, моя поцелуйщица?

– Да так... вспомнила вашего Спасского... его подарок шефу...

– А! Теперь у Графа есть собственный осколок астероида Касталия...

Слышала бы ты, в каких выражениях Максим пояснял шефу, что этот камешек назван в честь Кастальского источника... И он, «этот кусок космического гостя будет будоражить воображение, помогать отбиваться от ревизора – в общем, красить действительность в яркие краски». Максим, кстати, и про идеал что-то ввернул, но я уже не припомню что...

– Похоже, готовился!

– Да, чёрт надавай, похоже!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

«Станция «Комсомольская»» – высветилось на красном табло, и густой людской поток колыхнулся из вагона.

Толкая то в спину, то в плечо, поток этот понёс меня наверх по эскалатору и выплеснул на многодорожный перекрёсток. Какой-то сдобный блондин, округлявший и подслащавший свою речь, громко говорил по телефону. Я тоже достал телефон и позвонил Ивану Гулевичу. Уточнил, где мы встретимся. Потом пошёл к набережной, рассматривая маски домов. В глубине одного из жёлтых дворов возле отвернувшейся от дороги элитной высотки стояла следовательская «Волга».

Когда я уже собирался войти в дом, меня вдруг остановил кегельно-головый сержант с маслом блестящими глазами. Проверил документы и, бряцнув автоматом, пропустил. Я вошёл. Отворил запевшую дверь, оказался в зачаточном коридоре, свернул направо. Отпахнул ещё одну дверь. Гулевич-младший ждал на площадке. Он как-то безоружно распялил руку, приветствуя меня:

– Вот, Алексей Николаич, снова огнестрел... Убит владелец центрального универсама... господин Ягужинский...

– Да? – полувопросительно произнёс я, заглянув под простыню. – Кажется, я видел этого господина в аукционном доме... Помнится, он тогда лестничные марши и подвалы в своём же универсаме выкупал...

Иван прислонился к желтоосвещённой стене. Он вдруг задумался, и его рука на папке задумалась тоже.

– Рассказывайте, товарищ следователь... Что же вы молчите? Из какого оружия убили Ягужинского?

– Криминалисты нашли две гильзы от «ТТ», – выдавил кое-как Гулевич-младший.

– И почерк знаком?

– Очень знаком... Тот же, что и в эпизоде с Подобедовым...

– А кто обнаружил убитого?

– Соседи.

– Где же была семья? Охрана? Была ли у него охрана?

– Этим утром его жена, дочери Надя и Катя отправились к репетитору... Девочки французский учат... Водитель, он же и охранник, их отвёз.

– Так, а время смерти установили?

– Да, между восемью и девятью часами... Ягужинский сам открыл убийце... Возможно, подумал, что это жена или одна из дочерей... что-то забыли и вернулись...

– Раз выстрелов никто не слышал, значит, пистолет был с глушителем.

– Алексей Николаич, я же говорю: здесь работал тот самый киллер...

– Да уж, рядись не стыдись, а работай не ленись!

– Иван Игорич, – неожиданно кашлянул сзади уже знакомый кегельно-головый сержант, – мы вот в мусорном баке... там...

– Ну, Захар, давай, не томи! – обернувшись, сказал следователь.

– Ну, мы там, в общем, волюну с глушителем нашли...

Гулевич-младший многозначительно посмотрел на сержанта, потом на меня и наконец на криминалистов. Вскоре приехал катафалк, труп погрузили, и нам больше нечего было здесь делать.

...Иван предложил подбросить меня домой.

Пока крутились в центре, парень повествовал о том, как они с Татьяной недавно побывали в аквапарке. Разговор не клеился, каждый думал о своём.

– Знаете, Алексей Николаич... – громко протянул вдруг Гулевич-младший. – В последнее время тако-о-е творится...

– Вы о чём, Иван?

– О расследованиях... Представьте: то сожитель женщине глаза выкалывает, то подросток дом убийцы своей семилетней сестры поджигает, то...

– Если можно, то о подростке поподробнее...

– Хорошо, слушайте... Пятнадцатилетний Лёня Вознюк не защитил сестрёнку, как он думал, не вывел на чистую воду убийцу, которого давно подозревал... В общем, поджог дома не месть, а попытка уничтожить страшное место.

Я взглянул на Ивана, щека его была перерезана тенью.

– Это где случилось? В Волгограде?

– Да, в посёлке имени Горького, – продолжал рассказ без всяких мостиков, иногда сбиваясь, Гулевич-младший, – на Максимке... Там жила многодетная семья Крюковых. Отец Юрий Крюков, тридцати семи лет, дважды судимый, перебивавшийся случайными заработками. Его жена Оксана, двадцати шести лет, безработная. И дети: семилетний старший, младший, которому нет и года, две дочки, трёх и пяти лет... Родители пили тихо, за глухим забором, по посёлку друг за другом не бегали, участкового не тревожили. Две недели назад семья Крюковых уменьшилась. Первоклассник Витя Крюков потерялся по дороге в школу – во всяком случае, так сообщала мать, прибежав выяснять у учителей, куда исчез ребёнок. Витю искали и полицейские, и волонтеры. Дважды обошли всю Максимку, проверили депо, кладбище, заброшенные склады, лесопосадки, колодцы. Через несколько дней Юрий Крюков признался в убийстве сына...

– Путал следствие?

– Всё время... Только когда отрыли на свалке труп, отец сказал, что избил сына за «плохое чтение». Примерно двадцать ударов по голове, ещё десять по животу, порванная селезёнка, печень, сломанные рёбра. Кроме того, ребёнок был изнасилован... На всякий случай начали опять искать Полину Вознюк, семилетнюю жительницу посёлка, пропавшую ещё в прошлом году. Крюков тогда был вторым по степени важности подозреваемым. Мы склонялись к версии, что к этому преступлению был причастен отец Полины. Думали, что Крюкова отработали в полном объёме.

– Значит, невинного посадили?

– Нет, не значит... Через два дня после исчезновения Полины отец её повесился... А дело, дело закрыли... И вот теперь, спустя год, жена Крюкова неожиданно намекнула, что Поля – на их огороде. И мы действительно вскоре её нашли... Что с нею сделал душегуб, уже не узнаешь... Сам он уверяет, что по пьянке сбил машиной... Когда Крюкова арестовали, жена его, опасаясь самосуда, бросила дом, забрала детей и сбежала из посёлка... Вот этот пустой, страшный дом пятнадцатилетний Лёня Вознюк и спалил...

Иван замолчал, и больше мы не разговаривали.

Изнаночный мир рассыпался.

И только дома, немного погодя, я снова взялся за страшный материал, собранный памятью. Вспомнил застреленного коммерсанта, погибших детей, женщину, которой сожигатель выколол глаза. Странно, конечно, но в «Дневнике писателя» я вскоре нашёл такое:

«Видали ли вы, как мужик сечёт жену? Я видал...» – писал Ф. М. Достоевский.

<...> Связав жену или забив её ноги в отверстие половицы, наш мужичок начинал хладнокровно, сонливо даже, мерными ударами, не слушая криков и молений, то есть именно слушая их, слушая с наслаждением, а то какое было бы удовольствие ему бить?..

Удары сыплются всё чаще, резче, бесчисленнее; он начинает разгорячаться, входит во вкус. Вот уже он озверел совсем и с удовольствием это знает. Животные крики страдальцы хмелят его, как вино: «Ноги твои буду мыть, воду эту пить», – кричит жена нечеловеческим голосом, наконец затихает, перестаёт кричать и только дико как-то хрютит, дыхание поминутно обрывается, а удары тут-то и чаще, тут-то и садче...

Он вдруг бросается как ошалелый, схватывает палку, сучок, что попало, ломает их с трёх последних ужасных ударов на её спине – баста! Отходит, садится в угол, вздыхает и принимается за квас.

Маленькая девочка, их дочь (была же у них и дочь!), на печке в углу дрожит, прячется: она слышала, как кричала мать. Он уходит. К рассвету мать очнётся, встанет, охая и вскрикивая при каждом движении, идёт доить корову, тащится за водой, на работу.

А он ей, уходя, своим методическим, медленным и важным голосом:
 – Не смей есть этот хлеб, это *мой* хлеб.
 <...> Она удавилась в мае поутру... Её видели накануне избитую, совсем обезумевшую...»

По городу растягивался слоистый голубой туман.
 Звуки ушли на покой. И только ровно, на одной ноте, гудела снегоуборочная машина.

На полу, в светлом квадрате, шевелилась петлистая тень. Была пора первосонья, но я не спал. Всё сказанное сегодня казалось каким-то карикатурным огрублением. Всё как-то обваливалось внутри.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Покой, тишина, прозрачность...

Ещё один очистительный штрих, и день открылся.

Горбы сугробов уже к обеду истончились. Весна вышла на улицу. Всё играло, всё мрело. Исчезли капюшоны, шапки, платки, беретки. Всплёскивали, журчали и булькали ручьи. На дорогах появились лужи, и по ним растекались радужные пятна от бензина. Счастливо гудели голоса. Откуда-то из поворотен выкатывались псы и с лаем кидались на машины.

Солнечный диск создавал иллюзию круглоты.

Вспомнился Ван Гог: «...солнце и свет, который за неимением слов можно назвать только жёлтым, бледновато-жёлтым, бледно-зеленовато-жёлтым, бледно-золотисто-лимонным. Как прекрасен жёлтый цвет!»

«Да, Винсент, «как кузнечик, упивается солнцем»... Почему бы не сделать то же самое? Выходной, мои в бассейне... Встречаемся в «Жар-Пицце» только в шесть... Так, распахнуть окно, и – в путешествии... за моря-океаны».

Отшторил занавеску, поманипулировал створами окна.

Достал с полки тетрадку Гулевича, рассеянно открыл и закрыл её. Сел на диван, скрестил вытянутые ноги, улыбнулся, слушая улицу, и ущипнул складку на брюках. Вдруг мелькнула непонятная, недоступная мысль. Снова открыл пухлую тетрадку с сально-жёлтой обложкой и, наконец, ясно осознав, что отношение Гулевича к Колумбу двойственное – от восхищения сначала и до ненависти потом, – стал читать:

«2 сентября 1992 г. Мигал, улыбался, потухал далёкий кубинский маяк. Якорь не бросали, шли всю ночь... И вот океан просветлел, он был отзывчив и пуст. Галдели снасти, тпрукал ветер в парусах. Серая, с рваным отверстием туча висела над головой».

Володя Гермаш сказал, что будь он уже на Кубе, то заказал бы греческий салат, картофельную запеканку и скоро бы справился с ними. Гастрономические фантазии завладели всеми: Толя Красноармейцев возжелал пломбира на палочке, Колосков – запечённой сёмги, я – пасты и итальянского вина, Иосиф – бараков в масле, а кок Рауф – пренебреженно дичи. Впрочем, позавтракали, как и в предыдущие дни, сухарями и пресной водой».

«3 сентября 1992 г. Северо-восток Кубы, бухта Баризэй – именно здесь пятьсот лет назад высадился Колумб. Перед нами, как, возможно, и перед ним тогда, открылся охряной горизонт. Солнце падало под гору. Все краски жили своей жизнью, и менялся облик яхты, входившей в береговую прохладу. Но не прошло и часа, как мрак поглотил все подробности».

И отражённый остров задремал,

Топя столбы причалов, и ступени,

И тёмные сады на дне зеркал...»

«4 сентября 1992 г. Звон колокола задел тишину рассвета и стал первым знаком для меня. Я ещё не догадывался, что этот день навсегда изменит моё отношение к Христофору Колумбу.

Как известно, всего через двое суток после первой встречи с туземцами мореплаватель записал: «50 солдат достаточно для того, чтобы покорить их всех и заставить делать всё, что мы хотим». Уже вскоре написанное материализовалось. И свидетельств на Кубе было предостаточно. В первом же местном музее нам рассказали о геноциде испанцев против коренного населения.

Сейчас я мысленно пробегаю этот рассказ.

«Колумб приплыл в Новый Свет из настоящего ада, каким была тогда Европа... В каждом переулке вас мог подстерегать преступник. Привычными были голод, эпидемии, бунты, работорговля. Особо ценились несовершеннолетние. «Когда придут корабли из Румынии, – сообщалось в письме одного работорговца клиенту, – там должны быть и девочки, но имей в виду, что маленькие рабыни так же дороги, как и взрослые; из тех, кто представляет хоть какую-то ценность, ни одна не стоит меньше 50–60 флоринов».

В то время, когда Колумб выцганивал у Фердинанда с Изабеллой деньги на корабли, в Испании бушевала инквизиция. Заподозренных в колдовстве, ереси и прочих отступлениях от католицизма сжигали на кострах, варили в котле или подвешивали на дыбе, увечили, топили, четвертовали.

Такова была Европа, которую Христофор Колумб и его моряки покинули в августе 1492 года. Они были типичными европейцами, о которых в книге майя Чилам Балам сказано: «Когда белые господа пришли в нашу землю, они принесли страх и увядание цветов. Они изуродовали и погубили цвет других народов... Мародёры днём, преступники по ночам, убийцы мира».

По свидетельству современного исследователя Станарда, численность коренного населения обеих Америк к появлению Колумба составляла от ста до ста сорока пяти миллионов человек. Два века спустя оно сократилось на 90 процентов.

Видна параллель с методами нацистов. Испанцы, как впоследствии и гитлеровские зондеркоманды, использовали для травли людей натренированных псов, проводили карательные экспедиции с массовыми казнями. Именно испанцы установят правило, что за одного убитого европейца они будут убивать сто индейцев.

Всё население Кубы и других островов было учтено как частная собственность, которая должна приносить прибыль. Колумб обязал всех жителей старше четырнадцати лет каждые три месяца сдавать напёрсток золотого песка или двадцать пять фунтов хлопка. Сдавшие этот оброк получали медный жетон с указанием даты. Это гарантировало им три месяца жизни. Кто жетона не получал, тот лишался кистей рук. Только на Эспаньоле таким изощрённым способом было убито порядка десяти тысяч индейцев.

Но самым, пожалуй, страшным было оказаться на рудниках.

«Если двадцать здоровых индейцев, – писал современник, – опустятся в шахту в понедельник, только половина может подняться из неё искалеченными в воскресенье». Станард подсчитал, что рудокопы жили не больше трёх или четырёх месяцев. То есть примерно столько же, сколько и рабочие на фабрике синтетической резины в Освенциме в 1943 году.

Уже Колумб начал демонизировать своих жертв. Например, он представлял туземцев как «злых жителей острова Кариба, которые едят людей». Современные антропологи доказали, что это выдумка. Выдумка, ставшая руководством к геноциду.

Приёмы Колумба, описавшего «свирепых дикарей», у которых «посреди лба находится глаз», перенял потом рейхсфюрер СС Гиммлер.

Специфику войны на Восточном фронте нацист объяснял так:

«Во всех предыдущих кампаниях у врагов Германии было достаточно здравого смысла и порядочности, чтобы уступить превосходящей силе, благодаря их давлению и цивилизованной... западноевропейской утонченности. В битве за Францию вражеские части сдавались, как только получали предупреждение, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Конечно, мы, эсэсовцы, пришли в Россию без иллюзий, но до последней зимы слишком многие немцы не осознавали, что русские комиссары и твердолобые большевики преисполнены жестокой воли к власти и животного упрямства, которое заставляет их драться до конца и не имеет ничего общего с человеческой логикой или долгом, а является инстинктом, присущим всем животным. Большевики были животными, настолько лишёнными всего человеческого, что в окружении и без пищи они прибегали к убийству своих товарищей, чтобы подольше продержаться, поведение, граничащее с каннибализмом. Это война на уничтожение между грубой материей, первобытной массой, лучше сказать, недочеловеками-унтерменшами, которых ведут комиссары, и германцами...»

«Кто эти люди, чьи умы и души стояли за геноцидом мусульман, африканцев, индейцев, евреев, цыган и других религиозных, расовых и этнических групп? Кто они, продолжающие совершать массовые убийства и сегодня? – спрашивал Станард и отвечал: – Христиане». Исследователь выдвинул тезис о связи между европейскими колонизаторами и нацистами, идеологии которых всё ещё живы».

Когда музейный экскурсовод Сантьяго закончил рассказ, я уже возненавидел Колумба. Меня вдруг придавила мысль: «Вот в память о ком мы прошли шесть морей и один океан...»

«5 сентября 1992 г. Сегодня видели Santa Maria del Cobre – Мадонну медных рудников (исп.) – чтимую на Кубе статую «медной» Богоматери. Как нам сказали, она считается покровительницей рыбаков и Кубы вообще.

Снова замаячили страшные рудники, индейцы и их мучители.

Однажды испанцы построили особую виселицу, чтобы повешенные, пока силы не оставят их, могли касаться земли пальцами ног. Люди в латах с крестами вздёргнули на ней тринадцать индейцев, одного за другим, в честь Спасителя и его апостолов. И хотя несчастные были ещё живы, испанцы испытывали на них остроту своих мечей. Затем иссечённые тела обмотали соломой и сожгли. Один конкистадор схватил двух малышей года по два и проткнул им горло кинжалом... Как это напоминает бои в Май Лай, Сонг Май и других вьетнамских деревнях! Сходство ещё более усиливается благодаря термину «умиротворение», использовавшемуся сначала испанцами, а потом и американцами для оправдания своих преступлений...

Впрочем, отчего же в прошедшем времени? Они и сейчас используют».

...Пока добирался до «Жар-Пиццы», где должен был ужинать вместе с Мариной и Артемием, всё думал: «Идеологии уничтожения... Нацизм... неофашизм в Латвии, на Украине... Это уже затрагивает нас, и мы как мыши под венником сидеть не имеем права...»

День так и не добился «высокой жёлтой ноты».

Безнадёжно-красный закат не обещал этого и завтра.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

- А в пицце что? Колбаса?
- Да, сынок.
- И помидоры с сыром?

– Да.
– И Чиполлино?
– Ах ты, маленький остряк! – Марина ущипнула сына, и он прыснул тихим смешком.
– Пап, а тебе-то как пицца? – улыбаясь, полюбопытствовал Артемий.
– Мне понравилась, а вот поджелудочной, кажется, нет, – сказал я и притормозил, пропуская горчичный троллейбус.
– А что такое «поджелудочной»?
– Не забивай себе голову, ладно?
Впрочем, «ладно» на сына не подействовало, пришлось объяснять. А потом Артемий и Марина стали подсыпая друг другу вопросы. Так всю дорогу и скоморошничали. Приехали радостные. И радость эта вломилась в дом. Двери громко хлопали, разговаривали... Все смеялись...

Вылезли серые морды туч, стали громоздиться на горизонте.

«И что они выставились?»

В ответ громыхнуло, и вдруг перепал дождь. Пахло землёй, садом и прелью. На подоконнике белели капли. Хотя нет, это была одна большая капля. Остальные влились в неё.

«Как в «Ностальгии» Андрея Тарковского... для наглядности мысли...»

Посматривая на каплю, я начал выстукивать ликующую бетховенскую «Оду к радости». Вот только крик безумца, охваченного огнём, тотчас всё оборвал. О чём кричал он? О чём хотел предупредить страшной своей смертью?

«Истинное зло нашего времени в том, что не осталось больше великих учителей, – взывал этот умный сумасшедший за минуту до самосожжения. – Мы должны вслушиваться в голоса, которые лишь кажутся нам бесполезными. Нужно, чтобы наш мозг, загаженный цивилизацией, школьной рутинной, страховкой, снова отозвался на гудение насекомых. Надо, чтобы наши глаза, уши, все мы напитались тем, что лежит у истоков великой мечты. Кто-то должен воскликнуть, чтобы мы построили пирамиды. И неважно, если мы их потом не построим. Нужно пробудить желание. Мы должны во все стороны растягивать нашу душу, словно это полотно, растягиваемое до бесконечности. Если мы хотим, чтобы наша жизнь не пресеклась, мы должны взяться за руки. Мы должны смешаться между собой – так называемые здоровые и так называемые больные. Глаза всего человечества устремились на водоворот, который вот-вот затянет всех нас. Кому нужна свобода, если вам не хватает мужества взглянуть в наши глаза? Только так называемые здоровые люди довели мир до грани катастрофы. Люди должны вернуться к единству, а не оставаться разъединёнными. Достаточно присмотреться к природе, чтобы понять, что жизнь проста. Нужно только вернуться туда, где мы вступили на ложный путь. Нужно вернуться к истокам жизни. Что же это за мир, если сумасшедший кричит вам, что вы должны стыдиться себя! А теперь – музыку!»

Мысли выплясывали какую-то затаённую боль. Я затворил окно, смахнул дождевую каплю, опустился в кресло и поник. Некоторое время спустя заметил на подлокотнике «АиФ», кипевший цветными снимками. Нехотя сгрёб пёструю газету и швырнул на стол.

Сумерки осели.

...Гулюкал ветер, шевелил гардины.

Торшер в виде жёлтого пятна заглядывал в ноутбук. Бедные, объединённые фразы раздражали. Я подумал, вписал несколько слов и через мгновение всё похерил, щёлкнув клавиатурой. Мысли стали обсуждать эту ситуацию. Впро-

чем, вскоре, благодаря литературоведу Татьяне Касаткиной, всё выправилось. Она-то и объяснила инаковость Ф. М. Достоевского:

«Дело в том, что Достоевский принадлежит к тем писателям, которых абсолютно нельзя читать линейно. А его очень часто именно так и читают. То есть если человек только один раз прочитал какой-то роман Достоевского, то это всё равно, что он его не читал ни разу. Потому что всё, что Достоевский говорит, он говорит <...> посредством очень сложной системы символов или, как он сам формулирует, «лиц и образов».

<...> Почему его так трудно читать? Постоянно приходится работать над самим собой. И целый ряд препятствий, барьеров и рвов читатель просто не в состоянии пройти, если он эту работу не произвёл. <...> Есть и ещё один важный момент. Достоевский при всём сказанном не наступают на читателя – ни со своим культурным багажом (на самом деле – огромным!), ни со своими идеями. Хотя он и говорит, что главное в писателе – это перст, страстно поднятый, но эта идея, этот перст, по Достоевскому, должен не наступать на читателя, а отступать от него».

Попробуем очеркнуть общее между литературой и кино, между Ф. М. Достоевским и А. А. Тарковским.

Приёмы романиста – создание смысловой многослойности, отказ от упрощения и очищения линии; пересечение снов и яви; полифония и «перст, страстно поднятый» – перекликаются с приёмами режиссёра.

«Да, мои фильмы трудны для восприятия, – признавался Андрей Арсеньевич, – но я не пойду ни на малейшие компромиссы с толпой, дабы сделать их более доступными или «интересными», я не сделаю и полшага к тому, чтобы быть понятным зрителю».

Как и Достоевскому, Тарковскому важен образ.

«Образ – это впечатление от истины, – пояснял режиссёр, – на которую нам было дозволено взглянуть своими слепыми глазами <...> Образным мышлением художника движет энергия откровения. Это какие-то внезапные озарения, точно пелена спадает с глаз! Но не по отношению к частностям, а к общему и бесконечному, к тому, что в сознании не укладывается... Эти поэтические откровения, самоценные и вечные, – свидетельства того, что человек способен осознать и выразить своё понимание Того, чьим образом и подобием он является...»

Художников действительно многое сближает.

Известно, что Тарковский не раз подавал в Госкино СССР заявку на экранизацию «Идиота». Мечтал снять фильм и о самом Достоевском. К сожалению, мечта так и осталась в дальнем углу души. Кинобонзы и партийные функционеры сделали для этого всё, обвинив режиссёра в элитарности. А ведь он хотел, чтобы зритель лишь как следует поработал над собой».

И вдруг отсмолило: «Людам не нужны теперь великие учителя... Люди кумируют тех, кто не лишает их покоя, баюкает льстивыми переливами... Наконец, просто не мешает вышагнуть за черту».

...Забелелось. Пришёл горласто новый день.

Влажный воздух обмывал меня всего. Сейчас, здесь, на веранде дома, мне было радостно, даже несмотря на то, что полногрудые тучи почти заслонили солнце.

Да, именно радостно и было... Я знал, что великие учителя по-прежнему нужны. И кажется, слышал ликующую бетховенскую музыку...

Продолжение следует.



**Александр
ДЕМЧЕНКО**

Окончание. Начало в № 3–4 2017

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОШЛОЕ САРАТОВА

Часть 2



Лев Абрамович Кассиль

Лев Абрамович Кассиль (1905–1970) родился в слободе Покровской (позднее – город Покровск, ныне – Энгельс), учился там вначале в царской гимназии, затем в советской Единой трудовой школе, после того в одной из школ Саратова и, наконец, в Художественно-практическом институте при Художественном музее имени А. Н. Радищева. Литературную деятельность начал рано, с 1925 года.

Во многих его повестях и рассказах действие происходит на волжских берегах, начиная с одного из первых опубликованных произведений – «**Изустный период в городе Покровске**». А затем последовали цикл рассказов «**Есть на Волге утёс**» и целый ряд других его произведений, которые будут названы ниже.

В первой его большой творческой удаче, автобиографической дилогии «**Кондуит и Швамбрания**», без всяких околичностей, сразу же обозначено место действия – Покровская слобода, и многократно упоминается город на другом берегу Волги – Саратов. Этой своей книгой писатель навеки прославил маленький заволжский город, каким он был в 1910-е годы. Кассиль живописует его очень колоритно.

«В открытые окна рвалась визгливая булга торговков. Пряная ветошь базара громоздилась на площади. Хрумкая жвачка сотрясала торбы распряжённых лошадёнок... Вozy молитвенно простирали к небу оглобли. Снедь, рухлядь, бакалея, зелень, галантерея, рукоделие, обжорка... Тонкокорые арбузы лежали в пирамидках, как ядра в кинокартине «Севастопольская оборона».

Картина эта шла за углом в кинематографическом электротееатре «Эльдорадо». Кинематограф всегда окружали козы. У афиши, расклеенных на мучном клейстере, паслись целые стада.

Город Покровск раньше был слободой. Слобода была богатая. На всю Россию торговала хлебом. На берегу Волги стояли громадные амбары. Миллионы пудов зерна хранились в этом амбарном городке. Тучи голубей закрывали солнце. Зерно грузили на баржи. Маленькие буксирные пароходы выводили громадные баржи из бухты, как выводит мальчик-поводырь слепца».

Рассказывая о замысле своей знаменитой диалогии, писатель утверждал, что в городе его детства, который был типичной российской глубинкой, при желании удавалось открыть немало чудесного: *«Не надо было никуда бежать, не надо было искать обетованную землю. Она здесь, около нас».* Действительно, какой богатейший материал дала ему Покровская слобода, но вместе с тем какой цепкой памятью и писательским мастерством нужно было обладать, чтобы поведать обо всём так ярко и талантливо! Несомненно, свою роль в этом сыграла глубокая привязанность к родным местам, в чём Кассиль признавался не раз: *«Много мне приходилось ездить по белу свету, но, где бы я ни был, всегда меня тянет на Волгу, в саратовские края... На каких бы морях и реках я ни был, перед моими глазами всегда плывёт полноводная, бескрайняя громада родной Волги».*

В городе Энгельсе именем Льва Кассиля названа одна из улиц и открыт Литературный дом-музей Л. А. Кассиля. Присущая писателю удивительная склонность к выдумке дала основание установить ему в городе детства памятник «Фантазёр», где Лев Кассиль изображён молодым мечтателем с лопухом на голове (2006, скульпторы К. Матвеева, А. Садовский и др.).

Из множества его произведений сосредоточим внимание на тех двух, которые имеют прямое касательство к Поволжью.

«Кондуит» и «Швамбрания» – две автобиографические повести, написанные одна за другой и позднее объединённые в диологию (1928–1931). В них с большим остроумием рисуется жизнь двух мальчиков-братьев в семье и вне дома. Вне дома – это, прежде всего, в дореволюционной гимназии, а затем в школе в первые годы Советской власти. Попутно через призму детского восприятия показаны социально значимые события Первой мировой войны и двух революций 1917 года. В конечном счёте, суть книги состоит в стремлении маленьких героев вырваться из будней повседневности и скучной жизни взрослых в мир фантазии и свободного волеизъявления, что позволя-

ет удовлетворить свойственную детскому возрасту потребность в приключениях и путешествиях.

С самого начала найден превосходный тон рассказа – весело, легко, «играючи», с великолепным чувством юмора.

«Вечером 11 октября 1492 года Христофор Колумб на 68-й день своего плавания заметил вдали какой-то движущийся свет. Колумб пошёл на огонёк и открыл Америку.»

Вечером 8 февраля 1914 года мы с братом отбывали наказание в углу. На 12-й минуте братишку, как младшего, помиловали, но он отказался покинуть меня, пока мой срок не истечёт, и остался в углу. Несколько минут затем мы вдумчиво и осязательно исследовали недра своих носов. На 4-й минуте, когда носы были исчерпаны, мы открыли Швамбранию».

Для Лёвы и его младшего брата Оськи открылась эпоха бесконечно изобретательных игр в таинственную страну Швамбранию. При этом важнейшая из затей состояла в войнах с соседними «странами».

«Войны в Швамбрании начинались так. Почтальон звонил с парадного входа дворца, в котором жил швамбранский император.»

– Распишитесь, ваше императорское величество, – говорил почтальон. – Заказное.

– Откуда бы это? – удивлялся император, мусоля карандаш.

Почтальоном был Оська, царём – я.

– Почерк вроде знакомый, – говорил почтальон. – Кажись, из Бальвонии, от ихнего царя.

– А из Кальдонии не получалось письма? – спрашивал император.

– Пишут, – убеждённо отвечал почтальон, точно копируя нашего покровского почтальона. (Тот всегда говорил «пишут», когда его спрашивали, есть ли нам письма.)

– Царица! Дай шпильку! – кричал затем император.

Вскрыв шпилькой конверт, император Швамбрании читал: «Дорогой господин Царь Швамбрании!

Как вы поживаете? Мы поживаем ничего, слава Богу, вчера у нас вышло сильное землетрясение и три вулкана извергнулись. Потом был ещё сильный пожар во дворце и сильное наводнение. А на той неделе получилась война с Кальдонией. Но мы их разбили наголо и всех посадили в Плен. Потому что бальвонцы все очень храбрые и герои. А все швамбраны дураки, хулиганы, галахи и вандалы. И мы хотим с вами воевать. Мы Божьей милостью объявляем в газете вам манифест. Выходите сражаться на Войну. Мы вас победим и посадим в Плен. А если вы не выйдете на Войну, то вы трусы, как девчонки. И мы на вас презираем.

Передайте поклон вашей мадам царице и молодому человеку наследнику.

На подлинном собственной ногой моего величества отпечатано каблуком

Бальвонский Царь».

Параллельно приключениям в стране Швамбрании с замечательной красочностью описывается происходящее в Покровской гимназии.

Это бесконечная череда всевозможных шалостей и проделок, происшествий забавные и не очень, когда, например, повествуется о «весёлом» изуверстве, царившем в среде гимназистов, и уместным становится выражение: *и смех и грех*.

«Дрались постоянно. Дрались парами и поклассно. Отрывали совершенно на нет полы шинелей. Ломали пальцы о чужие скулы. Дрались коньками, ранцами, свинчатками, проламывали черепа. Старшеклассники дрались нами, первоклассниками. Возьмут, бывало, маленьких за ноги и лунят друг друга нашими головами. Впрочем, были такие первоклассники, что от них бежали самые здоровые восьмиклассники.

Меня били редко: боялись убить. Я был очень маленький. Всё-таки фаза три случайно валялся без сознания».

Большая дистанция, отделяющая нас от времени написания этой книги, позволяет нам усмотреть достаточно явственные параллели между подобными гимназическими «смертоубийствами» и теми устрашающими побоищами взрослых, которые повели свой отсчёт в XX столетии с Первой мировой войны.

Другая параллель невольно возникает в ходе развёртывания хроники «войны», объявленной гимназистами учителям. Это живо напоминает охвативший страну того времени пафос раскрепощения и разгорающееся пламя классовых битв. При этом маленькие бунтари дифференцировали своих «врагов» на особо ненавистных и более или менее терпимых. Среди первых были директор (ему дали прозвище Рыбий Глаз) и надзиратель (Цап-Царапыч). Среди вторых – инспектор, которого *«гимназисты почти любили»* и у которого были *«свои собственные методы воспитания»*. Разбирая какое-либо «преступление» класса, он приходил после уроков, держал гимназистов стоя около часа, а затем спокойно отчитывал следующим образом:

«– Ну-с! Что, болваны? Доостолопились, хулиганы, брандахлысты, голодранцы! При всей честной гимназии ошельмую, голову тьяны! Шарлатаны, лодыри. Стыдно небось, обормоты? Мерзавцы, оборванцы! Я ещё доберусь до вас, прохвосты. Сидите вот теперь всем классом без обеда. А дома-то обед ждёт. Щи горячие. Говядина жареная. Что? Хочется жрать? То-то и оно-то. А дома ещё батяка зад взгреет. Обязательно. Я записку специальную пошлю: спустите, дескать, вашему сыну штаны и всыпьте ему в задний кондуит по первое число...»

И, поговорив так около часа, отпуская домой. По одному, с промежутками. Нас уже не держали ноги».

Приведённая сцена свидетельствует о том, что раскрепощённости нравов сопутствовала полная раскованность речевого изъяснения, и заодно приходится только поражаться изобретательности писателя на этот счёт и тому, насколько исключительной сочности языка он добивается. В этой сочности многое приперчено экзотикой сугубо слободского происхождения, включая соответствующие «смачные» выражения. Характерен эпизод, когда Лёва, будучи первоклашкой, познакомился с девочкой и бравировал молодечеством на манер взрослых парней.

«— Вы дворников боитесь? — спросила она.

— Неохота связываться, — сказал я басом, — а так я чихал на них левой ноздрёй через правое плечо».

В добавление к этому улично-разговорному аргю воспроизводится пёстрая смесь наречий, бытовавших в Покровске. Вот, к примеру, пассаж по поводу объявившейся там моды ставить электронные звонки. «Около некоторых кнопок висели вразумляющие объявления: «Проблема не дербанить в парадное, а сувать пальцем в пупку для звонка».

Но вернёмся к маленьким мятежникам. Неизмеримо более жёсткий вариант «подпольной войны», которую вели гимназисты, преподносит эпизод, когда уже в годы Первой мировой войны в качестве учителя математики появился «скучнейший акцизный чиновник, скрывающийся от мобилизации, Самлыков Геннадий Алексеевич». Ученики-патриоты заведомо негативно относятся к нему. И вот очередной урок.

«Бац!!! За доской выстрелила печка... Трррах!!! Кто-то, зная ненависть Самлыкова к выстрелам, положил в голландку патроны. Учитель, бледнея, вскакивает. По классу ползёт волночный дым. Учитель бежит за доску. По дороге он наступает на невинный комочек бумаги. Класс замирает. Хлоп!!! Комочек с треском взрывается. Педагог отчаянно подпрыгивает. Едва другая его подошва коснулась пола, как под ней происходит новый взрыв. Класс, подавившись немым хохотом, сползает со скамеек под парты. Взбешённый учитель оборачивается к классу, но за партами ни души. Мы извиваемся, мы катаемся от хохота под скамейками.

— Дрянь! — кричит в отчаянии учитель. — Всех запишу!!!

И он осторожно, на цыпочках, ступает к кафедре. Подошвы его дымятся. Он достаёт с кафедры табакерку — надёжное утешение в тяжёлые минуты, но в табакерку, которую он перед уроком оставил на минуту на подоконнике в коридоре, нами уже давно всыпаны порох и молотый перец.

Самлыков втягивает взволнованными ноздрями понюшку этой жуткой смеси. Потом он застывает с открытым ртом и вылезавшими на лоб глазами. Ужасное «ап-чхи» сотрясает его.

Дверь в классе неожиданно растворяется. Мы встаём. Входит директор. Пальба в классе, хохот и орудийный чих педагога привлекли его.

— Что здесь происходит? — холодно спрашивает директор, оглядывая багрового педагога и великопостные рожи вытянувшихся гимназистов.

— Они... Ох!.. Ао!.. — надрывается Самлыков. — Чжихи!.. Ох!.. Чхицхи!..

— Геннадий Алексеевич, будьте добры ко мне в кабинет!

Чихая в директорскую спину, Самлыков плетётся за директором. Больше в класс он уже не возвращается. Мы избавились от него».

К завершающим страницам первой книги в буффонную чехарду бесконечных проделок гимназистов постепенно всё ощутимее вторгаются теневые моменты жизни тех лет — моменты уже далеко не детские. Драматические коллизии возникают в основном с началом Первой мировой войны, и они весьма болезненно отзываются на психи-

ке подрастающего поколения. Как-то соседская кухарка просит Лёву прочесть пришедшее с фронта письмо её сына. *«Я вижу на конверте священный штамп: «Из действующей армии». Почтительно принимаю письмо. Пропасть уважения и восторга скопилась в кончиках пальцев. Письмо оттуда! Письмо с войны! И я читаю вслух радостным голосом:*

– «...и ещё, дорогая мама Евдокия Константиновна, спешу уведомить вас, что это письмо подписую не собственной рукой, как я будучи сильно раненный в бою, то мне её в лазарете отрезали до локтя совсем на нет...»

Потрясённый, я останавливаюсь... Клавдина мать истошно голосит...»

Эта серьёзная тональность становится доминирующей во второй части дилогии. Последний год Первой мировой войны, Февральская и Октябрьская революции, затем Гражданская война, голод и холод – суровая явь бесповоротно вторгается в существование детей, вытесняя фантазии Швамбрании и заставляя их включаться в реальную жизнь.

Повзрослевшие герои повести встают лицом к лицу с переменившейся жизнью, с её сложностью и суровостью. Коренной перелом, происшедший в судьбе страны, воспринимается не только как неизбежное, но и как необходимое, даже желанное. Диалог братьев с чекистами, которые по поступившему к ним «сигналу» провели дознание и вдоволь нахохотались над Швамбранией, призван объяснить читателю и смысл детской затеи, и замысел новой власти – сделать так, чтобы реальная страна уподобилась выдуманной. Диалог этот начинается с вопроса чекистов: зачем ребятам всё это понадобилось?

«– Мечтаем, – сказал я, – чтоб красиво было. У нас в Швамбрании здорово! Мостовые всюду, и мускулы у всех во какие! Ребята от родителей свободные. Потом ещё сахару – сколько хочешь. Похороны редко, а кино – каждый день. Погода – солнце всегда и холодок. Все бедные – богатые. Все довольны. И вшей нет».

Это, разумеется, видение Швамбрании с поправкой на ситуацию Гражданской войны, обернувшейся обилием трупов и тифозных вшей. Но это и психологическая «отмычка» к тому, зачем братья выдумали себе такую страну и так долго играли в неё. В том же разговоре, похвалив за чудесную, забавную выдумку, один из чекистов высказался в пользу реальной жизни.

«– И у нас будут мостовые, мускулы и кино каждый день. И похороны отменим, и вшей упраздним. Только тут не мечтать надо, а работать...»

И в послесловии к дилогии, написанном много лет спустя, автор говорит о своём посещении города детства – Покровска, переименованного в Энгельс. Пояснение к двум фразам приводимого ниже текста: *«На месте, где земля закруглялась»* – таким когда-то казался братьям край земли; *«Аэропланы реяли, рокотали над городом, но я не видел задранных к небу голов»* – то есть самолёты стали привычным явлением.

«Город был неузнаваем. На месте, где земля закруглялась, простирался прекрасный Парк культуры и отдыха. Пустырь, оставшийся после разрушения швамбранского дворца, застраивался домами мясокомбината. Пробегал автобус. Торопились на лекции студенты трёх вузов. На бывшей Брежке выросли большие дома. Аэропланы реяли, рокотали над городом, но я не видел задранных к небу голов. Строились новый театр, клиника, библиотека. На горе красовался великолепный стадион. Утром отец повёз меня похвастаться новой больницей. Она ослепила меня блеском окон, полов, инструментов.

— Ну что, — говорил папа, наслаждаясь моим восторгом, — было в вашей Швамбрании что-либо подобное?

— Нет, — признавался я, — ничего подобного не было.

Так писатель утверждал превосходство новой яви над тем, что довелось ему застать в детстве.

С диалогией «Кондуит и Швамбрания» в отечественную литературу вошёл большой детский писатель со своим легко узнаваемым почерком. Его отличают увлекательное, динамичное, остросюжетное повествование, всегда последовательное и безупречно мотивированное, меткость и выразительность живого языка, великолепное чувство юмора и глубокое понимание мировосприятия детей и юношества. В одной из своих книг, обращаясь к читателям, своё кредо он сформулировал так: *«Мне очень хочется, чтобы из вас выросли сильные люди с отважным сердцем, ясной головой, умелыми руками и доброй душой, которая ни за что на свете не примирится со злом и несправедливостью».*

Этой благородной цели в полной мере отвечали написанные после знаменитой диалогии повести *«Черемыш — брат героя»* (1938), *«Дорогие мои мальчишки»* (1944), *«Улица младшего сына»* (1949, совместно с М. Поляновским).

Второй из названных книг предшествует посвящение: *«Светлой памяти Аркадия Петровича Гайдара»*. Этим Лев Кассиль справедливо связывал своё творчество, посвящённое детям, с наследием классика детской литературы, в том числе создавая в параллель гайдаровской сказке о Мальчише-Кибальчише свою чудесную сказку о стране Синегории.

В поисках страны Синегории автор едет в вымышленный город Затонск, который в его воображении связывается с городом детства — Покровском.

Повесть *«Дорогие мои мальчишки»* находится в прямом созвучии с повестью Гайдара *«Тимур и его команда»*. И там, и здесь идёт противоборство хороших ребят с теми, кто оказался на обочине правильной жизни, с ловчилами и прохиндеями разного толка. И достойные по праву побеждают, добро торжествует. И торжествует вера в общую победу добра на земле, чему посвящены последние строки:

«И вижу я, что совсем не так уж плохо живётся на свете, и снова верю, что отвага, верность и труд непременно победят, как бы ни утирался встречный ветер, как бы ни клочкотала гроза. Радуга ещё вскинется, обнимет мир, и всё будет хорошо, всё станет как надо, дорогие мои мальчишки!»



Лев Кассиль с читателями

В мечтаниях о счастливой жизни Кассиль, помимо Швамбрании, выдумал ещё две страны – Синегорию и Джумгахору в книгах «Дорогие мои мальчишки» и «**Будьте готовы, ваше Высочество!**» Позднее все они были собраны в книге «**Три страны, которых нет на карте**».

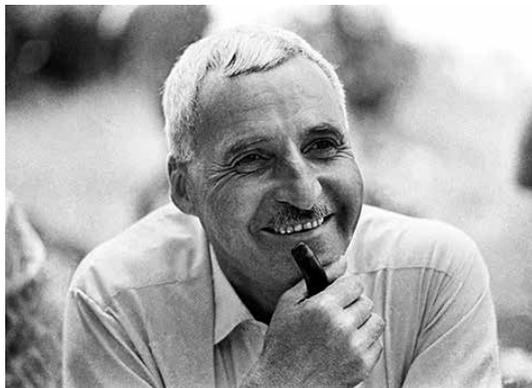
К литературе для детей и юношества в известной мере примыкают книги Льва Кассиля, посвящённые спорту. Он был в этой области первопроходцем, и ему принадлежат, пожалуй, лучшие произведения о спорте, разнообразные по тематике: «**Вратарь республики**» (1938) – футбол, «**Ход белой королевы**» (1950) – шахматы, «**Чаша гладиатора**» (1962) – о жизни русского богатыря, циркового борца. Все эти романы написаны с прекрасным знанием профессиональной специфики. Во вступительной главе ко второй из названных книг писатель излагает своё представление о сущности спорта.

«Спорт – одно из самых наглядных и великолепных проявлений человеческой воли, когда все телесные силы человека подчиняются всепоглощающему стремлению к самосовершенствованию и радостно утоляется здоровая, естественная жажда самоутверждения, удивительно сочетающаяся с самоотверженностью».

Детство главных героев романа «Вратарь республики» проходит опять-таки на Волге – в Покровске, а затем в Саратове, где в последующем разворачиваются многие события их жизни. В связи с этим даются прямые топографические пометки: «*На Немецкой заколочены витрины. У консерватории на перекрёстке пала лошадь... Это один из самых музыкальных городов в стране... Весной открылись Липки... В Затоне...*» И т. п. И ещё: «*В каждом хорошем городе есть свой заветный маршрут, обязательный для влюблённых. В Саратове он обычно начинался встречей на Немецкой и знакомством на углу консерватории. Первая прогулка пролегла через Липки...*»

В центре повествования – фигура богатыря-волжанина, парня огромного роста, могучей хватки и сноровки, который из грузчика вырос во всесветно известного вратаря и стал подлинным героем своего времени. Впечатляют знание автором футбольной игры во всех её тонкостях и умение преподнести это знание ненавязчиво, доступно, «играючи».

«Вратарь республики» – из лучших образцов отечественного «романа воспитания». Его конечный смысл – в раскрытии лучших, безусловно положительных и жизнеспособных сторон человека советской эпохи, что подаётся без какой-либо идеологической пелены. Поэтому и сейчас этот первый роман о спорте читается с неослабевающим интересом.



Константин (Кирилл) Михайлович
Симонов

Писатель **Константин (Кирилл) Михайлович Симонов** (1915–1979) с 1927 года жил в Саратове. Учился в средней школе, затем в ФЗО (школа фабрично-заводского обучения), работал токарем на одном из заводов, и очень памятным для него стал такой момент: *«Одним из самых счастливых дней моей жизни был день, когда я принёс домой первую зарплату. Мне было тогда 14 лет».*

Симонов не раз с гордостью повторял: *«Саратов – город моей юности».* Здесь появились первые его стихи, а позднее по воспоминаниям о жизни в Саратове были написаны пьеса **«Парень из нашего города»** и стихотворение **«Улица Сакко и Ванцетти»**. После войны он приезжал сюда, собирая в научно-исследовательском институте «Микроб» материалы для пьесы **«Чужая тень»**. Имя писателя носит местное полиграфическое училище, перед зданием которого установлен памятник.

И по поводу двойного имени. Симонов плохо выговаривал «р» и твёрдое «л», что затрудняло его при произношении своего имени Кирилл. Это заставило молодого писателя взять псевдоним, что стало литературным фактом, и вскоре поэт Константин Симонов приобрёл всесоюзную известность.

Время действия пьесы **«Парень из нашего города»** (1941) – 1930-е годы. Дважды действие происходит в Саратове и дважды упоминается, что главный герой сражался в горячих точках: в 1937-м – в Испании, в 1939-м – на Халхин-Голе. Саратовец Сергей Луконин – танкист, воевал героически, не раз был на волосок от смерти.



Кадр из фильма **«Парень из нашего города»** (Н. Крючков)

И если несколько переименовать название известной повести Бориса Полевого, то это первое из произведений Константина Симонова, получившее широкую известность, можно было бы назвать **«Пьесой о настоящем человеке»**. Образ Сергея стал настоящим художественным открытием, сконцентрировав в себе лучшие черты молодого человека 1930-х годов – сильного духом, мужественного, само-

отверженного, наделённого столь ценным тогда чувством патриотизма и интернационализма.

Пьеса написана очень живо, с юмором, жизненно убедительно, с точной фиксацией примет времени и среды. При этом внимание сосредоточено на внутренней логике поведения персонажей, так что можно говорить о чертах психологической драмы. И то, что касается названия пьесы, – оно объясняется в её конце, в ходе размышлений, которыми один из персонажей делится накануне того момента, когда Сергею Луконину предстоит получить звание Героя Советского Союза.

«– Всё-таки здорово это придумано, что будут ставить бюст Героя там, где он родился. В том городишке, где ты играл в «казачки-разбойники», стоит твой бюст, и все мальчишки хотят быть похожими на тебя. Проходят мимо и говорят: «Это же парень из нашего города!» А про себя думают: «А чем мы хуже?»

В 1942 году по пьесе был поставлен одноимённый фильм, и стало понятно, как нужна была она в последние предвоенные годы, подготавливая соотечественников к грядущим испытаниям. Для самого автора она явилась важной вехой в формировании ведущей для него темы человеческой стойкости и негибаемого мужества.

Главной и едва ли не единственной темой последующего творчества Константина Симонова, его стихов и прозы, театральных пьес и киносценариев, стала военная тема. Прежде всего, в самые первые месяцы войны она заявила о себе в поэтической лирике. Стихотворений такого рода было много написано и потом (собраны в книгах «С тобой и без тебя» (1942), «Друзья и враги» (1948)). В военной лирике Симонова поражало соединение, казалось бы, столь далёких качеств, как патриотическая героика и личное чувство, переданное очень доверительно и даже исповедально. Обратимся к разноплановым её образцам, появившимся в первые месяцы войны.

Стихотворение «*Жди меня...*», наряду с «Землянкой» А. Суркова и песней Н. Богословского «Тёмная ночь», стало своего рода «лирическим знаменем» години тяжких испытаний. Стало ясно, что проникновенное слово, полное нежности и любви, необходимо людям в пору неслыханного нашествия не меньше, чем патриотические призывы к защите Отечества.

Это проникновенное слово получило здесь очень своеобразное выражение. Высказываемое от лица человека середины XX века, оно восходит к экспрессии таких древних сакрально-поэтических форм, как заклинание, заговор и даже заклятие. Слово *жди* повторяется одиннадцать раз с добавлением других его форм: *ждать, ждёт* и т. п. – их семь. И троекратно в начале каждой строфы произносится ключевая фраза-зачин: «*Жди меня, и я вернусь...*» Смысловая значимость неумолкающего *жди* и та сила внушения, которую оно несёт, подводят к результирующему итогу последних строк («*Как я выжил, будем знать / Только мы с тобой – / Просто ты умела ждать, / Как никто другой*»).

*Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди.
Жди, когда наводяют грусть
Жёлтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт.*

*Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.*

*Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: – Повезло.
Не понять неждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, –
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.*

В сознании героя стихов Симонова с образом женщины связано не просто очень многое, а главное в оставшейся за спиной фронтовиков мирной жизни. Сильный резюмирующий акцент на этот счёт представлен в конце стихотворения «Хозяйка дома» (1942).

*Сиянем женским, девочкой, женой,
Невестой – всем, что уступить не в силах,
Мы умираем, заслонив собой
Вас, женщин, вас, беспомощных и милых.*

Но вернёмся в 1941-й. Черты «заклинательности» перешли и в другое знаменитое стихотворение Константина Симонова – «**Ты помнишь, Алёша...**» «Заклинательность» есть и в заглавной строке «*Ты помнишь, Алёша...*», повторяемой затем ровно в середине текста, к чему добавляются сходные фразы: «*Ты знаешь...*», «*Ты помнишь...*» и т. д. Это придаёт высказыванию тон по-особому доверительного разговора. Стихотворение посвящено Алексею Суркову, такому же поэту-фронтовику, но воспринимается скорее как обращение к очень близкому по духу фронтовому другу. И заклинательность здесь особая: говорится тихо, с нежностью. Слово *русский* звучит многократно в различных оттенках, дополняемых торжественными речениями «*на великой Руси*» и «*вся Россия*».

В час больших испытаний резко обострилось чувство России – именно России в прямом значении данного понятия как Русской земли. И это чувство пронизывает здесь всё стихотворение от первой до последней строки. Вдобавок к тому оно усугубляется чувством вины за отступление, когда приходилось отдавать врагу родную землю пядь за пядью вместе с беззащитными детьми, женщинами и стариками, которым оставалось говорить единственное: «*Мы вас подождём!*» Так что заклинательность этого стихотворения сводится к тому, как защитить и сберечь самое драгоценное для всех – Родину.

В связи с этим высоким понятием у поэта вновь главным становится образ женщины: начиная с первых строк («...*кринки несли нам усталые женщины...*», «*слёзы они вытирали украдкой...*», «*снова себя называли солдатками...*») и кончая последними («...*в бой провожая нас, русская женщина / По-русски три раза меня обняла*»). Так что неизбежно встают извечные для национального сознания образы: *Родина-мать*, *Русь-жена*, русские женщины.

Но появились здесь и новые краски: на смену былым чаяниям «мировой революции» и «Коммунистического Интернационала» к русскому человеку вернулось исконно православное. Поэтому «...*вслед нам шептали: – Господь вас спаси!*» и «*Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся / За в Бога не верящих внуков своих*». И сама лексика стихотворения многим обращена к исконным приметам национального уклада: «*Как встарь повелось... вёрстами... тракт... деревни с погостами... за каждую русской околицей... просёлки... куда... нажити*».

*Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,*

*Как слёзы они вытирали украдкой,
Как вслед нам шептали: – Господь вас спаси! –
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.*

*Слезами измеренный чаще, чем вёрстами,
Шёл тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,*

*Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.*

*Ты знаешь, наверное, всё-таки Родина –
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти просёлки, что дёдами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.*

*Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на просёлках свела.*

*Ты помнишь, Алёша: изба под Борисовом,
По мёртвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.*

*Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьём,
Ты помнишь, старуха сказала: – Родимые,
Покуда идите, мы вас подождём.*

*«Мы вас подождём!» – говорили нам пажити.
«Мы вас подождём!» – говорили леса.
Ты знаешь, Алёша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.*

*По русским обычаям, только пожарица
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.*

*Нас пули с тобою пока ещё милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я всё-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,*

*За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.*

Константин Симонов покоряет точностью, реальностью, достоверностью изъяснения и способностью донести мысль и чувство от сердца к сердцу, так что напряжённая эмоциональность высказывания соединяется с почти документальной очерковостью. Этому служит и строй повествовательного стиха.

Константин Симонов одним из первых обратился к теме русского человека на войне в драматургии (пьеса **«Русские люди»**, 1942) и прозе (повесть **«Дни и ночи»**, 1944). В пьесе, которая обошла почти все театры страны, трудности войны показаны как непрерывное напряжение всех человеческих сил. Повесть рассказывает о сталинградских днях как о трагическом времени огромных, невосполнимых жертв.

В книгах о войне, написанных в последующие годы, неизменными оставались гражданственно-патриотический настрой и публицистический нерв, простота и человечность повествования, которое чуждается внешнего пафоса. Герои Симонова – обычные люди, но это люди высоких моральных качеств, наделённые мужеством и стойкостью, верностью в любви и дружбе, пронесённых сквозь суровые испытания. Создавая насыщенную и динамичную событийную канву народной драмы, писатель стремился постичь логику поведения человека, мотивы его поступков в поворотные моменты жизни.

Итоговой военной прозой Симонова стала трилогия **«Живые и мёртвые»**, которую сам он считал своей главной книгой. Первая из трёх книг (1954–1959) так и называется, рассказывая о начале войны (июнь–декабрь). Вторая книга (**«Солдатами не рождаются»**) (1963–1964) – эпопея Сталинградской битвы. Третья (**«Последнее лето»**) (1970–1971) – рассказывает о событиях 1944-го. В них воссоздаётся чрезвычайно широкая панорама трудного и долгого пути – от тяжёлых поражений к близкой победе. Это достоверная летопись основных вех военной страды, увиденной глазами её свидетеля и участника. В воспроизводимой здесь исторической хронике достигнута такая масштабность изображения Великой Отечественной войны, которой нет ни в каком другом произведении нашей литературы.

Обратимся к первой книге грандиозного военного цикла, повествующей о трагических событиях первого лета войны, об отступлениях и окружениях Советской армии. Лишения, жестокие испытания, кровь и смерть – всё здесь изображено на пределе мыслимого, но очень реально. Главным героем является военный корреспондент Синцов, фигура которого скрепляет множественную мозаику различных эпизодов этого реалистического повествования. Он всеми силами стремится воевать не пером журналиста, а винтовкой и пулемётом, и это ему удаётся.

Перед нами тот самый «настоящий человек», которому присущи мужество и отвага, но в известной мере и слабости, в том числе страх, потому что это живой, реальный человек. Очень важны в его характере гуманность и обострённое стремление сделать всё для победы над врагом. И рядом с ним много таких же людей – самоотверженных, у которых в крови желание послужить общему делу.

Убедительно описываются первые дни войны, с их хаосом, паникой, полной неразберихой и ощущением кошмара от того, что немцы уверенно и стремительно продвигались вперёд, сея смерть и разрушения. *«Никогда потом Синцов не испытывал такого изнурительного страха: что же будет дальше?! Если всё так началось, то что же произойдёт со всем, что он любит, среди чего рос, ради чего жил, со страной, с народом, с армией, которую он привык считать непобедимой, с коммунизмом, который поклялись истребить эти фашисты?»*

Он не был трусом, но, как и миллионы других людей, не был готов к тому, что произошло. Большая часть его жизни, как и жизни этих других людей, прошла в лишениях, испытаниях, борьбе, поэтому, как выяснилось потом, страшная тяжесть первых дней войны не смогла раздавить их души. Но в первые дни эта тяжесть многим из них показалась нестерпимой, хотя они же сами потом и вытерпели её».

В романе тщательно исследуется психология людей, впервые столкнувшихся с такой войной и с таким врагом – сильным, беспощадным и снабжённым первоклассной техникой. *«Но среди них было много людей, которые знали пока только одно – что немец несёт смерть, но не знали второго – что немец сам смертен. Наибольшее доверия заслуживали те люди, которые убедились на собственном опыте, что немцы смертны и, когда их убивают, они останавливаются».*

Конечно же, Симонов писал о людях советской формации. Его герои при возможных сомнениях и колебаниях глубоко верят в Советскую власть, дорожат партбилетом – и это тоже придаёт повествованию безусловную объективность. Веришь: именно так всё и было, именно такими были советские люди середины XX века, в целом достойные уважения.

...Есть под Могилёвом большое поле под названием Буйническое, где Симонов в июле 1941 года видел, как *«наши сожгли тридцать девять немецких танков и бронетранспортёров».* Это для него было далёкой зарницей Победы, ради которой воевали он и все остальные. И это было для него столь важно, что, согласно завещанию, его прах развеяли именно над этим полем.

Александр Альфредович Бек (1903–1972) родился в Саратове, провёл здесь детство, учился в Реальном училище, во время Гражданской войны воевал в Саратовском Заволжье.

В серии романов, основанных на тщательной проработке большого документального материала, он освещал различные стороны жизни России первой половины XX века. Его наиболее значительным творческим достижением стал роман **«Волоколамское шоссе»** (1944). Его основная сюжетная канва: несколько недель битвы за Москву осенью 1941 года, когда вокруг Волоколамска было сосредото-



Александр Бек

чено главное направление удара немецких войск, и именно здесь стояла насмерть ставшая легендарной дивизия Панфилова. Описываются действия одного из её батальонов, который неоднократно оказывался в самом горниле событий.

Эта кульминационность найденного жизненного материала, дополненная документальной достоверностью (здесь всё основано на конкретных фактах), определила большую творческую удачу писателя. Оставалось отыскать наиболее подходящую форму, и он повёл повествование от лица главного героя, прошедшего со своим батальоном череду смертельных испытаний.

Естественным следствием кульминационности становится предельная заострённость, которую приобретает главная идея романа Александра Бека: активное утверждение советского образа жизни в его безусловно положительных сторонах. Эта заострённость определялась самой исторической ситуацией, когда всё потребовало максимальной концентрации основополагающих качеств советского человека: патриотизма, интернационализма, коллективизма и т. п. Сразу же заметим, что слово *советский* произносится здесь многократно и с неизменной гордостью. И если какое-либо дело сделано людьми хорошо, то самым отрадным откликом на похвалу было для всех скандируемое организованной массой: «*Служим Советскому Союзу!*»

Советский народ выступает здесь как безусловная общность. Нет даже намёка на какую-либо этническую рознь и малейшую противоречивость в данном отношении. Важно и то, что сам комбат – казах, проявляющий себя с лучшей стороны именно как «стоцентный» *советский* человек.

В романе «Волоколамское шоссе» отчётливо зафиксировано весьма своеобразное, но в данном случае вполне органичное сочетание безусловной гуманности и жёсткой требовательности к человеку – это было вообще характерным свойством этической платформы середины XX века. Средоточием человечности становится генерал Иван Васильевич Панфилов – это второй герой романа. Он отличался исключительно бережным отношением к каждому (от командира до рядового), его девизом было: не умирать, а жить, то есть воевать, чтобы жить.

Панфилов мог и строго спросить. Но этим качеством особенно наделён главный герой романа, командир батальона лейтенант Баурджан Момыш-Улы. Он оказывается здесь олицетворением важнейших установок тоталитарной системы: дисциплина (в данном случае военная), единый строй и всеобщий труд как главное, определяющее в жизни.

Что касается последнего момента, то, согласно установкам главного героя, всё в существовании человека должно быть нацелено на созидательное деяние: дело – прежде всего. Поэтому и в романе почти нет того, что именуют лирическими отступлениями. Практически всё устремлено к единственному: ратный труд и совершенствование в нём – то, что вылилось в главный лозунг военных лет «*Всё для фронта, всё для победы*».

Подобная позиция главного героя выковывается в тяжёлой внутренней борьбе привычных норм человечности и требований долга, определяемых обстоятельствами военного времени. Беспрекословно-

го подчинения от вверенного ему батальона он добивается всеми возможными способами, включая и самые беспощадные. В этом отношении очень характерен эпизод, когда Момыш-Улы принимает решение расстрелять перед всем батальоном своего соотечественника-казаха Барамбаева, который бежал с поля боя.

«Я скомандовал:

– По труссу, изменнику Родины, нарушителю присяги... отделение...

Винтовки вскинулись и замерли. Но одна дрожала. Мурин стоял с белыми губами, его прохватывала дрожь.

И мне вдруг стало нестерпимо жалко Барамбаева.

От дрожащей в руках Мурина винтовки словно несло ко мне: «Пощади его, прости!»

И люди, ещё не побывавшие в бою, ещё не жестокие к трусу, напряжённо ждавшие, что сейчас я произнесу: «Огонь!», тоже будто просили: «Не надо этого, прости!»

И ветер вдруг на минуту стих, самый воздух замер, словно для того, чтобы я услышал эту немую мольбу.

Я видел широченную спину Галлиулина, головой выдававшегося над шеренгой. Готовый исполнить команду, он, казах, стоял, целясь в казаха, который тут, далеко от родины, был всего несколько часов назад самым ему близким. От его, Галлиулина, спины доходило ко мне то же: «Не заставляй! Прости!»

Я вспомнил всё хорошее, что знал о Барамбаеве, вспомнил, как бережно и ловко, словно оружейный мастер, он собирал и разбирал пулемёт, как я втайне гордился: «Вот и мы, казахи, становимся народом механиков».

...Я не зверь, я человек. И я крикнул:

– Отставить!

Наведённые винтовки, казалось, не опустились, а упали, как чугунные. И тяжесть упала с сердец.

– Барамбаев! – крикнул я.

Он обернулся, глядя спрашивающими, ещё не верящими, но уже загоревшимися жизнью глазами.

– Надевай шинель!

– Я?

– Надевай... Иди в строй, в отделение!

Он растерянно улыбнулся, схватил обеими руками шинель и, надевая на ходу, не попадая в рукава, побежал к отделению.

Мурин, добрый очкастый Мурин, у которого дрожала винтовка, незаметно звал его кистью опущенной руки: «Становись рядом!», а потом по-товарищески подтолкнул в бок. Барамбаев снова был бойцом, товарищем.

Я подошёл и хлопнул его по плечу:

– Теперь будешь сражаться?

Он закивал и засмеялся. И все вокруг улыбались. Всем было легко...

Вам тоже, наверное, легко? И те, кто будет читать эту повесть, тоже, наверное, вздохнут с облегчением, когда дойдут до команды: «Отставить!»

А между тем было не так. Это я увидел лишь в мыслях; это мелькнуло, как мечта.

Было иное.

...Заметив, что у Мурина дрожит винтовка, я крикнул:

– Мурин, дрожишь?

Он вздрогнул, выпрямился и плотнее прижал приклад; рука стала твёрдой. Я повторил команду:

– По трусу, изменнику Родины, нарушителю присяги... отделение... огонь!

И трус был расстрелян.

Судите меня!

Когда-то моего отца, кочевника, укусил в пустыне ядовитый паук. Отец был один среди песков, рядом не было никого, кроме верблюда. Яд этого паука смертелен. Отец вытащил нож и вырезал кусок мяса из собственного тела – там, где укусил паук.

Так теперь поступил и я – ножом вырезал кусок из собственного тела.

Я человек. Всё человеческое кричало во мне: «Не надо, пожалей, прости!» Но я не простил.

Я командир, отец. Я убивал сына, но передо мной стояли сотни сыновей. Я обязан был кровью запечатлеть в душах: изменнику нет и не будет пощады!

Я хотел, чтобы каждый боец знал: если струсил, изменишь – не будешь прощён, как бы ни хотелось простить».

Насколько важной была для писателя тема, заявленная в «Волоколамском шоссе», говорит тот факт, что продолжением этой лучшей его книги стали повести «Несколько дней» и «Резерв генерала Панфилова», законченные в 1960 году.



Сергей Наровчатов

Поэт **Сергей Сергеевич Наровчатов** (1919–1981) родился в Хвалынске. Позже писал, что с детства «навсегда запомнились краски, звуки и запахи тех лет. Белая, голубая и лиловая сирень. Над рекой переключаются гудки – у каждого парохода свой. На пристани – крики грузчиков, лязг цепей, шумная суতোлка. Там же крепкий запах дёгтя, рогож, рыбы. Всё это вместе называлось Волгой».

Начинал он со стихов о войне, которую прошёл солдатом от первых до последних дней.

В те годы (1941)

*Я проходил, скрипя зубами, мимо
Сожжённых сёл, казнённых городов,
По горестной, по русской, по родимой,
Завещанной от дедов и отцов.*

*Запоминал над деревьями пламя,
И ветер, разносивший жаркий прах,
И девушек, библейскими звездами
Распятых на райкомовских дверях.*

*И вороньё кружилось без боязни,
И коршун рвал добычу на глазах,
И метил все бесчинства и все казни
Паучий извивающийся знак.*

*В своей печали древним песням равный,
Я сёла, словно летопись, листал
И в каждой бабе видел Ярославну,
Во всех ручьях Непрядву узнавал.*

*Крови своей, своим святыням верный,
Слова старинные я повторял, скорбя:
– Россия, мати! Свете мой безмерный,
Которой мстью мстит мне за тебя?*

Военной теме посвящены не только его поэтические сборники послевоенных лет («Костёр» (1948), «Солдаты свободы» (1952), но и многие стихи в более поздних книгах, где эта тема осознаётся ключевой для поколения середины XX века.

Вместе с тем в ряде произведений, начиная с конца 1950-х годов, Наровчатов отчётливо намечал поворот людей своего поколения к новым жизненным позициям, связанным с общей атмосферой второй половины XX века (сборники «Полдень» (1969), «Мы входим в жизнь» (1978).

Пёс, девчонка и поэт (1959)

*Я шёл из места, что мне так знакомо,
Где цепкий хмель удерживает взгляд,
За что меня от дочки до парткома
По праву все безгрешные коряют.*

*Я знал, что плохо поступил сегодня,
Раскаянья проснулись голоса,
Но тут-то я в январской подворотне
Увидел замерзающего пса.*

*Был грязен пёс. И шерсть свалаялась в клочья.
От голода теряя крохи сил,
Он, присуждённый к смерти этой ночью,
На лапы буйну голову склонил.*

*Как в горести своей он был печален!
Слезился взгляд, молящий и немой...
Я во хмелю всегда сентиментален:
«Вставай-ка, пёс! Пошли ко мне домой!»*

Герой этих стихов приютил пса и однажды, прогуливаясь с ним, столкнулся с неподвиженной ситуацией.

*Своей мечте ходили мы вдогонку
И как-то раз, не зря и неспроста,
Случайную заметили девчонку
Под четкой аркой чёрного моста.*

*Девчонка над перилами застыла,
Сложивши руки тонкие крестом,
И вдруг рывком оставила перила
И расплескала реку под мостом.*

Поэт с псом спасают молоденькую девушку, которая хотела покончить с собой, более того – приняли у неё роды и стали воспитывать приёмного сына.

Поведав эту полуфантастическую историю, автор всё опровергает. Дело в том, что для себя «давно уж ввёл сухой закон», а потому с ним, как трезвенником, ничего подобного быть не могло. «И в этот вечер я не встал со стула. / История мне не простит вовек, / Что пёс замёрз, девчонка утонула, / Великий не родился человек!»

Создавая свою маленькую поэму в заострённо публицистическом ключе, Сергей Наровчатов выдвигает критерии, которые могли показаться весьма неожиданными с точки зрения привычного взгляда на советского человека тех лет. Он не без нарочитости сталкивает две позиции, когда пропойца оказывается на поверку добрым, участливым человеком, а «благопристойный» – расчётливым и равнодушным.

Само собой разумеется, что за пределами проделанного выше обзора осталось множество других больших и малых имён. Но, как видим, рассказ даже о немногих писателях составил весьма внушительный объём. Остаётся надеяться, что рано или поздно появится фундаментальная книга, в которой будет воздано должное всему литературному творчеству, связанному с Саратовским краем.



**Владимир
КАНТОР**

МЕСТОРАЗВИТИЕ, ИЛИ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР РОССИИ

(Из книги «Срубленное дерево жизни.
Судьба Николая Чернышевского»)

СРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО ЖИЗНИ

В истории русской (и любой) культуры можно назвать не одного великого человека, образ которого обрастал слухами, сплетнями, легендами. Россия богата на неожиданные повороты в судьбах тех, кем потом она стала гордиться. Её культурные герои не только делали своё прямое дело – творили, но участвовали в войнах (Державин, Лермонтов, Лев Толстой), погибали на дуэлях (Пушкин, Лермонтов), убегали в эмиграцию (Печерин, Герцен, Огарёв), проходили страшный опыт казни и затем каторги (Достоевский, Чернышевский), я уж не говорю о добровольной поездке Чехова на каторжный Сахалин и трагедиях революции и пореволюционного изгнания.

Сразу, однако, хочу сказать, что в своём рассказе я ограничиваюсь XIX веком. Впрочем, век более чем репрезентативный, век, когда возникли идеи и судьбы, ставшие определяющими для дальнейшего развития страны. Архе-

-
- Владимир Карлович Кантор – доктор философских наук, ординарный профессор философского факультета Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики, член редколлегии журнала «Вопросы философии», член Союза российских писателей, прозаик, стипендиат Фонда им. Генриха Бёлля (Германия, 1992), лауреат нескольких отечественных премий, трижды номинировавшийся на Букеровскую премию, историк русской культуры, автор более шестисот опубликованных работ. Произведения Владимира Кантора переводились на английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, чешский, сербский и эстонский языки.

тип русской культуры с её катастрофами и взлётами в свёрнутом виде, быть может, острее всего можно увидеть именно в этом спокойном столетии. Однако два царевубийства, выступление декабристов (которое называют восстанием, хотя оно не было даже мятежом), казни оппонентов режима, дикая цензура и попытки реформ, вместе с тем неумение власти слушать своих реформаторов (того же Сперанского, Чернышевского, Чичерина, Столыпина), которое приводило к несправедливым судам и роковым ошибкам, в конечном счёте – к убийству царя-освободителя, а затем и революциям 1917 года и расстрелу царской фамилии. Но поскольку герой моего повествования – Николай Гаврилович Чернышевский (иногда буду писать – НГЧ), человек, в сознании интеллектуалов ставший своего рода фантомом, в XIX веке воспетый, в XX – превращённый в монстра как предшественник большевизма и едва ли не погубитель России, я должен попытаться преодолеть фантомность этой фигуры.

Хотя противник русского радикализма Василий Розанов, оценивая его судьбу, винил в ней самодержавие, вознеся Чернышевского более чем высоко: «Конечно, не использовать такую кипучую энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства было преступлением, граничащим со злодеянием <...> В одной этой действительно замечательной биографии мы подошли к Древу Жизни: но – взяли да и срубили его. Срубили, «чтобы ободрать на лапти» Обломовым»¹.

Действительно, каторга Чернышевского, случившаяся практически в самом начале его деятельности, после примерно десяти лет участия во вполне легальном подцензурном литературном процессе, выглядит, по меньшей мере, дикостью, поскольку ни одно обвинение против Чернышевского не было подтверждено. Самое дикое и глупое в этом было, что именно Чернышевский решительно выступал против радикализации общественной жизни. Но вместо живого человека уже существовал некий фантом в восприятии императора. Казнили фантом. Великий парадоксалист-романист Владимир Набоков воскресил образ Чернышевского, вначале в романе «Дар», где иронически изображённый им эстет с комической фамилией Годунов-Чердынцев пишет книгу о Чернышевском. И приниженный эстетом мученик вдруг заслоняет собой эстетствующего эмигранта. А потом в «Приглашении на казнь», как блистательно показал Александр Данилевский, за основу сюжета он берёт трагическую судьбу Чернышевского, показывая всю фантазмагоричность суда над ним и дикой казни, казни за идеологическое преступление, «мысленное преступление» (Набоков), потому что думал иначе, чем приказывало начальство².

Но тексты Набокова попали на определённую матрицу, и в его романах увидели лишь подтверждение постбольшевистской неприязни к мыслителю, пропавшему на каторге. Большевики искали предшественников в отечестве. Политический каторжанин Чернышевский

¹ Розанов В. В. Уединённое // Розанов В. В. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1990. С. 207–208.

² Данилевский А. Н. Г. Чернышевский в «Приглашении на казнь» В. В. Набокова (об одном из подтекстов романа) // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. II (Новая серия). Тарту, 1966. С. 209–225.

очень подходил для такой цели. Чернышевский был звездой оппозиции. Его имя могло окормить новых революционеров. Как писал Бердяев: «Необходимо отметить нравственный характер Чернышевского. Такие люди составляют нравственный капитал, которым впоследствии будут пользоваться менее достойные люди. По личным нравственным качествам это был не только один из лучших русских людей, но и человек, близкий к святости. Да, этот материалист и утилитарист, этот идеолог русского «нигилизма» был почти святой. Когда жандармы везли его в Сибирь, на каторгу, то они говорили: нам поручено везти преступника, а мы везём святого»³.

При этом сегодня многие исследователи, да и просто люди, связанные с литературой и философией, говорят и пишут, что Чернышевский был вне контекста высокой русской культуры. Недавно я получил отклик на одну из своих статей о НГЧ от своего старого приятеля, хорошего литературоведа (не буду называть имени): «С Чернышевским очень много запутано, многое совершенно неясно. У него очень много от петрашевцев, от Ханыкова <...> Чернышевскому же не повезло: он не общался с Лажечниковым, со Станкевичем, с Боткиным, с Грановским, с сёстрами Бакуниными и даже с самим бешено-ледяным Мишелем (вот уж настоящий «дворянчик», вот уж «весьма опасен», но умён, чёрт побери, умён!). Общественная среда Чернышевского – приволжская провинция, врачи, инженеры, духовенство».

Но так ли? Ведь автор письма не говорит о среде, в которой вырос Белинский, о его детстве, когда он был брошен на няньку, бившую и душившую его, чтоб он не беспокоил её своим плачем, об отце, который, по словам самого критика, «пил и вёл жизнь дурную».

О детстве Чернышевского разговор особый. Но автор даже не заметил его филологической университетской школы! Не надо ведь забывать (точнее сказать, надо знать), что он был любимым учеником знаменитого филолога И. Срезневского, составил словарь к Ипатьевской летописи. Диссертацию писал у профессора, либерального цензора А. В. Никитенко, сумевшего пробить в печать «Мёртвые души» Гоголя. Его отца звал к себе на службу граф Сперанский. Это стало семейной легендой, которую НГЧ потом преобразовал в замечательную статью «Русский реформатор». Семейно общались с историком Н. И. Костомаровым. А двоюродный брат Чернышевского, его верный друг – академик А. Н. Пыпин! Чем он хуже того же В. П. Боткина?! Разве что не сластолюбец, как «Васька Боткин», по выражению автора письма.

Но вот культурный контекст Чернышевского – Некрасов, Панаева, Панаев, Добролюбов, Лев Толстой, К. Д. Кавелин, Ф. М. Достоевский, Плещеев, Щедрин, Антонович, А. К. Толстой, русский генералитет, если враги и противники тоже считаются, то это Герцен, Огарёв, Дружинин, Григорович, Тургенев, Катков и т. д. В конце жизни дружат с ним купец К. Т. Солдатёнков, первый издатель Белинского, и В. Г. Короленко, один из благороднейших русских писателей.

³ Бердяев Н. Русская идея. СПб.: Азбука, 2012. С. 141.

Лучшие воспоминания о НГЧ принадлежат именно Короленко. Чернышевского ещё при жизни читал Карл Маркс, считал самым великим русским мыслителем. Может, это сейчас не красит моего героя. Но много ли русских авторов были при жизни замечены на Западе! Он был сгустком энергии, тем самым вечным двигателем, который он хотел создать в молодости, и лучи этой энергии, как силовые линии магнитного поля, притягивали самых разных людей и после смерти. Его поклонники – это не только Плеханов, Ленин, Луначарский, но и Владимир Соловьёв, Василий Розанов, Николай Бердяев. Левым, как писал Бердяев, он был выгоден, русские независимые мыслители видели в нём одну из значительнейших фигур русской истории. Это что же, спросят меня, апология? Да, если понимать слово не в расхожем («восхваление!»), а в словарном смысле – как защиту кого-либо. Да и как не попытаться защитить! Человек, не получивший защиты при жизни, имеет право хотя бы на посмертный и по возможности непредвзятый анализ сделанного им.

ВОЛГА КАК «РУССКИЙ НИЛ»

Напомню, что Чернышевский был родом из Саратова, города на Волге. Город был поставлен в 1590 году как сторожевая крепость на месте средневекового золотоордынского городища. У древних существовало понятие «гений места». Думаю, что и в самом деле «месторазвитие» (термин евразийцев) играет немалую роль в становлении определённого типа героя. Обычно, говоря о местах, где концентрировались «послетатарская» русская мысль и русская культура, называют два города, две столицы – Москва и Санкт-Петербург. Разумеется, именно столицы были средоточием талантов, которые хотели и могли вырваться наверх.

Но было ещё одно место, ещё один локус, таланты порождавший, где они получали первоначальное развитие, и сыгравший огромную, ни с чем не сравнимую роль в русской истории. Это – Волга! Наш русский фронт! Василий Розанов назвал Волгу русским Нилом: «Русским Нилом» мне хочется назвать нашу Волгу. Что такое Нил – не в географическом и физическом своём значении, а в том другом и более глубоком, какое ему придал живший по берегам его человек? «Великая, священная река», подобно тому, как мы говорим «святая Русь» в применении тоже к физическому очерку страны и народа. Нил, однако, звался «священным» не за одни священные предания, связанные с ним и приуроченные к городам, расположенным на нём, а за это огромное тело своих вод, периодически выступавших из берегов и оплодотворявших всю страну. Но и Волга наша издревле получила прозвание «кормилицы». «Кормилица-Волга»⁴.

А теперь я напомню, кто были выходцы с этой реки.

⁴ Розанов В. В. Русский Нил // Розанов В. В. Сумерки просвещения. М.: Педагогика, 1990. С. 526.

Стоит, разумеется, начать с нижегородского купца Минина и князя Пожарского, собравших на свои деньги ополчение и спасших Московскую Русь, когда правительство уже не знало, какому разбойнику-самозванцу служить или под какого иностранного короля идти – польского или шведского. Это – незабываемое в истории России движение с берегов Волги для спасения всей страны.

С берегов Волги пришли патриарх Никон и протопоп Аввакум, то есть истоки русского раскола тоже здесь. По Волге ходили струги Стеньки Разина, Саратов захватывал и злодействовал там Пугачёв. А войско Пугачёва – это не только казаки и великорусские крестьяне, но и народы Поволжья: татары, калмыки, черемисы, мордва. Неслучайно поэт Державин, в клетке привезший Пугачёва в Петербург, назвал Екатерину Великую «Богopodobная царевна / Киргиз-Кайсацкия орды!» А сама Екатерина именовала себя «казанской помещицей».

Любопытно, что Державин, прошедший евразийское пространство России, не принял сентиментальный текст Радищева, который посмел проехаться только из Петербурга в Москву, от одной столицы до другой.

Как замечал тот же Розанов, считавший себя волгарём, на Волге в самом деле сливаются Великороссия, славянщина с обширным мусульманско-монгольским миром, который здесь начинается, уходя средоточиями своими в далёкую Азию. Это настоящее евразийское пространство. Волга рождала не только разбойников и протестантов типа семейства Ульяновых, Свердлова, Горького, Керенского, но и людей, создававших русскую литературу и культуру: Державин, Карамзин, Мельников-Печерский, Гончаров, Добролюбов, великий художник Борис Кустодиев; из Саратова были Николай Чернышевский, философ Георгий Федотов, губернатором Саратова был несколько лет великий реформатор П. А. Столыпин, основавший в Саратове университет; здесь родились писатель Константин Федин, актёр и режиссёр Олег Табаков.

Прошедшие этот плавильный евразийский котёл были людьми, понимавшими Россию лучше столичных жителей. Опыт Пушкина – ссылки, опыт Лермонтова – Кавказская война, как и у Льва Толстого (да ещё и Крымская), соприкосновение с нутряной Россией. Достоевскому пространством познания России стала каторга, где он понял имперскую необъятность страны.

Чернышевскому это знание дано было с детства. Вот простая история, зафиксированная им в автобиографии. Один из родственников НГЧ был захвачен степняками («киргиз-кайсаками»), ему «подрезали пятки, чтоб он не убежал; подрезывание пяток состояло, по нашим сведениям, в том, что делали на пятках глубокие прорезы и всовывали туда порядочные комки мелко изрезанного конского волоса или свиной щетины, потом заживляли разрезы. После этого человеку надобно было ходить, не ступая на пятки, – если же ступать на пятки, то от волоса или щетины делается нестерпимо больно. Стало быть, пленник может ходить на недалёкие расстояния, медленно, и годен к работе, но к бегству неспособен. Однако ж и с подрезанными пят-

ками наш родственник решил бежать и ушёл ночью. Всю ночь шёл, как стало светать, лёг в траву; так шёл по ночам и лежал по дням ещё несколько суток, с первого же дня часто слыша, как скачут по степи и перекрикиваются отправившиеся в погоню за ним. Они употребляли, между прочим, такую хитрость, вероятно, часто удававшуюся им с беглецами, не имевшими силы сохранить спокойствие в своей страшной опасности: кричали «Видим! Видим!» – чтобы беглец попробовал переменить место, перебраться из открытого ими приюта в другой; тогда бы они и увидели его над травой или распознали по колыханию травы, где он ползёт. Наш родственник не поддался, выдержал страхи. Особенно велика была опасность, когда он уже дошёл до какой-то реки и пролежал день в её камышах. Ловившие его много раз бывали очень близко к нему, иной раз чуть не давили его лошадьми, но всё-таки он уберётся незамечен, добрался до русских, пришёл домой цел и стал жить подобру-поздорову.

Эта картина его прятания и ловли в камышах довольно сильно действовала на моё воображение. Не скажу, чтобы я много, часто и сильно переносился к ней в своих мечтах. Но всё-таки она, бывшая темой моих грёз довольно редко, рисовалась в них чаще всего остального чрезвычайного, необыденного, что случилось мне слышать в детстве за правду, бывшую с людьми, мне известными или известными кому-нибудь из известных мне⁵.

Надо понять, что это было не случайностью, а бытом. Жили на фронтире. Поэтому он отвечал на знаменитый тезис Чаадаева, что «Петр Великий нашёл свою страну листом белой бумаги, на котором можно написать что угодно. К сожалению, нет. Были уже написаны на этом листе слова, и в уме самого Петра Великого были написаны те же слова, и он только ещё раз повторил их на исписанном листе более крупным шрифтом. Эти слова не «Запад» и не «Европа» <...>; звуки их совершенно не таковы: европейские языки не имеют таких звуков. Куда французу или англичанину и вообще какому-то ни было немцу произнести наши Щ и Ъ! Это звуки восточных народов, живущих среди широких степей и необозримых тундр» (Чернышевский, VII, 610).

Такое можно написать, только зная свою страну. Любопытно, что первая работа Чернышевского, до сих пор не опубликованная, была посвящена татаро-монгольскому прошлому Руси на материале Саратовского края. Начну с отрывка из воспоминаний двоюродного брата Чернышевского А. Н. Пыпина, писавшего, что «татарский язык не был обязателен для всех, но Н. Г. Чернышевский ему учился и, вероятно, довольно успешно.

В то время епископом Саратовским и Царицынским был довольно известный Иаков (Вечерков), впоследствии архиепископ Нижегородский <...> При нём совершались едва ли не первые исследования древней ордынской столицы – Сарая – в прежних пределах Саратовской губернии, за Волгой <...> Без сомнения, в связи с этими исследованиями остатков татарского владычества находилась одна работа,

⁵ Чернышевский Н. Г. Из автобиографии // Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 16 т. М.: ГИХЛ, 1939–1953. (Т. I. С. 579.)

которая исполнена была Н. Г. Чернышевским по поручению или предложению арх. Иакова. Это был довольно подробный обзор топографических названий сёл, деревень и урочищ, которые Н. Г. собирал или проверял по огромной подробной карте, которую приходилось раскладывать на полу; к этому списку Н. Г. прибавлял татарское написание этих названий и перевод на русский язык»⁶.

Это первая самостоятельная работа Чернышевского. Рукопись с надписью: «По поручению Преосвященного, о селениях Саратовской губернии с татарскими названиями, 1845» хранится в ЦГАЛИ. Конечно, уже эта первая работа показывает невероятную трудоспособность юноши. Хотя бы в примечаниях надо отметить, что, помимо основных европейских языков, с которых Чернышевский переводил, на которых читал, он свободно знал латынь золотого века – в молодости его любимым автором был Цицерон (на латыни, разумеется). Но также знал он и азиатские языки – татарский, арабский и персидский. Он был, что называется, русский европеец.

Воспоминания детства, юности откладываются в памяти писателя и мыслителя, чтобы потом сказаться в его творчестве. Задумывался ли кто из читателей о происхождении «необыкновенного человека» Рахметова? А между тем для Чернышевского происхождение этого человека важно, оно показывает его центровую укоренённость в российском мире. «Рахметов был из фамилии, известной с XIII века, то есть одной из древнейших не только у нас, а и в целой Европе. В числе татарских темников, корпусных начальников, перерезанных в Твери вместе с их войском, по словам летописей, будто бы за намерение обратить народ в магометанство (намерение, которого они, наверное, и не имели), а по самому делу, просто за угнетение, находился Рахмет. Маленький сын этого Рахмета от жены русской, племянницы тверского дворского, то есть обер-гофмаршала и фельдмаршала, насильно взятой Рахметом, был пощажён для матери и перекрещён из Латыфа в Михаила. От этого Латыфа-Михаила Рахметовича пошли Рахметовы. Они в Твери были боярами, в Москве стали только окольными, в Петербурге в прошлом веке бывали генерал-аншефами, конечно, далеко не все: фамилия разветвилась очень многочисленная, так что генерал-аншефских чинов не достало бы на всех. Прапрадед нашего Рахметова был приятелем Ивана Ивановича Шувалова, который и восстановил его из опалы, постигнувшей было его за дружбу с Минихом. Прадед был сослуживцем Румянцева, дослужился до генерал-аншефства и убит был при Нови. Дед сопровождал Александра в Тильзит и пошёл бы дальше всех, но рано потерял карьеру за дружбу с Сперанским». Как видим, тут и татарское происхождение, и дружба с графом Сперанским, который был персонажем семейных рассказов. Добавлю, что и без Волги в романе не обошлось: Рахметов странствовал по России и прошёл всю Волгу бурлаком, получив прозвище «Никитушка Ломов», как звали в Саратове самого сильного бурлака.

⁶ Пыпин А. Н. Мои заметки. Саратов: Соотечественник, 1996. С. 64–65.

Перед европеизирующейся Россией стояла задача преодоления этого евразийского пространства, когда, как писал С. М. Соловьёв, Степь внешнюю (захватчиков татаро-монголов) сменила Степь внутренняя (Разины, Булавины, Пугачёвы) – разбойники, шайки которых, по словам Чернышевского, размерами напоминали целые армии. Смысл этого процесса был в том, что после поражения татар, внешней Степи, бунтовала внутренняя Степь, не желавшая поворачиваться к европейской, городской жизни вместе со всей страной. «Поднималась степь, поднималась Азия, Скифия, – резюмировал данный культурно-исторический конфликт С. М. Соловьёв, – на великороссийские города, против европейской России»⁷.

Начало европеизации – это начало царствования Романовых, когда шёл бунташный XVII век. Проблему преодоления степного начала надо было решать. Татарские роды шли на службу русскому царю, их принимали, они входили в элиту, но это была лишь верхушка общественной структуры. Государству нужны были точки опоры по всей стране. Пётр строит новую столицу, европейскую столицу, и укрепляет дворянство. Екатерина жалует помещиков собственностью, приравняв их поместья к вотчинам, то есть превратив дворян в класс собственников. Дворянские гнёзда должны были стать точками опоры для цивилизации окружающего пространства. Французский язык, умение читать, журналы отделили дворян от степи и крестьянства. Но беда была в том, что, за исключением столичного дворянства, большинство землевладельцев оставались, как тогда говорили, «степными помещиками», Простаковыми. И к началу сороковых годов XIX века стало понятно, что дворяне, несмотря на великих поэтов, несмотря на провинциальных пушкинских барышень, не помогут цивилизации страны. Собственно, об этом «Мёртвые души» Гоголя.

Носителями просвещения были дворяне, обосновавшиеся в столицах. При этом надо сказать (и это очень серьёзно), что дворянство потеряло (за редким исключением) религиозный контакт с народом, хотя христианство в те годы ещё обладало большой просветительской силой. Но дворянское поверхностное вольтерьянство не привело к подлинному росту культуры. А христианство – это европейская религия, резко отделившая Россию от степной – языческой и мусульманской – Азии.

Однако так сложилась русская история, что священники были, по сути, выведены за пределы того общества, которое могло оказывать влияние на судьбу страны. Ещё Пушкин писал о русском «азиатском невежестве», которое в высшем обществе преодолевалось после Петра Великого европейским просвещением, говорил о глубокой думе, с какой иноверцы глядят на «крест, эту хоругвь Европы и просвещения»⁸, но при этом понимал, что священники оторваны от образованности высшего общества, а потому не могут воспитывать нацию: «Бедность и невежество этих людей, необходимых в государ-

⁷ Соловьёв С. М. Публичные чтения о Петре Великом // Соловьёв С. М. Избранные труды. Записки. М.: Изд-во Московского университета, 1983. С. 147.

⁸ Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. VII. М.-Л., 1949. С. 344.

стве, их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важною своею должностю. От сего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии»⁹.

Для Пушкина незнание иностранных языков означало отсутствие необходимых контактов с европейской культурой. Указ Петра Великого 1708 года запрещал посвящать в священники и дьяконы, принимать в подьячие священнослужительских детей, которые не учились в школах. Великий преобразователь требовал просвещения во всех слоях, которые имели возможность и необходимость для вхождения в книжную культуру. **Но именно поэтому духовное сословие постепенно оказалось вторым эшелонem русского просветительства.** Медленно, ибо бедность мешает просвещению. И шаг за шагом, не очень заметно для общества, движение к образованию усиливалось. В конце XVIII столетия – первой трети XIX столетия священники оценили своё семинарское обучение, которое выводило их из низшего сословия. Как пишет современный исследователь: «Лишь очень немногим удавалось добиться должности священника – самое большое, на что могли рассчитывать неимущие служители религиозного культа, по своему экономическому и юридическому положению сливавшиеся с разночинцами <...> Шансы повышались у тех, кто получал семинарское образование. Но такая возможность появлялась очень редко и ещё реже попадавшие в семинарию могли благополучно окончить курс. Однако постоянная материальная нужда, незнатность происхождения, отсутствие привилегий выработывали характерную для разночинцев жизненную стойкость, трезвое отношение к жизни. <...> Из поколения в поколение переходила выковываемая в постоянной борьбе за существование воля, привычка полагаться только на себя, упорное стремление улучшить свою жизнь. Это отчётливо проглядывает в настойчивых попытках сельских священнослужителей дать своим детям семинарское образование»¹⁰.

Существенно, что учебная программа русской семинарии позволяла получить образование если и не университетское, то всё же развивавшее и ум, и кругозор семинариста. Что же входило в эту программу? Немало! Российская и латинская грамматика, арифметика, священная и всеобщая история, география. Особое внимание уделялось латинскому языку: в высших классах на латыни (до 1840 года) преподавались основные курсы – философия и богословие. Изучались также основы российской и латинской поэзии, а из языков – греческий и французский. Образование было серьёзное. Конечно, прежде всего, богословское. Напомню, что именно бурсак философ Хома Брут распознал в панночке ведьму. Гоголевский «Вий» уже вводит в литературу семинариста как главного героя.

Мы часто судим о русских православных семинариях по «Очеркам бурсы» Н. Г. Помяловского, где нарисовано полнейшее безобразие учеников и учителей. Понятно, что такое можно написать, толь-

⁹ Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. VIII. С. 126.

¹⁰ Демченко А. А. Н. Г. Чернышевский. Научная биография. Часть первая. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1978. С. 15–16.

ко проведя годы в этом заведении. Но, как мы знаем, учёба в бурсе не помешала Помяловскому стать замечательным писателем. Дело в том, что в семинариях, как и везде, многое зависело как от программы, так и от ученика, который эту программу усваивал или не усваивал. Можно назвать немало российских сочинений, где школьные годы автора описаны зло и с тоской (хотя бы пансион, где учился Аркадий Долгорукий в «Подростке» Достоевского, «Гимназисты» Гарина-Михайловского, «Кондуит и Швамбрания» Кассиля). Но мы знаем блистательных деятелей русской культуры, вышедших из семинарии.

Сошлюсь на великого специалиста в русском богословии Г. В. Флоровского: «Именно в духовных академиях русская философская мысль впервые ответчиво встречается с немецким идеализмом. Преподавание философии здесь было обширным. И только в духовных школах философия как предмет преподавания ускользнула от погромов и запретов Николаевского времени, когда из университетов эта мятежная наука «бывала и вовсе изгнана (в 1850 году, в управление кн. П. А. Ширинского-Шихматова)»¹¹.

ДУХОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ РУССКОЙ СЕМИНАРИИ

А если назвать имена выдающихся деятелей России, прошедших семинарию уже в XIX веке, то их перечисление заняло бы не одну страницу. Напомню некоторые, так или иначе вошедшие в литературу и философию. Первый русский реформатор **Михаил Михайлович Сперанский** (фамилия не родовая, а данная семинарским начальством за надежды, которые он возбудил своим учением), окончивший семинарию, где усвоил блистательно весь курс – то есть древние языки, риторику, физику, математику, философию и богословие. Отец – причётник в церкви, мать – дочь дьякона, но благодаря успехам в семинарской учёбе мальчик был замечен. Библиотека семинарии была большая – в подлинниках, древние и новейшие авторы; свободно владея французским языком, Сперанский читал просветителей (Дидро, Вольтера и др.), оставшись на всю жизнь их последователем. Повторю: мы совершенно не представляем себе уровня семинарского обучения. Разумеется, светскости семинария не давала, свободно говорить на западноевропейских языках мало кто умел (Чернышевский всю жизнь страдал от своего плохого произношения, но свободно читал практически на всех важнейших языках). Сперанский, призванный поначалу к князю Куракину как делопроизводитель, шаг за шагом поднялся до невероятных высот, стал другом императора Александра и получил графский титул. В его карьере были не только взлёты, но и падения. Но он был примером для молодых честолюбивых семинаристов, показывая им возможности и силу образования.

¹¹ Флоровский Г. В. Пути русского богословия / Отв. ред. О. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 307.

Оставим пока Сперанского, к этой теме ещё придётся вернуться, ибо в каком-то смысле его судьба стала матрицей судьбы Чернышевского, как об этом невольно написал последний.

Напомню ещё имена. Тут нельзя миновать **Александра Петровича Куницына**, учителя Пушкина, профессора Царскосельского лицея, сына дьячка из Тверской губернии, учившегося в Гёттингенском и Гейдельбергском университетах. Пушкин писал: «Куницыну дань сердца и вина! / Он создал нас, он воспитал наш пламень, / Поставлен им краугольный камень, / Им чистая лампада возжена». Замечательный критик, предшественник Белинского, **Николай Иванович Надеждин** (тоже семинарист, как и Сперанский, получивший свою фамилию по результатам учебных успехов). Родился в семье сельского дьякона. Учился в Рязанском духовном училище (1814), затем в Рязанской духовной семинарии (1815–1820), отсюда поступил в Московскую духовную академию (1820–1824). После окончания академии преподавал в Рязанской духовной семинарии. В 1830 году Надеждин защитил диссертацию в Московском университете. Диссертация была написана о романтической поэзии на латинском языке. Едва ли не первым в России на труды немецких философов – Канта, Фихте, Шеллинга – опирался профессор Московского университета, издатель, опубликовавший в журнале «Телескоп» письмо Чаадаева, за что был сослан в Усть-Сысольск. У него учился знаменитый любумудр из дворян Н. В. Станкевич.

У нас любят противопоставлять «вольного эстетика» и критика **В. Г. Белинского** семинаристу Чернышевскому. Но интересно, что дед Виссариона Белинского по отцу был священником в селе Бельни Нижнеомовского уезда (о. Никифор) Пензенской губернии, что объясняет происхождение фамилии.

Любопытно, что Тургенев писал о том, что именно в великорусском духовенстве текла беспримесная кровь. То, что Тургенев был неточен, достаточно очевидно, поскольку великорусское племя создавалось из смеси многих этносов, особенно в поволжской провинции.

Если дальше пойдём по хронологии, то назовём семинаристов – **Чернышевского, Добролюбова, Антоновича, Помяловского**. Великий русский историк **Василий Осипович Ключевский** тоже прошёл семинарию прежде университета.

Духовное сословие дало русской культуре великих людей почти столько же, сколько дворянство. Скажем, лучший русский драматург **Александр Николаевич Островский** был внуком священника, его отец окончил семинарию и Московскую духовную академию. Ближайшим сподвижником Ф. М. Достоевского по журналам «Время» и «Эпоха», ведущим их критиком был **Николай Николаевич Страхов**, сын священника из Белгорода, окончивший Костромскую духовную семинарию. Надо также упомянуть, что сыном священника был другой великий историк, ректор Московского университета **Сергей Михайлович Соловьёв**, отец философа **Владимира Сергеевича Соловьёва**, посвятившего свой главный философский труд «Оправдание добра» историку отцу и деду-священнику, подчёркивая своё происхождение.

Существенно отметить, что Чернышевского и в момент его катастрофы, и после поддержали и отец, и сын Соловьёвы. Причём если отец только осуждал в кулуарных разговорах арест и казнь мыслителя, то сын написал статью «Первый шаг к положительной эстетике», в которой поддержал его философско-эстетические идеи, и биографическую статью о нём. Кстати, поддержка религиозным философом диссертации, которую принято называть материалистической, заставляет задуматься о правильности привычной трактовки идейного наследия Чернышевского.

Стоит сказать и о великом писателе, которого с Чернышевским связывали духовные, почти мистические узы (об этом дальше). Они следили за творчеством друг друга, спорили сурово, однако с полным пониманием позиции друг друга. **Я имею в виду Фёдора Михайловича Достоевского.** Все знают, что он был один из самых христианских писателей-мыслителей в России. Даже в своих «Записках из подполья» он, в сущности, несмотря на мнения однозначно направленных умов, поддержал «Что делать?» Чернышевского, показав, что выступающий против законов природы и разума антигерой повести оказывается самым свирепым эгоистом («...Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить», – говорит он), ибо разумный эгоизм героев Чернышевского, по сути дела, повторяет знаменитую формулу Христа, что надо полюбить другого как самого себя. Не любя себя, человек не сможет полюбить другого, ибо безлюбый мир – это мир смерти. Подпольный человек ненавидит себя, потому и унижает женщину, полюбившую его. Чернышевский в своих дневниках откликался с восторгом почти на каждое произведение Достоевского.

Любопытно всё же в данном контексте другое: **Достоевский по отцовской линии был внуком священника.** Об этом сказано в замечательной (уникальной, я бы сказал) книге Игоря Волгина «Хроника рода Достоевского». Цитирую недавно открытое и доказанное: дед писателя, Андрей Григорьевич Достоевский, униатский священник в селе Войтовцы Брацлавского воеводства, рукоположен 22 мая 1782 года киевским униатским митрополитом Иассоном Смогоржевским. В 1794-м или 1795 году воссоединился с православием¹². А отец Достоевского, Михаил Андреевич, учился поначалу в Подольско-Шаргородской семинарии, потом уже в Медико-хирургической академии. Далее он выслужил потомственное дворянство. Поэтому можно сказать, что великий писатель тоже происходил из «второго эшелона» русского просвещения.

Стоит добавить имя великого физиолога, первого русского нобелевского лауреата **Ивана Петровича Павлова**, хотя в массовом сознании церковь и наука (несмотря на разночинцев 60-х годов, «резавших лягушек») всегда противостояли друг другу. Но отец Павлова был священником, мать тоже из духовного сословия, а сам он окончил Рязанскую духовную семинарию.

¹² Хроника рода Достоевских. М.: Фонд Достоевского, 2013. С. 74.

Хранителями искусства тоже были выходцы из духовного сословия, достаточно назвать **Ивана Владимировича Цветаева**, сына священника, и, конечно, ученика духовной семинарии, а потом профессора, создателя знаменитого Музея изящных искусств. Надо бы вспомнить и двух его дочерей – **Марину Цветаеву** и **Анастасию Цветаеву**.

Из духовного сословия вышли великие русские писатели – **Евгений Иванович Замятин** и **Варлам Тихонович Шаламов**.

Начинавшие свою деятельность в XIX веке знаменитые русские философы **Василий Васильевич Розанов** и **Сергей Николаевич Булгаков** – тоже выходцы из духовного сословия. Вообще надо подчеркнуть, что не только в Духовной академии, но и в семинариях преподавали философию, которой не было в университетах. Снова сошлюсь на Флоровского: «В духовной школе закладывались основания для систематической философской культуры. И нужно прибавить: философия преподавалась не только в академиях, но и в семинариях, и по довольно широкой программе. Это был единственный тип средней школы с серьёзным развитием философского элемента»¹³.

Начиная с середины XIX века священники становятся героями художественной литературы, ибо именно в них писатели пытались найти силу, способную образить народ и общество. Тут стоит вспомнить «Бесов» и «Братьев Карамазовых» (Тихона и Зосиму) Ф. М. Достоевского, «Соборян» и «Запечатлённого ангела» Н. С. Лескова, «Архиерея» А. П. Чехова, «Краткую повесть об антихристе» (старец Пансофий) В. С. Соловьёва.

Надо сказать, что, когда моя книга была закончена и сдана в издательство, мне в руки попал замечательный трактат (перевод с английского) – Манчестер Лари. Поповичи в миру. М.: НЛО, 2015, – в котором я нашёл сюжеты, схожие с началом моей работы. Книгу эту рекомендую читателям.

¹³ Флоровский Г. В. Пути русского богословия. С. 309.



Елизавета
МАРТЫНОВА

«Независимость духа и мысли»

Кантор В.К. «Срубленное дерево жизни». Судьба Николая Чернышевского/Владимир Кантор. — М.: СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. — 528 с. (Серия «Российские Пропилеи»)

Книга прозаика, литературоведа, доктора философских наук Владимира Кантора рассказывает о «странной и трагической судьбе» Николая Гавриловича Чернышевского. Образное название — «Срубленное дерево жизни» — сразу выявляет отношение автора к своему герою. Задача, поставленная автором, обеспечивает постоянную полемичность книги, создающей «не образ революционера, а скорее, христианского подвижника».

«...Поскольку герой моего повествования — Николай Гаврилович Чернышевский, человек, в сознании интеллектуалов ставший своего рода фантомом, в XIX веке воспетый, в XX превращённый в монстра как предшественник большевизма и едва ли не погубитель России, я должен попытаться преодолеть фантомность этой фигуры», — пишет В.К. Кантор. И уточняет: «...личная слава, как он и ожидал, и боялся, практически убила его. Ибо слава сопровождается фантоматом»; «известность — причина мифологизации его образа».

Основные качества этой замечательной книги — стремление к полноте изображения, к гармоническому образу Николая Гавриловича Чернышевского.

Владимир Кантор задаёт вопрос: «Отчего российская интеллигенция, так преданно любившая Чернышевского, стала считать его врагом свободы и предшественником большевизма?» И отвечает на него так: «Чернышевский был звездой оппозиции, его имя могло окормить новых революционеров».

Эту же мысль автор книги подтверждает высказыванием русского философа Николая Бердяева: «Необходимо отметить нравственный характер Чернышевского. Такие люди составляют нравственный капитал, которым впоследствии будут пользо-

ваться менее достойные люди. По личным нравственным качествам это был не только один из лучших русских людей, но и человек, близкий к святости».

В.К. Кантор показывает Николая Гавриловича Чернышевского как писателя, человека, общественного деятеля. Причём не «безлично», а с позиции своей философии — философии «русского европеизма». И, конечно, судьба Чернышевского дана на фоне времени («Годы европейских потрясений»). Иногда даётся именно портрет эпохи, и кажется, что автор ушёл от Чернышевского далеко в сторону проблем того времени, — но нет, все отступления мотивированно опять приводят к главному герою и многое объясняют в его судьбе и в его творчестве. В.К. Кантор выступает не как простой биограф-жизнеописатель, а как биограф, выведший философию жизни своего героя, философию его творческого и жизненного пути, философию его времени.

Несомненно, любит своего героя, но не идеализирует его как человека. Прослеживает всю жизнь, судьбу, эстетику Чернышевского, мифы о нём и правду о нём, мифы опровергает фактами, документами.

«Жизнь Чернышевского всё время шла на грани мифа, — утверждает В.К. Кантор — рационалист, материалист, но с ним всё время творилось нечто невероятное...»

Потому «стоит задуматься о правильности привычной трактовки идейного наследия НГЧ», — пишет В.К. Кантор. Читателю, привыкшему к тому, что Чернышевский — революционер, «звавший к топору» и т.п., предстоит при прочтении этой книги сделать немало открытий: и революционером Николай Гаврилович не был, и к топору не звал, и выступал против радикальных преобразований общественной жизни

в России: «Чернышевский был против народного бунта, к которому звал Герцен»; «<...> выступал против радикализации общественной жизни»; «Чернышевский прекрасно понимал различие между свободой и бунтом, между свободой и пугачёвско-разинской вольницей, между свободой и иновоплощением вольницы — произволом самодержавия».

В первых главах книги представлены происхождение писателя, рассказ о его детстве, взаимоотношениях с родителями, воспитании, о нашем городе и Волге. И невольно напрашивается вывод, что если бы не в Саратове родился Чернышевский, то он был бы совсем другим писателем. Сыграли роль гений места (Волга, Саратов), времени (19 век) и семьи (происхождение из семьи священника). На последнем моменте В.К. Кантор останавливается подробно, проводя параллели с происхождением других творческих людей и утверждая, что в 19 веке в русскую литературу вступила целая плеяда писателей, философов, учёных, произошедших из священнических семей (см. публикация в нашем журнале — стр. 171).

Чернышевский показан как энциклопедически образованный человек и одновременно верующий. Кантор приводит слова НГЧ из его дневника 1848 года: «Я должен сказать, что я, в сущности, решительно христианин, если под этим должно понимать верование в божественное достоинство Иисуса Христа, т.е. как это веруют православные в то, что он был Бог и пострадал, и воскрес, и творил чудеса, вообще, во всё это я верю».

Чернышевский показан как талантливый журнальный сотрудник: «<...> безо всякой зависти уступил Добролюбову первое место в анализе литературных явлений, понимая его гений. В свою очередь могу заметить, что такое отсутствие зависти свойственно тоже только гению»; как самостоятельно мыслящий философ: «...с 1860 года Чернышевский сосредоточился на общих философских вопросах, из которых стоит выдвинуть три темы — общинности, антропологического принципа в философии и разумного эгоизма»; «В своей философии истории НГЧ был абсолютно оригинален, не повторяя «последних слов» Запада, ибо исходил из конкретных особенностей отечественной истории».

По словам Карла Маркса, из всех современных экономистов Чернышевский представляет собой единственного действительно оригинального мыслителя».

«Чернышевский был сам по себе, у него был... «свой тон», свой взгляд на мир, незаёмный», — пишет В.К. Кантор.

Автор книги объясняет, почему писатель был осуждён властью.

Во-первых, сыграло свою роль время — «произвол как норма русской жизни».

«Это было государственное безумие, казавшееся большинству народа нормой. То самое безумие, придававшееся уденной жизнью, которое сопровождало Чернышевского всю жизнь»; «Правительство отправило его в нарушение всех юридических установок того времени в вилюйскую тюрьму».

Во-вторых, миф, созданный предателем. «И окончательный миф о Чернышевском-революционере создал сумасшедший и трус, безумец и сикофант, лжесвидетель и клеветник Всеволод Костомаров»; «Костомаров играл роль проводника мифа, подпитывая мифологическое сознание власти».

В-третьих (а может быть, в первую очередь), поведение самого Чернышевского — его независимость: «Чернышевский был человек свободы»; «Независимость — крайне редкий дар».

Заканчивается книга на оптимистической ноте словами Сергея Лурье: жизнь Чернышевского показала, что не все рабы. Очень мало свободных, но они время от времени являются.

По мнению В.К. Кантора, «...он был, как Пушкин, настоящий русский европеец, желавший перенести в Россию не идеи, не формы, а установочные принципы, которые своею силой творили бы Россию как европейскую страну, как и положено ей по её христианскому происхождению».

Стоит отметить высокий уровень полемичности книги — она, конечно, вызовет (и уже, наверное, вызывает) массу вопросов и возражений у противников взглядов Чернышевского и автора книги. И это замечательно, это хорошо. На это книга и рассчитана — разбудить мысль, снять хрестоматийный глянец. Ведь любой писатель, даже классик, не икона, а прежде всего — живой человек.

К ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



**Борис
ОЗЁРНЫЙ**



*Борис Озёрный.
Рисунок
Александра Заславского*

К РАССКАЗУ «КОЛДУН»

В начале Великой Отечественной войны в редакциях фронтовых и армейских газет была утверждена должность писателя. Нужен был профессионал, способный оперативно создавать очерки и рассказы, патриотические стихи и песни, басни, стихотворные строки к юмористическим рисункам в духе Кукрыниксов, высмеивающих врага (художник тоже был в составе редакции). Предпочтение отдавалось поэтам, работавшим до войны в газетах или на радио. Саратовский поэт Борис Озёрный был в числе 36 писателей страны, направленных в газеты Красной Армии. Он работал в редакции газеты «Вперёд, за Родину!» Северо-Западного фронта.

Как Б. Озёрный отмечал позже в своём «Библиографическом справочнике», «за время войны написал свыше 200 стихотворений, рассказов и очерков, подготовил к печати книгу «Рассказы бывалого солдата» и книгу стихов «Рубежи». Кроме того, его юмористические произведения печатались в журнале «Крокодил» (1941–1942), юмористических сборниках газеты «Вперёд, за Родину!» (1942), в издательстве «Молодая гвардия» (1943), Воениздате (1943).

Что касается цикла «Рассказы бывалого солдата», то рукопись была отправлена с фронта в Саратов, получила одобрение в Саратовском книжном издательстве, с автором был заключён договор (он и сейчас хранится в архиве Б.Ф. Озёрного). Но тут вмешался *сверхбдительный* цензор, усмотревший в ряде рассказов, в том числе и в «Колдуне», «*мелкотемье*, неумение... отобразить *подлинный советский патриотизм*». Книга не увидела свет.

И только после войны, в 1948 году, Борис Озёрный вновь вернулся к рассказам, дав книге другое название: «Рассказы разведчика». Но рассказ «Колдун» он не рискнул включить в книгу, помня, что его не раз ругали за «мелкотемье».

В архиве писателя чудом сохранился текст «Колдуна», который и предлагается вниманию современных читателей, способных, уверена, без идеологических шор оценить и жизненность темы, и народность героев, и мягкий, добрый юмор автора.

Светлана Дурнова

КОЛДУН

Был у меня товарищ, Иван Петрович Цыборин. В начале войны наша часть попала в окружение, и нам вместе пришлось пробиваться к своим немеряные вёрсты – два дня. Шли мы, питаясь брусникой. Очень хотелось есть. Можно было, конечно, зайти в деревню, попросить еды, но понимали, что не стоит рисковать без необходимости.

К вечеру второго дня мой Иван Петрович не выдержал:

– К дьяволу всё, – заявил он, – не хочу больше с голодным желудком идти!

Его манила раскинувшаяся недалеко от опушки леса, где мы находились, деревушка. Вид у неё был совершенно мирный, даже гуси паслись на берегу.

– Ладно, Иван Петрович, пойдём, только давай темноты дождёмся, – предложил я.

– Что ж, подождём, – согласился мой товарищ.

Мы легли на траву и не заметили, как заснули. Проспали долго. Первым пробудился Иван Петрович и разбудил меня. Была уже полная ночь. Огородами мы пошли в деревню. Из предосторожности первые три дома пропустили. На окраинах немцы обычно ставили часовых. К четвёртому дому свернули. Вдоль плетня прошли по двору и перелезли через изгородь. Тихо постучали в оконце. Минуты три постояли и, не дождавшись ответа, постучали ещё раз, настойчивей и громче. Слышим: скрипнула кровать, загремел в темноте стул, открылась дверь в сени.

– Кто? – раздался женский встревоженный голос.

И это «кто» было произнесено так громко, что, вероятно, можно было расслышать на другом конце деревеньки. А может быть, это нам так только казалось.

– Тише! – взмолился Иван Петрович. – Откройте на минуточку...

Сенная дверь открылась, и женщина, держась одной рукой за край двери, а другой за косяк, загораживая собой вход в хату, спросила не очень дружелюбно:

– Что надо?

Даже эхо за речкой отозвалось на её голос. А что если немцы здесь, вяпаемся мы с таким разговором, подумал я. Иван Петрович подумал, видимо, о том же, потому что спросил у хозяйки:

– Немцев нет у вас?

– Бог миловал... А вам, если немца надо, идите в Городищи...

Отлегло у нас от сердца, и старый, бывалый солдат Иван Петрович, ходивший в разведку ещё в Первую мировую войну, добродушно сказал женщине:

– Что, право, мы разговариваем с вами через порог? Ведь так могут только подруги разговаривать, а мы к вам пришли с доброй душой. Вы уж разрешите пройти, там, в горенке, перед вами и раскроем душу.

– Уж если так, проходите, только горенка у меня неказиста.

Хозяйка занавесила шалью небольшое оконце и зажгла свечу. При её свете мы увидели, что это уже пожилая женщина, с сединой в волосах, с лицом, не утратившим с годами самобытной красоты. Высокая, она держалась прямо и гордо.

– Вот что, мамаша, – снова сказал Иван Петрович, – мы уже два дня не ели ничего, кроме ягод. Может, самоварчик?..

– Ого, – перебила его хозяйка, – значит, вам подавай жрать... Немца не держите, а жрать – давай?! – спросила она сурово.

Я опустил глаза. Слова её тяжело ложились на сердце. Если бы она нам не открыла дверь, не пустила в избу, и то, казалось, было бы легче! Что ей можно было сказать в ответ? Ничего. И мы молчали, смущённые её прямой, горькой правдой её слов. Она заметила наше смущение:

– Хорошо, что совесть ещё не потеряли, ишь, головы-то потупили. Ладно, садитесь за стол, покормлю.

Она вышла то ли за углями, то ли за водой. Иван Петрович ходил по комнате и философствовал:

– Вот они какие, наши женщины – и отругают, и накормят. Добрая душа у русской женщины...

Хата у хозяйки была небольшая: горенка, слева от входа печь, между печкой и стеной – небольшой чуланчик. Иван Петрович чиркнул спичкой, заглянул в него и, возвратясь к столу, шепнул мне:

– Сейчас поедим на славу: в чулане лещ сухой есть и целая миска мёда!

Хозяйка гремела за дверью самоварной трубой, мы сидели и ждали, когда закипит самовар. Есть хотелось страшно, даже под ложечкой сосало, но мы терпели, ожидали сытного ужина и чая с мёдом. Наконец вошла она и деловито спросила нас:

– Сахара у вас нет?

– Нет, – ответили мы в один голос, с недоумением глядя друг на друга.

Отрезала хозяйка нам по ломтю ржаного хлеба, налила по стакану кипятка, соль на стол поставила.

– Кушайте, не взыщите за бедность...

Я набросился на хлеб, не надеясь больше ни на мёд, ни на рыбу, а Иван Петрович огорчённо нахмурился.

– А может, у тебя рыбка есть? – спросил он, испытующе глядя на хозяйку. – Ведь путь-то наш длинный. Враги кругом. Где ещё найдём пристанище – неизвестно.

Хозяйка строго посмотрела на моего спутника и резонно ответила ему, постукивая себя по лбу пальцем:

– Ну подумал бы вот ты, откуда быть рыбе? Ведь я одна-одинёшенька, а здесь ведь сотни прошли таких! Что было, всё раздала...

– У-у... – только и произнёс Иван Петрович.

– На этом, кажется, твоя дипломатия кончается, – объявил я, обращаясь к товарищу.

Но он не унимался. Сняв с руки компас и бесцельно поворачивая его, Иван Петрович освободил стрелку. Как он ни крутил компас, как ни вертел, стрелка дразняще указывала на север, на чулан, где лежала заветная рыбка. Маленький круглый предмет заинтересовал хозяйку. Она спросила:

– Это что ж будет, часы, что ли, какие?

Лукавый огонёк вспыхнул в глазах Ивана Петровича. Он подвинулся к хозяйке и таинственно прошептал:

– Нет, мамаша, не часы. Это очень хитрая машина. При помощи неё мы мысли человеческие можем узнавать. Вот, смотри...

Хозяйка сразу насторожилась.

– Что смотри?

– А вот видишь стрелку?

– Ну, вижу...

– А видишь, как она волнуется?

– Вижу. А с чего это?

– Неудобно говорить, – заявил Иван Петрович. – Ты сама подумай...

– Понимаю, – задумчиво ответила хозяйка. – Это ты насчёт рыбы намекаешь. А ведь у меня и правда должно остаться несколько рыбёшек, сейчас принесу...

И принесла она нам по одному вяленому лешу. Были эти лещи жирные, почти прозрачные, необычайно вкусные. Съели мы их, и снова Иван Петрович завёл с хозяйкой разговор:

– А хорошо бы теперь с медком чайку попить.

Женщина хитро ответила ему в тон:

– Конечно, плохо ли?

Но в чулан не пошла. Петрович снова взялся за компас. Хозяйка опасливо посмотрела на него. И вдруг произнесла:

– Брось машинку, я и без неё скажу! Есть у меня мёд, только не дам. На хворь немного блюду. Вот и сказ весь!

Я верил, что у неё мы просим последнее, и поэтому шутка товарища мне была не по душе.

– Перестань, спрячь компас, – сказал я ему.

Разговор оборвался. Мы молча прихлёбывали кипяток.

– Ну зачем сердиться? – говорю уже я. – Мы же у тебя не отнимаем. Если дашь немного, деньги заплатим.

– Не надо мне денег.

– Не надо, так не надо. Мы и без мёду попьём, зачем пугаться-то. Ведь мы как-никак свои люди. Не немцы пришли к тебе в дом.

Оборвался разговор. Хозяйка вышла, оставив нас одних. Сидим, неохотно прихлёбывая кипятки. Тишина в доме...

– Вот жадюга! – возмущается Иван Петрович.

И вдруг входит хозяйка, полную тарелку мёда ставит на стол.

– Так и быть, покушайте, – говорит она, сменив гнев на милость. – Только ты погадай мне, – обратилась она к Ивану Петровичу. – Сынок у меня в Красной Армии. Хоть два слова скажи, живой ли он?

Слёзы заискрились в её глазах. Мы её начали успокаивать, она нам фотокарточки сына стала показывать.

Потом Иван Петрович «гадал» ей. О, если бы кто видел его за этим занятием! Представляете: сидит здоровенный дядя, а рядом с ним худенькая хитроватая женщина, неожиданно поверившая в волшебную силу армейского компаса. Она слушает внимательно, а Иван Петрович вдохновенно врёт через дугу, рассказывая о храбрости сына и о том, что его пули немецкие не берут, как он семерых немцев заколол штыком.

– Значит, живой? – спросила хозяйка.

– Живой! – авторитетно заявил мой находчивый товарищ.

Женщина осталась очень довольной. Постелила нам постель, уложила нас спать и всю ночь не смыкая глаз оберегала наш сон.

На рассвете мы ушли. Расстались уже друзьями.

– Это ты про меня вчера говорил? – весело спросила она Ивана Петровича. – Был грех, жадничала. Немцы пришли, всё забрали и пчёл уморили. Ох, и натерпелась же я! Думала, что не дождусь вас, желанные мои.

Дала она нам в дорогу хлеба, благословила по-матерински в трудный путь. Предлагали ей денег за ночлег и хлеб-соль – не взяла.

Публикация С. Б. Дурновой.
Публикатор выражает благодарность
за содействие в подготовке текста
М. Шеленку и Д. Рясову

«ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ О ВОЙНЕ»

Дмитрий Кедрин – Борису Озёрному

Незадолго до окончания войны Борис Озёрный послал Дмитрию Кедрину в журнал «Молодая Гвардия» подборку своих стихов на консультацию. Вскоре пришёл ответ:

«Уважаемый тов. Озёрный!

Из Ваших стихотворений я взял три («Я стала солдатом», «В затишье», «Её нашли под сводами подвала»), которые хочу рекомендовать для напечатания в альманахе «Молодой Гвардии». Судя по уровню Ваших стихов, в консультации Вы не нуждаетесь, однако обратите всё же внимание на отдельные места стихов, подчёркнутые мною: обычно в них Вами не найдены слова достаточно точные. В целом стихи Ваши живые и интересные. Видимо, Вы хорошо знаете фронтовую обстановку. Есть в стихах свежесть чувства, интересный поворот темы. Я прошу Вас в дальнейшем держать с нами связь, присылать нам всё лучшее из того, что Вы напишете, а также сообщать подробные сведения о себе и о своей литературной работе.

Возвращаю Вашу тетрадку.

*Сердечный Вам привет.
Консультант Дм. Кедрин*

29 марта 1945 г.

К сожалению, у нас нет данных о выходе альманаха «Молодая Гвардия» в 1945 году, но, несомненно, такая оценка произведений поэта-фронтовика имела высокое значение в убыстрении публикации его сборника стихов в Саратовском книжном издательстве. Книга под названием «Рубежи» вышла в октябре 1945 года, куда вошли и те три стихотворения, которые выбрал Дмитрий Кедрин.

*Я стала солдатом и еду на фронт.
(Из письма)*

Где-то в неизвестном медсанбате
Ты сейчас невесело живёшь,
Позабыла праздничные платья,
Под дождями ходишь без галош.

Только трудно быть тебе героем,
Знаю по себе я: нелегки
И шинель военного покроя,
И армейской кирзы сапоги.

Скоро и тебе придётся, друже,
По-солдатски думать и страдать,
Дуть на руки, синие от стужи,
На морозе сутками не спать.

Но лишенья могут стать привычкой,
Тяжелей, – солдаты говорят, –
После боя быть на переключке,
Ранить сердце горечью утрат...

Тяжелей с земли сырой подняться
И идти под шквалами свинца,
Но солдаты пули не боятся.
Ты солдат –
Так будь им до конца!

Её нашли под сводами подвала
В отбитом у фашистов городке.
Девчурка белокурая держала
Резиновую куколку в руке
И плакала горячими слезами...
Ей было страшно в эту ночь одной,
Она, ласкаясь, прижималась к маме
Своей невинной розовой щекой,
Нетерпеливо за косы трепала,
Должно быть, глупая, просила есть и пить,
И плакать потому, наверно, стала,
Что не могла родную разбудить.
Здесь был разбой, насилие, погром...
Под сводами подвала перед нами
Лежала мать с открытыми глазами,
Заколотая вражеским штыком.

В ЗАТИШЬЕ

Едва спустилась мгла ночная
И улеглась на рубеже,
Зажглась, приветливо мигая,
Коптилка в нашем блиндаже.

И мы сидим, закончив споры,
Собрав в мешочек домино,
Все темы длинных разговоров
Уже исчерпаны давно.

Давно наскучили погудки,
И чайник высушен до дна,
И нерушима третьи сутки
В лесу глухая тишина.

Но мы, обученные свято
Опасность видеть на войне,
Набили диски автоматов,
Не доверяя тишине.

И чтоб, сухим теплом согретый,
Был безопасен наш покой,
Майор надёжные секреты
Поставил на ночь за рекой.

*Архивные материалы и публикация
Светланы Борисовны Дурновой*



Сергей Наровчатов

Журнал «Волга–XXI век» зарегистрирован МПТР РФ,
свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.

Учредители: Министерство информации и печати Саратовской области, Саратовское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64».

Директор – Владислав Степанов.

Редакция:

Главный редактор – Елизавета Данилова.

Дизайн и вёрстка – Лилия Баранова.

Корректор – Елена Березина.

Фото предоставлены Александром Демченко.

Подписано в печать 9 июня 2017 года.

Дата выхода в свет 30 июня 2017 года.

Журнал отпечатан в ООО «Амирит».

Адрес типографии: г. Саратов, ул. Чернышевского, 88.

Заказ № 12/09/067

Цена свободная.

Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, а/я 3535.

Адрес редакции: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41.

Тел. (факс): (845-2) 69-54-41.

E-mail: lizamart@yandex.ru

Сайт: www.g-64.ru/volga

Подписной индекс 14320

При перепечатке ссылка на издание обязательна.

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своём решении.

Формат 70x100 1/16. Усл. печ. л. 15,60.

Бумага типографская. Печать цифровая.

Тираж свободный.



© ГАУ СМИ СО «Регион 64», 2017.

© «Волга–XXI век», 2017.



Произведения Льва Кассиля



Скульптура «Фантазёр» в Энгельсе



Музей Льва Кассиля (Энгельс)

